

БОЛЬШИЕ ПУКЛИ

Юкио Мисима



МОРЕ
ИЗОБИЛИЯ

ТЕТРАЛОГИЯ

«ИНОСТРАНКА»



Иностранная литература. Большие книги

Юкио Мисима

Море изобилия. Тетралогия

«Азбука-Аттикус»

1969-1971

УДК 821.521
ББК 84(5Япо)-44

Мисима Ю.

Море изобилия. Тетралогия / Ю. Мисима — «Азбука-Аттикус»,
1969-1971 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-18974-4

Юкио Мисима – самый знаменитый и читаемый в мире японский писатель. Прославился он в равной степени как своими произведениями во всех мыслимых жанрах (романы, пьесы, рассказы, эссе), так и экстравагантным стилем жизни и смерти (харакори после неудачной попытки монархического переворота). Тетралогия «Море изобилия» – это вершина сочинительства Мисимы и своего рода творческое завещание; это произведение, в котором Мисима, по его словам, «выразил все свои идеи» и после которого ему уже «не о чем было писать». Завершив последний роман тетралогии, он поставил точку и в своей жизни. «Море изобилия» содержит квинтэссенцию собственной эстетической системы Мисимы, сочетающей самурайско-синтоистские элементы с образами европейской античности, влиянием эзотерического буддизма и даже индуизма. Краеугольным камнем этой эстетики всегда оставалась тема смерти и красоты; герои Мисимы стараются постичь страшную и неопределимую загадку красоты, которая существует вне морали и этики, способная поработить и разрушить человеческую личность. Сюжет «Моря изобилия» основан на идее реинкарнации, последовательно раскрывающейся через историю трагической любви, идеалистического самопожертвования, мистической одержимости, крушения иллюзий...

УДК 821.521
ББК 84(5Япо)-44

ISBN 978-5-389-18974-4

© Мисима Ю., 1969-1971

© Азбука-Аттикус, 1969-1971

Содержание

Весенний снег	8
1	8
2	13
3	17
4	22
5	25
6	30
7	35
8	39
9	42
10	45
11	49
12	51
13	54
14	59
15	62
16	64
17	67
18	69
19	73
20	75
21	79
22	82
23	86
24	90
25	96
26	97
27	100
28	104
29	107
30	112
31	114
32	117
33	120
34	124
35	130
36	134
37	136
38	142
39	146
40	152
41	155
42	160
43	163
44	166
45	169

46	172
47	174
48	178
49	181
50	184
51	186
Конец ознакомительного фрагмента.	187

Юкио Мисима

Море изобилия. Тетралогия

Yukio Mishima

HARU NO YUKI

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1969

HONBA

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1969

AKATSUKI NO TERA

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1970

TENNIN GOSUI

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1971

All rights reserved

© Е. В. Стругова, перевод, 2003, 2004, 2005, 2006

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство Иностранка®

Весенний снег

1

Когда в школе речь зашла о японско-русской войне, Киёаки Мацугаэ спросил своего друга Сигэкуни Хонду, хорошо ли он помнит то время, но у Сигэкуни в памяти смутно всплывало лишь одно событие: он запомнил только, что его довели до ворот посмотреть на гирлянды бумажных фонариков. В год, когда закончилась война, им было по одиннадцать, и Киёаки казалось, что можно было бы запомнить что-то более определенное. Одноклассники, с уверенностью рассказывая о тех событиях, большей частью расцветчивали свои воспоминания, настоящие или мнимые, тем, что слышали от взрослых.

В семье Мацугаэ два дяди Киёаки погибли на той войне. Бабушка до сих пор получала за сыновей пособие, которое выдавалось семьям погибших, но не пользовалась им и клала деньги на домашний алтарь.

Может быть, поэтому среди хранящихся в доме фотографий с той войны больше всего запала в душу Киёаки фотография «Заупокойная служба у храма Токуридзи» с датой 26 июня 1904 года.

Коричневатая фотография была совсем не похожа на множество других военных снимков. Ее композиция впечатляла художественностью: несколько тысяч солдат умело расположены, как персонажи на картине, весь эффект сосредоточен на высоком, из некрашеного дерева могильном знаке, стоящем в центре.

Вдали видны неясные очертания высоких гор, у их подножия слева полого поднимается широкая долина, справа редкий лесок исчезает за пыльным горизонтом, и там, между деревьями, просвечивает желтое небо.

Шесть высоких деревьев возвышаются на переднем плане, не нарушая общего вида и оставляя свободное пространство. Не разобрать, что это за деревья, но будто слышишь, как печально они колышут листвой.

Расстилающееся вдали поле мерцает неярким светом, а здесь, вблизи, клонится к земле буйная трава.

Точно в центре кадра – мелкие, чуть различимые, могильный знак и покрытый белой тканью алтарь, на алтаре цветы.

Все остальное пространство заполнено солдатами – тысячами солдат. На переднем плане они стоят к зрителю спиной, так что видны свисающие из-под военных фуражек белые платки и кожаные перевязи через плечо; они не в строю, стоят в беспорядке, сбившись в кучки, с опущенными головами. Здесь же, в левом углу, несколько человек, как на полотнах времен Ренессанса, даны вполоборота – видны темные лица. В глубине слева до самого края поля бесчисленное число солдат образовали огромный полукруг; множество солдат, среди которых, конечно, не разглядеть отдельную фигурку, толпятся и далеко, там, между деревьями.

И на переднем плане, и на заднем люди озарены странным, спокойным мерцанием. Оно высвечивает контуры обмоток и сапог, склоненные головы и опущенные плечи. И из-за этого вся фотография пронизана какой-то невыразимой печалью.

Сердца всех устремлены к центру – маленькому алтарю, цветам, могильному знаку. Общий порыв раскинувшейся по полю массы людей обращен сюда и словно сжимает ее огромным железным кольцом...

Какой-то безмерной печалью веяло от этой старой фотографии.

Киёаки было восемнадцать лет.

Следует сказать, что семья, где он родился и воспитывался, почти не оказала влияния на формирование его душевного склада меланхолика.

В огромной усадьбе, расположенной на холме в Сибуе, надо было еще поискать человека с похожим характером. Наверное, Киёаки не стал бы таким чувствительным юношей, если бы его отец, имеющий титул маркиза, но, несмотря на принадлежность к самурайскому сословию, стыдившийся того, что в конце сёгуната его семье явно недоставало аристократизма, не поручил бы своего наследника в детские годы попечению придворного аристократа.

В усадьбе отца, маркиза Мацугаэ, занимавшей в окрестностях Сибуи огромную площадь в 140 тысяч цубо, соперничали архитектурными стилями множество зданий.

Главный дом построен был в японском стиле. А в глубине усадьбы стояло величественное европейское здание – творение английского архитектора. Оно было резиденцией Мацугаэ – таких домов, известных тем, что там не снимали уличную обувь, в Токио было всего четыре (прежде всего дом военного министра Оояма).

В центре усадьбы находился пруд, раскинувшийся до Кленовой горы. По нему можно было кататься на лодках, там был и остров. На водной глади цвели кувшинки. Большой зал главного дома был обращен к пруду, окна банкетного зала европейского дома тоже выходили на пруд.

До двух сотен фонарей было развешано вокруг пруда и на острове; на острове же стояли три отлитых из металла журавля: один с опущенной головой, два других с задранными к небу клювами.

С вершины горы низвергался водопад: спускался по уступам, нырял под каменный мост и падал в водоем, выложенный красными камнями из Садо; его вода, вливаясь в пруд, питала корни распускающихся весной ирисов. В пруду ловились карпы, попадались и караси. Маркиз два раза в год позволял приводить сюда на экскурсию школьников младших классов.

В детстве слуга напугал Киёаки историей о черепахах. В свое время штук сто черепах были подарены заболевшему деду, чтобы придать ему сил; их выпустили в пруд, где они и размножились; так вот слуга говорил, что если черепаха присосется к пальцу, ее не оторвешь.

Были в усадьбе и несколько чайных павильонов, и большой бильярдный зал.

Позади главного дома росли кипарисовики, посаженные дедом, здесь же можно было набрать ямса. Между деревьями тянулись дорожки: одна выходила к задним воротам, а другая поднималась на пологий холм и вела к большому газону перед синтоистской молельней, которую в доме почтительно величали храмом. Здесь совершали службы в память деда и двух дядей. Каменная лестница, каменные фонари, каменные храмовые ворота были такими, какими им должно быть. Но у основания лестницы, слева и справа, – там, где полагается стоять сторожевым каменным псам, были уложены друг против друга окрашенные в белое пушечные ядра времен японско-русской войны.

Ниже храма было место поклонения богу риса Инари, там находился навес, увитый чудными глициниями.

Годовщина смерти деда приходилась на конец мая, поэтому, когда вся семья собиралась, чтобы почтить его память, глицинии бывали в самом цвету и женщины, избегая солнечных лучей, устраивались в тени под навесом. И тогда на их бледные лица, подкрашенные более тщательно, чем обычно, лиловая тень цветов ложилась, как легкая печать тлена.

Женщины...

Действительно, в усадьбе проживало множество женщин.

Прежде всего, конечно, бабушка, но бабушка жила на покое в доме, значительно удаленном от главного, ей прислуживали восемь женщин. Было заведено, что и в дождь, и в хорошую погоду, утром, закончив туалет, мать в сопровождении двух слуг отправлялась справиться о здоровье бабушки.

Каждый раз свекровь, окинув взглядом фигуру невестки, доброжелательно щура глаза, говорила:

– Эта прическа тебе не идет. Попробуй завтра причесаться по-другому.

И когда на следующее утро та приходила с европейской прической:

– Извини, Цудзико, но у тебя классический тип лица, и европейская прическа тебе не к лицу. Завтра причешишь по-старому.

Поэтому, сколько Киёаки себя помнил, прически у матери постоянно менялись.

В усадьбе подолгу жил парикмахер со своими учениками; конечно, прежде всего он следил за прической хозяйки, а потом и служанок, которых было больше сорока. Парикмахер только однажды занялся мужской прической: это было, когда Киёаки, ученик первого класса средней ступени школы пэров Гакусюин, должен был в качестве пажа присутствовать на новогоднем приеме во дворце.

– Сколько бы мне ни говорили, что для школы нужно стричь наголо, к надетому на вас сегодня парадному костюму стриженная наголо голова не годится.

– Но если чуть отрастить волосы, в школе будут ругать.

– Хорошо. Я просто немного придам вашей прическе форму. Наверное, вы будете в шляпе, но уж если снимете ее, то чтобы вы выглядели взрослее других.

И все-таки голова тринадцатилетнего Киёаки была острижена так коротко, что отливала синевой. Расческа парикмахера больно царапала, помада для волос щипала кожу, и как ни гордился парикмахер своим мастерством, в зеркале незаметно было, чтобы что-то изменилось.

Однако именно на этом приеме Киёаки завоевал славу редкостного красавца.

Император Мэйдзи посетил однажды усадьбу маркиза Мацугаэ: тогда в его честь устроили состязание по борьбе сумо. Между огромными деревьями гинкго натянули занавес, и император изволил наблюдать поединки с балкона второго этажа европейского дома. Тогда Киёаки допустили до высокого гостя и тот погладил его по голове – все это было за четыре года до нынешнего «пажества», но Киёаки думал: «Может быть, его величество меня вспомнит», – и сказал это парикмахеру.

– Так вашу голову гладил император! – Парикмахер отступил назад и, глядя на еще детский затылок, хлопнул в ладоши, словно стоял перед храмом.

Одежда пажа была из синего бархата – штаны чуть ниже колен и пиджак; на груди слева и справа большие белые помпоны, и точно такие же прикреплялись к обшлагам рукавов и брючкам. На поясе подвешена шпага, ноги в белых носках обуты в черные лакированные туфли с застежками. В центре широкого воротника из белых кружев был завязан белый шелковый галстук, треуголка с перьями – копия наполеоновской – висела на шелковом шнуре за спиной. Среди детей дворян выбрали чуть больше двадцати, только тех, кто хорошо успевал в школе, и три дня в наступившем новом году они поочередно должны будут носить – четыре человека – шлейф ее величества императрицы и – два человека – шлейф их высочеств принцесс. Киёаки один раз довелось нести шлейф императрицы и один раз ее высочества принцессы Касуги. Когда он был при императрице, то медленно прошел, неся шлейф, по коридору, где слуги зажгли мускусные благовония, к парадному залу и до начала приема стоял за спиной ее величества, которая давала аудиенцию.

Императрица была чрезвычайно элегантной, необычайно тонкого ума женщиной, хотя возраст ее уже приближался к шестидесяти. Принцессе Касуге было около тридцати, ее красота, элегантность, величавая осанка свидетельствовали о расцвете лет.

И сейчас у Киёаки перед глазами стоит не спокойного цвета шлейф платья императрицы, а шлейф принцессы: белый с черными крапинками край меха был обшит жемчужинами. К шлейфу императрицы были приделаны четыре петли, а к шлейфу принцессы – две, пажей натренировали, поэтому им было легко, держась за петлю, двигаться в заданном темпе.

Черные волосы ее высочества отливали блеском воронова крыла – словно выбиваясь из прически, они волнами спадали на шею, подчеркивая ее сияющую белизну, и струились по гладкой коже выступающих из декольте плеч.

Сохраняя величественную осанку, принцесса решительно двигалась вперед, движения ее не передавались шлейфу, но перед глазами Киёаки в такт музыке то появлялась, то исчезала источающая благоухание белизна, она напоминала снег горных вершин, пропадающий вдруг за невесть откуда взявшейся тучей, и тогда он впервые в жизни ощутил, как ослепительна может быть красота женщины.

Принцесса Касуга была вся окутана ароматом французских духов, и он заглушал даже привычный запах мускуса. Следуя за принцессой, Киёаки оступился, отчего шлейф на мгновение сильно натянулся. Принцесса чуть повернула голову и, никак не выказав упрека, послала нежную улыбку маленькому виновнику происшествия.

Конечно, явно ее высочество не обернулась. Прямо держа спину, она обратила в сторону пажа только краешек щеки, и там скользнула улыбка. По белоснежной коже струились локоны, в уголке длинного разреза глаза словно блеснула черная точка – вспыхнула улыбка, линии красивого носа не дрогнули... Эта мгновенная вспышка, озарившая изнутри даже не профиль, а лишь крохотный кусочек лица, была похожа на радугу, оживившую на секунду грань прозрачного кристалла.

Маркиз Мацугаэ, который наблюдал на приеме за своим сыном, всматриваясь в облаченную в пышный придворный костюм фигурку, буквально упивался радостью, сознавая, что осуществляют его давние мечты. Именно успех сына давал подлинное ощущение того, что он занял положение, когда можно в собственной резиденции принимать государя. Маркиз предчувствовал в этом сближении двора с новым дворянством окончательное слияние придворной аристократии с самурайством.

Выслушивая похвалы, которые присутствующие на приеме высказывали в адрес сына, маркиз вначале радовался, но в конце концов начал беспокоиться. Тринадцатилетний Киёаки был слишком красив. Его красота просто бросалась в глаза. Приливающая кровь окрашивала в алый цвет щеки, четко были очерчены брови; обрамленные длинными ресницами глаза, подетски напряженные, распахнутые, словно в отчаянии, вспыхивали черным, влажным блеском. Маркиз, внимая словам восхищения, впервые заметил в идеальной красоте своего наследника эфемерность, недолговечность. В его душе шевельнулась тревога. Однако он был оптимистом и сразу же отогнал ее от себя.

Тревога скорее осела в душе семнадцатилетнего Иинумы, который за год до «пажества» Киёаки поселился в усадьбе.

Иинуму прислали в дом Мацугаэ, чтобы он состоял при Киёаки; он получил рекомендации у себя на родине в Кагосиме, где пользовался почетом у подростков благодаря физической силе и превосходным успехам в учебе. Отца нынешнего маркиза, деда Киёаки, в тех местах просто боготворили, и Иинума воображал, что жизнь в доме маркиза соответствует образу их славного предка, о котором ему столько рассказывали дома и в школе. Однако весь этот год царившая в доме роскошь постоянно противоречила созданному Иинумой идеалу, и это ранило душу наивного юноши.

Он мог закрыть глаза на все, но только не на воспитание порученного ему Киёаки. Красота мальчика, его хрупкость, чувствительность, интересы – все это претило Иинуме. Он считал, что родители воспитывают мальчика совершенно неправильно.

«Будь я маркизом, я воспитывал бы своего ребенка совсем не так. Как следует маркиз заветам своего отца?!»

Маркиз с пышностью устраивал церемонии почитания родителя, но в повседневной жизни очень редко упоминал о нем. Иинума когда-то мечтал: вот если бы маркиз вспоминал

своего отца и выказывал бы сожаления о славном прошлом; но за истекший год надежды на это испарились.

Вечером, когда Киёаки вернулся после исполнения своих обязанностей пажа, родители устроили в семейном кругу по этому случаю праздник. У тринадцатилетнего подростка щеки покраснелись от саке, выпитого больше из любопытства, и когда подошло время укладываться в постель, Иинума отправился с ним в спальню, чтобы помочь раздеться.

Киёаки забрался под шелковое одеяло, положил голову на подушку и глубоко вздохнул. У волос и пунцовых мочек ушей сквозь тонкую кожу, как сквозь хрупкое стекло, просвечивали учащенно пульсирующие голубые жилки. Губы даже в полумраке спальни ярко алели, слетавшее с них дыхание звучало как стихи, в которых подросток, не ведавший страданий, имитировал их. Длинные ресницы, тонкие, слабо подрагивающие веки... Иинума понимал, что человек с таким лицом не будет пребывать в экстазе или приносить клятвы верности государю, что было бы естественно для подростка, пережившего подобный вечер во дворце.

Открытые, глядящие в потолок глаза Киёаки увлажнились. Хотя все в Иинуме при виде этих наполненных слезами глаз протестовало, он должен был укрепляться в собственной преданности. Киёаки, которому было жарко, закинул было голые руки за голову, поэтому Иинума, запахнув ему воротник ночного кимоно, сказал:

– Простудитесь. Спите уже.

– Слушай, Иинума. Я сегодня один раз оплошал. Только не рассказывай папе и маме.

– А что такое?

– Я оступился, когда нес шлейф ее высочества. Ее высочество только улыбнулась и совсем на меня не рассердилась.

Как ненавидел Иинума это легкомыслие, это отсутствие чувства ответственности, этот восторг во влажных глазах!

2

Естественно, что в восемнадцать лет Киёаки ощутил, как он все больше отдаляется от собственного окружения.

Причем не только от семьи. Школа Гакусюин навязывала ученикам старые традиции образования, например мысль о том, что самоубийство директора школы генерала Ноги, последовавшее в день похорон императора Мэйдзи, есть поступок, достойный поклонения, как будто, умри генерал от болезни, его преданность ничему бы не значила. Поэтому Киёаки, не выносивший духа воинственности, невзлюбил школу за господствовавшие в ней простые, спартаанские обычаи.

Из товарищей он близко общался только с одноклассником Сигэкуни Хондой. Конечно, было немало желающих ходить у него в друзьях, но Киёаки не нравилась звериная молодость сверстников, он сторонился грубой сентиментальности, с которой они радостно горланили гимн школы, и привлекал его только спокойный, мягкий, рассудительный характер непохожего на своих сверстников Хонды.

Нельзя сказать, что Хонда и Киёаки были так уж схожи внешне или характерами.

Хонда выглядел старше своих лет, благодаря слишком правильным чертам лица он казался заносчивым, интересовался вопросами права и вместе с тем обладал обычно не выказываемой острой интуицией. Внешне это никак не выражалось, но окружающим порой казалось, будто у него где-то глубоко внутри вспыхивает огонь – даже слышен треск горящих поленьев. Это было заметно по тому, как Хонда резко сощуривал близорукие глаза, сдвигал брови и слегка приоткрывал обычно плотно сжатые губы.

Киёаки и Хонда напоминали растения от одного корня, но имеющие совершенно разные цветы и листья. Киёаки был по своему характеру незащищенным, легкоранимым, словно обнаженным, его чувства не выливались в действия, он походил на попавшего под весенний дождь щенка, который носится по двору, так и не стряхнув с мордочки капелек дождя, а Хонда – на другого щенка, который, слишком рано в своей жизни столкнувшись с опасностями, предпочитает спрятаться от дождя, сжавшись в комочек у стены дома.

Однако они определенно были близкими друзьями: им было мало всю неделю встречаться в школе, и воскресенье они проводили у кого-нибудь из них дома. Конечно, дом у Киёаки был намного просторнее, и мест для прогулок там было великое множество, поэтому чаще в гости ходил Хонда.

В одно из воскресений октября 1912 года, когда красные листья кленов были особенно хороши, Хонда пришел к Киёаки и предложил покататься на лодке.

Обычно в это время в усадьбе бывало много гостей, съезжавшихся полюбоваться осенними листьями, но после случившейся летом кончины императора семья Мацугаэ, как и следовало ожидать, избегала пышных приемов, поэтому в усадьбе было тише обычного.

– Лодки трехместные, посадим Иинуму на весла и покатаемся.

– Зачем заставлять кого-то грести? Я сяду на весла.

У Хонды перед глазами стоял молодой человек со строгим лицом и мрачным взглядом, который молча, с настойчивой вежливостью довел его от прихожей до комнаты Киёаки, хотя провожать, в общем-то, не было необходимости.

– Ты не любишь его, – сказал Киёаки с улыбкой.

– Не то что не люблю, но никак не могу его понять.

– Он здесь уже шесть лет, и я к нему привык. Не думаю, чтоб у нас совпадали наклонности. И все-таки он мне предан, верный человек, старательный, на него можно положиться.

Комната Киёаки находилась в глубине главного дома на втором этаже. В типично японскую комнату, застланную циновками татами, положили ковер, поставили мебель, словом, обо-

рудовали ее как европейскую. Хонда сидел в эркере и рассматривал гору, пруд, остров. Вода покоилась под лучами послеполуденного солнца. Внизу был маленький залив, где привязывали лодки.

Потом Хонда вопросительно взглянул на сидевшего с вялым, равнодушным видом друга. Киёаки оставался безучастным, он хотел, чтобы инициатива исходила не от него. Значит, Хонда должен был предлагать, тащить его за собой.

– Лодки, наверное, видны, – сказал Киёаки.

– Да, видны. – Хонда с недоумением повернул голову.

Что собирался сказать этим Киёаки?..

Если потребовать объяснений, то окажется, что ему просто все неинтересно. Он чувствовал себя маленьким ядовитым шипом, впившимся в здоровый палец семьи. И это тоже все потому, что он старался воспитать в себе утонченность. Пятьдесят лет назад простая, еще и бедная семья провинциального самурая за короткий срок сумела возвыситься, и когда с рождением Киёаки впервые в их роду появилась утонченность, то, в отличие от семей знати, для которых утонченность была врожденной, в их семье наметился раскол – Киёаки предчувствовал его наступление так же, как муравей предчувствует наводнение.

С этой своей утонченностью он был для семьи чем-то вроде занозы. При этом Киёаки хорошо понимал, что душе его, питавшей отвращение к грубости и переполнявшейся восторгом при виде изящного, на самом деле не за что зацепиться: она похожа на траву перекаати-поле. Он ничего не чувствует – ни терзаний, ни боли. Яд Киёаки для семьи действительно был ядом, но совершенно безвредным; бесполезность, очевидно, была в самом факте его рождения – так рассуждал этот красивый подросток.

Он ощущал себя подобием легкого яда, и это ощущение переплеталось с высокомерием, столь свойственным восемнадцатилетним. Киёаки не собирался в жизни пачкать свои красивые белые руки, не собирался трудиться ими, натирая мозоли. Он будет жить как флаг, только для ветра. Единственная реальность – это жизнь чувств, чувств, ничем не ограниченных, бессмысленных, оживающих, когда кажется, что они умерли, возрождающихся, когда кажется, что они угасли, чувств, не ведающих цели и результата...

Так вот, сейчас его ничто не занимает. Лодка? Этот изящный, покрашенный в синий и белый цвета ялик, который для отца привезли из-за границы? Для отца он – материализованный символ культуры. А чем же он был для Киёаки? Обыкновенной лодкой?..

Хонда был Хондой: врожденным чутьем он хорошо понимал молчание, в которое неожиданно впадал в подобные моменты Киёаки. Хотя они были сверстниками, Хонда уже принял жизненное решение стать «полезным» человеком. Он окончательно выбрал свою роль и знал, что друг нормально воспримет по отношению к себе некоторую нарочитую грубость. Душа Киёаки на удивление хорошо принимала искусственную пищу. Даже в дружбе.

– Тебе надо заняться каким-то спортом. Вроде бы и книгами не зачитываешься, а выглядишь, будто перечел тысячи томов, – бесцеремонно изрек Хонда.

Киёаки молча улыбнулся. Действительно, он не читал книг. Однако часто видел сны. Постоянные ночные сны действовали на него как изнуряющее чтение, и он действительно устал.

Прошлая ночь... прошлой ночью он видел во сне свой некрашенный гроб. Гроб стоит в центре совершенно пустого, с большими окнами помещения. За окном густо-лиловый предрасветный мрак, темноту наполняет щебетание птиц. Молодая женщина с распущенными длинными черными волосами, распластавшись на полу, цепляется за гроб, ее узкие хрупкие плечи содрогаются от рыданий. Ему хочется увидеть лицо женщины, но взору доступна только часть белого, обрамленного волосами лба. Некрашенный гроб наполовину закрывает широкое покрывало из леопардовой шкуры с каймой из множества жемчужин. Ряды жемчужин мерцают в

предрассветной мгле. В комнате вместо запаха благовоний витает аромат европейских духов, напоминающий запах спелых фруктов.

Киёаки смотрит на все это откуда-то сверху, но знает, что в гробу лежат его останки. Он в этом уверен, но хочет во что бы то ни стало увидеть их воочию, чтобы еще раз убедиться. Однако его существо, как утренний комар, тщетно складывает в воздухе крылышки и никак не может заглянуть в заколоченный гроб.

Киёаки проснулся с ощущением нарастающей тревоги. Он записал свои вчерашние видения в дневник снов, который втайне вел.

В конце концов Киёаки и Хонда все-таки спустились к пристани и уселись в лодку. Поверхность пруда пылала, отражая наполовину окрашенную красными листьями гору.

Неравномерное покачивание движущейся лодки вызывало у Киёаки ощущение, очень напоминающее ощущение бренности всего сущего. В это мгновение душа его, словно вырвавшись из тела, оказалась вдруг на белом, свежееккрашенном борту лодки. И от этого он повеселел.

Хонда оттолкнулся веслом от камней на берегу, и они поплыли. Пунцовая поверхность дрогнула, расходящиеся по воде круги усиливали ощущение покоя. Глухой плеск напоминал хриплые горловые звуки. Киёаки чувствовал, как ускользает и никогда не повторится этот день его восемнадцатой осени, этот послеполуденный час.

– Плыдем на остров?

– И что будем там делать?! Там же ничего нет.

– Нет, давай поплывем!

Отличное настроение Хонды, свойственное его возрасту, легко угадывалось по оживленным возгласам, вырывающимся из груди в такт гребкам. Киёаки прислушивался к доносившему издали, откуда-то из-за острова, шуму водопада и смотрел не отрываясь на мутную воду зарастающего пруда, в которой отражались красные кленовые листья. Он знал, что в воде плавают карпы, а в камнях на дне прячутся черепахи. В сердце на мгновение ожил и тут же пропал тот детский страх.

Ярко светило солнце, его лучи падали на стриженные мальчишеские затылки. Был тихий и пригожий воскресный день.

И все-таки Киёаки по-прежнему слышал это. Слышал, как капля за каплей утекает время из маленькой дырочки на дне этого мира, похожего на наполненный водой кожаный мешок.

Юноши наконец добрались до острова, где среди сосен рос одинокий клен, и поднялись по каменным ступеням к круглой поляне на вершине, к стоящим там чугунным журавлям. Около птиц, которые призывно курлыкали, задрав клювы к небу, друзья сначала присели, а потом легли на спину и уставились в ясное небо поздней осени. Трава газона колосась через кимоно, Киёаки было жестко и больно, а Хонде казалось, словно по спине у него разливается сладостная боль, которую надо перетерпеть. Вместе с облаками перед глазами у них, казалось, медленно плыли шеи чугунных птиц, отполированные ветром и дождем и испачканные белым птичьим пометом.

– Удивительный день. Наверное, у нас в жизни больше не будет такого чудного беззаботного дня. – Хонда облек в слова наполнявшие его предчувствия.

– Ты говоришь о счастье? – спросил Киёаки.

– Да вроде нет...

– Ну ладно, только мне очень страшно говорить подобное. Испушать судьбу...

– Ты очень жаден. И при этом выглядишь печальным. Чего тебе не хватает?

– Какой-то вполне определенной вещи. Но я не знаю какой, – вяло ответил этот очень красивый юноша, который никак не мог определить, чего же ему хочется.

Несмотря на дружескую близость, в капризной душе Киёаки временами возникало раздражение против Хонды с его острым аналитическим умом и внешностью «многообещающего молодого человека».

Киёаки неожиданно перевернулся на живот, поднял голову и начал смотреть на лужайку, раскинувшуюся за прудом перед залом главного дома. Большие камни на дорожках из белого песка доходили до самого пруда, в этом месте специально сделали изрезанный залив и перекинули несколько каменных мостиков. Там-то он и заметил группу женщин.

3

Киёаки легонько толкнул друга в плечо, показывая ему туда, где были женщины. Хонда тоже повернул голову и сквозь стебли трав стал всматриваться в группу на берегу пруда. Приятели напоминали выслеживающих дичь молодых охотников.

Это был обычный маршрут прогулок матери. На этот раз, кроме матери и обычно сопровождавших ее служанок, в этой группе оказались две гостьи – молодая и пожилая, они шли вслед за матерью.

Все женщины были одеты в скромные кимоно, и лишь на молодой гостье было нарядное голубое кимоно с вышитым узором; на белом песке у воды шелк холодно поблескивал голубизной предзвездного неба.

Оттуда доносились веселые голоса, раздавались взрывы смеха, так обычно смеются женщины, боясь оступиться на камнях, и в этом слишком явном смехе была какая-то нарочитость, искусственность. Киёаки не любил такой смех, который отличал женщин их усадьбы, но у Хонды загорелись глаза, он походил сейчас на молодого петушка, слышавшего квохтанье курочек, и Киёаки вполне его понимал. Он прижался к земле, и под грудью стали ломаться стебли сухой осенней травы.

Киёаки надеялся, что хотя бы девушка в голубом не смеется так. Служанки помогали хозяйке и гостям идти по трудной дороге – узкой тропинке с несколькими мостиками, ведущей от воды к Кленовой горе, и скоро группа исчезла в тени кустарника.

– У тебя в доме полно женщин. А у меня все мужчины.

Хонда поднялся, оправдывая свой пыл, теперь он передвинулся в тень сосен и всматривался, как женщины поднимаются в гору. На поросшей кленами горе, с ее западной стороны, постепенно расширяясь, уходила вглубь расселина, поэтому водопад с четвертого порога падал по западному склону и низвергался в водоем, выложенный красным камнем из Садо. В том месте у водоема, где женщины перебирались с камня на камень, листья кленов приобрели красный оттенок. Белые брызги водопада на девятом пороге пропадали в кроне деревьев, и тут вода окрашивалась в темно-красный цвет. Киёаки издали видел белую шею и склоненную голову молодой гостьи в голубом, которая с помощью служанок перебиралась по камням, и вспомнил лилейно-белую царственную шею ее высочества незабвенной принцессы Касуги.

После переправы узкая тропинка некоторое время бежит по ровному месту вдоль воды, и этот берег ближе всего к острову. Киёаки, до сих пор жадно вглядывающийся в женщин, теперь был глубоко разочарован, узнав в девушке Сатоко. Почему же он до сих пор не заметил, что это Сатоко? Он был так поглощен мыслью о том, что это прекрасная незнакомка.

Уж если она обманула его ожидания, то прятаться нечего. Киёаки поднялся, стряхивая со штанов хакама прилипшие семена травы, и, выйдя на свет из-под нижних ветвей сосны, позвал:

– Эй! Эгей!

Хонда, подивившись столь неожиданному оживлению Киёаки, тоже выпрямился во весь рост. Не знай он этой особенности друга – при разочаровании, наоборот, оживляться, – наверняка подумал бы, что тот хочет его опередить.

– Кто это там?

– Да Сатоко. Я тебе, кажется, показывал фотографии.

Киёаки произнес это таким тоном, словно хотел оттолкнуть от себя это имя. Сатоко была по-настоящему красива. Однако он всячески старался показать, что не замечает ее красоты. А все потому, что хорошо знал, как Сатоко его любит. Наверное, Хонде единственному выпало такое в дружбе – часто видеть, как Киёаки отворачивается от тех, кто его любит, и не просто отворачивается, а жесток с ними. Хонда предполагал, что эта надменность, подобно плесени,

незаметно росла в его душе с тех пор, как тринадцатилетний Киёаки осознал всеобщее восхищение его красотой. Серебристо-белые цветы плесени, которые при касании звенят колокольчиками.

И это опасное очарование, под которое он действительно подпадал, дружа с Киёаки, шло, скорее всего, именно от этого. Среди одноклассников было немало таких, кто потерпел неудачу: они старались подружиться с Киёаки, но тот их просто высмеивал. Лишь Хонда с честью выдержал испытание, умело реагируя на холодную ядовитость. Может быть, он ошибался и это было не так, но антипатия, которую Хонда испытывал к Иинуме, тому состоящему при Киёаки секретарю с мрачным взглядом, возникла оттого, что именно на лице Иинумы он увидел привычную тень неудачника, натолкнувшегося со своей любовью на высокомерие.

Хонде еще не доводилось встречаться с Сатоко, но он хорошо знал это имя по рассказам Киёаки.

Семья Сатоко Аякура представляла одну из двадцати восьми семей рода Урин, вела свое происхождение от Намба Ёрисукэ, которого считают создателем кэмари – национальной игры в мяч, напоминающей футбол; в двадцать седьмом поколении, отделившись от семьи Намба Ёрицунэ, тогдашний Аякура стал служить императору и перебрался в Эдо; семья жила в старинной самурайской усадьбе, но была известна благодаря умению сочинять стихи и играть в мяч; наследнику был пожалован на совершеннолетие пятый ранг, и он мог дослужиться до старшего советника министра. Вот такой была эта семья.

Маркиз Мацугаэ, мечтавший об изысканности, которой недоставало его дому, рассчитывал хотя бы следующему поколению придать присущую высшему дворянству утонченность и в детстве поручил Киёаки заботам семьи Аякура. Там Киёаки усваивал семейные традиции аристократов, его обожала Сатоко, которая была на два года старше, и до поступления в школу она была единственным родным человеком, единственным другом Киёаки. Граф Аякура был нечванливый, по-настоящему добрый человек, маленького Киёаки он учил слагать стихи, обучал каллиграфии. В доме Аякуры и сейчас, совсем как в старину при императорском дворе, долгие вечера проводили за игрой в сугороку, и победителю вручалось печенье, пожалованное самой императрицей.

Особенное впечатление производила естественная, отшлифованная веками утонченность графа, когда он исполнял свои обязанности по части поэзии на новогодних поэтических собраниях во дворце, куда с пятнадцати лет стали допускать и Киёаки. Сначала Киёаки воспринимал это как некую обязанность, но, взрослея, начал ощущать, как каждый раз в начале года оказывается причастным к утонченности былых времен.

Сатоко сейчас исполнилось двадцать. По фотографиям в альбоме Киёаки можно было проследить ее взросление: от снимка, где они малышами дружески прижались друг к другу щечками, до последней фотографии, запечатлевшей присутствие Сатоко на майской церемонии в храме.

Хотя считалось, что в двадцать лет расцвет девушки уже позади, Сатоко была еще не замужем.

– Так это Сатоко? А кто же тогда старушка в сером, о которой все так хлопчут?

– А, это... А-а, ее двоюродная бабушка, монахиня-настоятельница. Что-то странное у нее на голове, я ее сразу не узнал.

Это действительно была редкая гостья, усадьбу она явно посетила впервые. Будь гостьей только Сатоко, мать приняла бы ее в доме, а настоятельницу храма Гэссюдзи она определенно решила провести по усадьбе. Так, все понятно. По случаю редкого визита настоятельницы в столицу Сатоко повезла ее в усадьбу Мацугаэ показать, как алеют листья кленов.

Настоятельница очень баловала Киёаки, когда тот жил в доме Аякуры, но события того времени совсем не сохранились в его памяти. Потом он встретился с ней только однажды, уже

учась в средних классах школы, когда его пригласили в дом Аякуры в очередной ее приезд. И все-таки Киёаки хорошо помнил ласковое, благородное, прекрасного цвета лицо и мягкую, ясную манеру говорить.

От крика Киёаки женщины на берегу разом остановились и с удивлением воззрились на молодых людей, которые, подобно пиратам, возникли на острове из травы у фигуры журавлей.

Мать, достав из-за пояса оби маленький веер, указала в сторону уважаемой гостьи, и Киёаки с острова низко поклонился, Хонда вслед за ним сделал то же самое. Настоятельница ответила на приветствие. Мать поманила их к себе раскрытым веером, золото на котором, отразив багрянец листьев, вспыхнуло алым, и Киёаки понял, что придется плыть с другом к берегу, куда пристают лодки.

– Сатоко уж не упустит случая прийти сюда. А тут вполне естественный повод. Пользуется бабушкой, – ворчал Киёаки, помогая Хонде отвязывать лодку.

Хонда, слушая Киёаки, спешащего на противоположный берег поздороваться с настоятельницей, подумал, уж не оправдывается ли тот. Он утвердился в этой мысли, глядя, как приятель безуспешно старается помочь ему, пытаясь белыми изящными пальцами развязать грубые узлы, словно раздражаясь от неторопливых движений друга.

Хонда греб, повернувшись спиной к берегу, и глаза Киёаки, выглядевшего так, словно у него кружится голова от темно-алых отблесков воды, усиленно избегали взгляда Хонды. Они смотрели на берег: возможно, он не хотел из свойственного его возрасту тщеславия показать, как чутко реагирует на девушку, в детстве слишком хорошо его знавшую и заполнявшую все его чувства. Наверное, в то время Сатоко успела рассмотреть Киёаки с головы до пят, увидеть все, вплоть до маленьких белых сердечек, напоминающих бутоны на конце стрелок лука.

Труд Хонды, который подвел лодку к берегу, вполне оценила мать Киёаки: «Ах, Хонда, вы прекрасно гребете». Это была женщина с овальным лицом, на котором чуть печально выглядели поднятые к переносице брови, но это лицо, остававшееся печальным, даже когда она смеялась, принадлежало отнюдь не чувствительной натуре. Она могла быть и практичной, и бесчувственной, и холодной: эта женщина, приспособившаяся к грубому оптимизму и распушенности мужа, ни через какую щель не могла проникнуть в сердце Киёаки.

Сатоко не отрываясь наблюдала, как Киёаки вылезает из лодки. Ее пристальный холодноватый взгляд постепенно становился будто мягче, снисходительней, и все-таки Киёаки всегда пытался и, пожалуй, вполне обоснованно читал в этом взгляде осуждение.

– Я счастлива, что могу побеседовать с нашей гостьей. Сначала я собиралась повести ее на Кленовую гору, а тут твои дикие крики. Что вы делали на острове?

– Так просто, смотрели в небо. – Отвечая на вопрос матери, Киёаки специально говорил загадками.

– Смотрели в небо? Разве там есть на что смотреть?

Мать не стыдилась того, что не может понять вещей, не видных глазу, не материализованных, и Киёаки считал это ее единственным достоинством. Было смешно, когда она начала проявлять похвальные намерения, например предлагая: «Давай послушаем проповедь».

Настоятельница с мягкой улыбкой, не забывая о своем положении гостьи, слушала диалог матери и сына.

А Сатоко пристально смотрела на черную блестящую прядь волос на щеке Киёаки, который специально не поворачивался в ее сторону.

Все вместе они поднимались по горной тропинке, восхищались осенними кленами и развлекались, определяя по голосам птичек, щебечущих в вершинах деревьев. Естественно, два молодых человека, как они ни замедляли шаг, ушли вперед и отделились от группы женщин, окружавших настоятельницу. Хонда воспользовался случаем и впервые заговорил о Сатоко; когда он стал восхищаться ее красотой, Киёаки отреагировал нарочитым «да-а?», делая вид,

что это ему безразлично, из чего было ясно, что, попробуй Хонда назвать Сатоко уродливой, его гордость была бы уязвлена. Киёаки старался быть равнодушным, но определенно считал, что женщина, имеющая к нему хоть какое-то отношение, обязана быть красивой.

Группа дошла до места падения водопада, все стали смотреть с мостика на первый порог, и когда мать уже предвкушала восхищенные слова настоятельницы, Киёаки сделал злополучное открытие, которое потом превратило этот достаточно обычный день в незабываемый:

– Что это? Вода там, вверху, расходится...

Мать тоже это заметила: заслонясь раскрытым веером от проникавшего сквозь ветви слепящего солнца, она взглянула наверх. Для того чтобы сделать падение водопада особенно впечатляющим, приложили немало выдумки, вода не должна была вот так некрасиво распадаться в центре на самом верху водопада. Точно, там, видно, свалился кусок скалы, но это вряд ли бы так нарушило форму потока.

– Что же это? Выглядит так, словно что-то преграждает путь воде. – Мать в растерянности обратилась к настоятельнице. Та, похоже, сразу что-то поняла, но только молча улыбалась.

Киёаки поднялся повыше, оттуда уже можно было определить, в чем дело. Однако он медлил, полагая, что его открытие испортит всем настроение. Он знал, что еще немного – и все сами увидят.

– Это ведь черная собака, да? Вон голова свешивается, – прямо заявила Сатоко, нарушив молчание. Все разом зашумели, утверждая, что поняли это с самого начала.

Самонадеянность Киёаки явно дала трещину. Сатоко, которая с несвойственной женщине храбростью сразу указала на труп несчастной собаки, продемонстрировала подлинную утонченность – и мягким уверенным голосом, и ясностью, с которой она разбиралась в вещах и событиях, и более всего своей прямоотой. Это была свежая живая утонченность, напоминающая фрукты в стеклянной вазе, так что Киёаки устыдился собственной нерешительности и стал бояться этой способности Сатоко показывать пример другим.

Мать сразу же отдала распоряжение служанке позвать нерадивого садовника, стала извиняться за инцидент перед настоятельницей, но та сделала странное предложение:

– Наверное, если она попалась мне на глаза, это что-то значит. Закопайте ее и сделайте холмик. А я совершу поминальную службу.

Труп собаки, которая утонула то ли от ран, то ли от болезни или просто упала в воду, когда собиралась напиться, принесло течением, и он застрял в скалах у водопада. На Хонду слова Сатоко произвели сильное впечатление: ему казалось, что он близко над водопадом видит прозрачное небо, по которому плывут облака, и черное мертвое тело повисшей на уступе собаки, осыпаемое прозрачными водными брызгами, ее мокрую шерсть, белизну обнаженных клыков и красно-черную пасть.

Любование осенними кленами было отменено, и похороны собаки для присутствующих превратились в некое подобие развлечения; служанки сразу засуетились, пряча свое обычное легкомыслие. Все присели отдохнуть в напоминающей чайный домик беседке по другую сторону моста; прибежавший садовник многословно извинялся, потом поднялся по опасному обрыву и принес мокрый труп черной собаки; все ждали, пока его закопают в яму, вырытую в соответствующем месте.

– Я нарву каких-нибудь цветов. Киё, ты мне поможешь? – сказала Сатоко, отказавшись от помощи служанок.

– Какие еще цветы собаке, – неохотно выдал Киёаки, и все рассмеялись.

Тем временем настоятельница сняла короткое верхнее кимоно и оказалась в пурпурном одеянии, поверх которого с левого плеча спускалось красное с золотом церемониальное облачение. Окружающие почувствовали, что присутствие столь уважаемой персоны прямо на глазах изгоняет несчастье, по крайней мере мрачное происшествие растворяется в огромном блистающем небе.

– Вот повезло собачке: вы совершаете молитвенный обряд по ней. В будущей жизни она точно родится человеком, – сказала мать уже со смехом.

В это время Сатоко шла перед Киёаки по горной тропинке и, когда замечала, рвала цветущие в это время колокольчики. Киёаки нашел только выющиеся дикие хризантемы. Сатоко нагнулась, чтобы сорвать цветок, и голубое кимоно четко обозначило полные бедра, так диссонирующие с ее стройной фигурой.

Киёаки неприятно ощутил, как в его прозрачные, отстраненные мысли вливается что-то мутное, будто мешается с водой поднимающийся со дна реки песок.

Сорвав несколько цветков, Сатоко резко выпрямилась и встала на дороге перед Киёаки, который двигался за ней, глядя куда-то вдаль. Перед Киёаки, как видение, на слишком близком расстоянии возникли приятной формы нос и прекрасные большие глаза, которые он решительно никогда не замечал.

– А что ты будешь делать, если я вдруг исчезну? – быстро, но сдержанно проговорила Сатоко.

4

Впрочем, Сатоко давно умела своими словами буквально огорошить человека. Не то чтобы она сознательно разыгрывала спектакль: на лице ее с самого начала не было и намека на безобидную шутку, она говорила очень серьезно, с печалью, словно поверяя что-то очень важное.

Вроде бы уже привычный к этому Киёаки все-таки невольно спросил:

– Исчезнешь? Почему это?

Определенно Сатоко желала именно такой реакции – внешне безразличной, но таящей тревогу.

– Ну-у, я не могу сказать почему.

Так Сатоко будто капнула туши в прозрачную воду чаши – в сердце Киёаки. И у того не было времени защититься. Киёаки зло глянул на Сатоко. Вот так всегда. Это заставляло его просто ненавидеть Сатоко. Вдруг, без всякой причины, она вызывала в его душе безотчетную тревогу. Капелька туши быстро расходилась в воде и ровно окрасила ее в пепельно-серый цвет.

В подернутых печалью глазах Сатоко мелькнуло удовлетворение.

Когда они вернулись, то все заметили, что Киёаки не в настроении. И это опять стало для женщин в доме Мацугаэ темой пересудов. При всем своем эгоизме Киёаки обладал удивительной чертой – лелеять точившую его тревогу.

Будь это любовная страсть, неотвязные мысли о предмете страсти были бы естественны для молодого человека. Но в его случае это было не так. Может быть, зная, что больше прекрасных цветов он любит те, что покрыты шипами, именно их семена Сатоко заронила в его душу.

Киёаки поливал их, взращивал побеги и ждал, когда они наконец буйно разрастутся в его душе, ко всему остальному он потерял интерес. Он, не отвлекаясь, лелеял только свою тревогу.

Ему подбросили интересное занятие. Он охотно погрузился в дурное настроение, сердился на Сатоко за то, что та навязала ему эту неопределенность, за ее намеки, сердился на собственную нерешительность, не давшую ему разгадать загадку сразу на месте.

Когда они с Хондой блаженствовали в траве на острове, он хотел «чего-то определенного». Он не знал, что это, но ему хотелось думать, что в тот самый момент, когда, казалось, нечто сверкающее «определенное» вот-вот упадет в руки, этому помешал голубой рукав кимоно Сатоко, и снова он ввергнут в трясину неопределенности. На самом деле, наверное, этот свет «определенного» лишь полыхнул в недосыгаемой дали, но все равно он убеждал себя в том, что последний шаг не дала ему сделать именно Сатоко.

Но больше Киёаки сердило то, что его собственная гордость не позволяла ему прибегать к различным способам выяснения загадки и причин тревоги. Ведь, обращаясь к другим за разъяснениями, он должен был бы спросить: «Что имела в виду Сатоко под словом „исчезнет“...», и его уж точно заподозрили бы в том, что он питает к ней интерес. «Что делать, как убедить всех в том, что это не имеет никакого отношения лично к Сатоко, а есть проявление моей абстрактной тревоги?»

О чем бы Киёаки ни думал, его мысли постоянно возвращались к этому.

Несколько отвлекала от этих мыслей школа, которую он, в общем-то, не любил. Перерыв на обед Киёаки и Хонда обычно проводили вместе, но Киёаки часто были скучны темы разговоров, потому что Хонда, с тех пор как в гостиной главного дома выслушал вместе со всеми проповедь настоятельницы из храма Гэссюдзи, все больше проникался тем, что услышал. Киёаки тогда многое пропустил мимо ушей, и теперь Хонда излагал ему проповедь от начала до конца с собственными комментариями.

Интересно, что в мечтательной душе Киёаки проповедь не оставила ни малейшего следа, а рационалисту Хонде, напротив, придала какие-то свежие силы.

Храм и монастырь Гэссюдзи в окрестностях Нара с самого начала принадлежали к буддийской школе Хоссо, что было редкостью для женского монастыря. Рациональные основы учения Хоссо вполне могли привлечь Хонду, но в самой проповеди настоятельница, чтобы ввести людей во врата «только-сознания», привела умышленно простой, понятный пример.

«Настоятельница сказала, что эта проповедь ей пришла в голову из-за погибшей в водопаде собаки, – излагал Хонда. – Я уверен, что проповедь свидетельствует о ее особом внимании к твоей семье. Архаичный диалект Киото в смеси с языком двора, – тот диалект Киото, который похож на слабо колышущиеся на ветру полоски занавеса (сами по себе невзрачные, тут они заставляют сиять целую гамму бледных тонов), – здорово добавил впечатления.

Рассказ настоятельница была о человеке по имени Гангё, который когда-то давно жил в Китае. Однажды в горах, где он скитался, постигая учение Будды, его застигла ночь, и он лег спать между курганами под открытым небом. Ночью он проснулся, и ему ужасно захотелось пить, тогда он протянул руку, зачерпнул воды из ямки рядом и напился. Не было в его жизни воды чище, холоднее, слаще. Он снова уснул, а утром, когда открыл глаза, свет зари осветил место, откуда он ночью пил воду. Оказалось, эта вода скопилась в черепе мертвеца, и Гангё, почувствовав тошноту, изверг ее из желудка. Но он постиг истину: пока душа живет, она творит законы, уничтожь душу – останется только череп.

Однако мне интересно: смог бы Гангё после просветления выпить ту же воду, творя душой ее чистоту и вкус? То же и с невинностью. Ты не согласен? Как бы распутна ни была женщина, чистый юноша может испытывать к ней чистую страсть. Но после того, как он поймет, что женщина ужасна, бесстыдна, после того, как поймет, что она, когда ей нужно, только прикидывается невинной, сможет ли он дальше питать к ней чистую любовь? Если сможет, то ведь это великолепно. Замечательно, если можно так прочно связать свою душу с миром. Это все равно что держать в своих руках ключи от тайн Вселенной».

Ясно было, что рассуждавший подобным образом Хонда еще не знал женщины, и Киёаки, который тоже не знал женщин, не мог опровергнуть его странных рассуждений, но отчего-то в душе этого капризного юноши жило ощущение того, что, в отличие от Хонды, именно он с самого рождения владеет ключами от мира. Непонятно, откуда взялась эта уверенность. Но мечтательная натура, высокомерие, заносчивость и в то же время чрезмерная впечатлительность, роковая красота... – это сиял драгоценный камень, будто вживленный в его тело.

Хотя Киёаки не чувствовал боли, яркий свет, который временами исходил откуда-то изнутри, наверное, заставлял его испытывать нечто похожее на гордость человека, превозмогающего необычную боль.

Прошлое монастыря Гэссюдзи не интересовало Киёаки, он его и не знал, а Хонда, которого с монастырем ничто не связывало, наоборот, занялся в библиотеке разысканиями.

Храм-монастырь был сравнительно новым, построенным в начале XVIII века: тогда дочь императора Хигасиямы в память об умершем в молодом возрасте отце посвятила себя в храме Киёмидзудэра богине Каннон. Она заинтересовалась учением «только-сознание», которое излагал живший в монастыре старый монах, постепенно прониклась идеями школы Хоссо, приняла постриг и, избегая существующих храмов, основала новый храм-монастырь, который должен был стать местом просвещения. Так был создан храм Гэссюдзи. Он по-прежнему оставался единственным женским монастырем школы Хоссо, но традиция преемственности настоятельниц по императорской линии прервалась в прошлом поколении: сестра бабушки Сакоко, хотя и была в отдаленном родстве с императорским домом, стала первой настоятельницей из семьи подданных...

Неожиданно Хонда бросил Киёаки прямо в лицо:

– Мацугаэ! Может, с тобой что случилось? Я говорю-говорю, а ты все где-то витаешь.

– Да нет, – задетый за живое, неопределенно ответил Киёаки.

Он смотрел на друга красивыми холодноватыми глазами. Он мог быть с товарищем открыто высокомерным, но боялся, что тот догадается о его переживаниях.

Если он сейчас раскроет душу, Хонда вообразит, что теперь волен запросто вторгаться в нее, и Киёаки, который никому не может этого позволить, потеряет своего единственного друга.

И Хонда сразу понял сомнения Киёаки. Если он, Хонда, собирается и впредь быть ему другом, нужно с оглядкой использовать чисто приятельские отношения. Не следует даже случайно касаться рукой свежеекрашенной стены, оставляя на ней отпечаток ладони. Иногда нужно не обращать внимания на любые, чуть ли не смертельные муки друга. Особенно если эти скрываемые муки сродни утонченности.

Хонде даже импонировало, что глаза Киёаки в этот момент выражали настойчивую мольбу. Этот взгляд, просивший: оставь все на том туманном, прекрасном берегу...

В этой холодной, неопределенной ситуации, при жестком противостоянии, когда дружба была предметом сделки, Киёаки впервые выступил просителем, а Хонда – эстетствующим зрителем. Именно такие ситуации, когда они понимали друг друга без слов, составляли суть того, что окружающие воспринимали как их дружбу.

5

Дней через десять после этого события маркиз неожиданно рано вернулся домой – и вся семья ужинала вместе. Отец любил европейскую кухню, поэтому стол был накрыт в малой столовой европейского дома, и маркиз сам спустился в винный погреб выбрать вино. Он ходил вместе с Киёаки по погребу, где были уложены бутылки с винами известных марок, охотно давал пояснения и с удовольствием рассказывал, какое вино к какому блюду подходит, иногда указывая: «А вот это можно подавать, только если пожалует император...» Отец никогда не бывал столь оживленным, как сейчас, когда он излагал все эти бесполезные сведения.

За аперитивом мать с гордостью рассказала, что позавчера с молодым конюхом ездила в коляске за покупками не куда-нибудь, а в Иокогаму.

– Подумать только, даже там европейская одежда редкость. Грязные мальчишки бежали за коляской и кричали: «Шлюха, шлюха!»

Отец упомянул, что может взять с собой Киёаки на церемонию спуска на воду военного корабля «Хиэй». Но сказал это, будучи уверенным, что Киёаки откажется.

После этого отец и мать, заметно мучительно подыскивая тему для разговора, по какой-то причине заговорили о событии трехлетней давности, когда праздновали пятнадцатилетие Киёаки, его взросление: птенец скоро вылетит из гнезда.

Это был старый обычай, когда, чтобы узнать судьбу, семнадцатого числа восьмого месяца по старому календарю вечером во дворе ставят новую лохань с водой, в которой должна отразиться луна; считалось, что если пятнадцатым летом в эту ночь пасмурно, то всю жизнь человека будут преследовать несчастья. Разговор родителей живо напомнил Киёаки тот вечер.

В центр газона, подернутого ранней росой, наполненного стрекотом насекомых, поставили новую лохань с водой, он в парадных, с гербами штанах хакама стоял между отцом и матерью. Поверхность воды в лохани словно выпрямляла и собирала воедино причудливый пейзаж – рощицу вокруг двора, где нарочно погасили фонари, черепицу на далекой крыше, Кленовую гору. Там, на краю светлой лохани из дерева хиноки, привычный мир кончался, открывался вход в другой мир. Этот предмет определял его судьбу, и Киёаки казалось, что на обрызганном росой газоне лежит его обнаженная душа. Ограниченный бортами лохани, обозначился его внутренний мир, а там, за ними, был внешний...

Все молчали, и даже звуки насекомых не так резали слух. Глаза присутствующих были прикованы к лохани. Сначала вода в ней была черной, закрытой похожими на водоросли тучами. Постепенно эти водоросли начали шевелиться, сквозь них пробился свет и сразу исчез.

Сколько-то они ждали. Наконец неясная тьма, застывшая в лохани, разом раскололась, и в воде воцарилась маленькая светлая луна.

Раздались крики, облегченно вздохнувшая мать впервые раскрыла веер и, отгоняя норотивших сестр на кимоно комаров, сказала:

– Слава богу, у ребенка будет хорошая судьба. – И стала принимать посыпавшиеся поздравления.

Киёаки боялся, однако, посмотреть на настоящую, висевшую в небе луну. Он смотрел только на ту, которая, как золотая раковина, погружалась все глубже и глубже в его внутренний мир, принявший форму замкнутой в круг воды. Вот так душа поймала небесное светило. Душасачок накрыла сверкающую золотом бабочку.

Однако ее сетка груба, и однажды накрытая ею бабочка, наверное, снова не вспорхнет вверх?

В пятнадцать лет он начал страшиться потерь.

Сердце, которое боялось враз утратить обретенное, – вот что отличало натуру этого подростка. Как же был велик его ужас, когда он сообразил, что, получив луну, он станет потом жить в безлунном мире. Пусть даже он ненавидит эту луну...

Исчезни одна из игральных карт колоды, и в мировом порядке что-то непоправимо нарушится. Особенно Киёаки боялся, что утрата крошечной части заведенного порядка свергнет его в тот хаос полного отсутствия порядка, как в часах, у которых недостает крошечного колесика. Сколько нашей энергии требует поиск потерявшейся карты, в конечном счете он делает не столько ее, сколько сами карты таким же важным, не терпящим отлагательства делом, как борьба за корону. Чувства Киёаки жили по такому закону, и он не умел этому сопротивляться.

Киёаки с удивлением обнаружил, что от воспоминаний о том празднике мысли его незаметно перекинулись на Сатоко.

В это время появился дворецкий, шурша сшитыми из дорогой ткани штанами хакама, и возвестил, что ужин подан. Семья прошла в столовую и уселась за стол, где стоял сделанный на заказ в Англии сервиз, украшенный чудным узором.

С детства отец педантично внушал Киёаки правила поведения за столом, и сейчас естественнее всех вел себя Киёаки, – мать до сих пор не освоилась с европейской едой, в манерах же отца заметна была чопорность человека, который лишь недавно стал бывать за границей.

За супом мать вдруг завела разговор:

– Просто беда с этой Сатоко. Сегодня утром я узнала, что она отклонила предложение. Одно время мне казалось, что она окончательно решилась...

– Да ей уж, поди, двадцать. Будет капризничать, останется старой девой. Да пусть, нам-то что за дело, – сказал отец.

Киёаки весь обратился в слух. Отец, не обращая на него внимания, продолжал:

– И чего отказала? Может, думает, что жених ей неровня, однако же семья Аякура хоть и знатного рода, но сейчас, считай, разорилась. Предложение подающего надежды сотрудника Министерства внутренних дел, не важно, какого он там происхождения, следовало бы принять с благодарностью.

– И я так думаю. Мне уж надоело им помогать.

– Но нам следует отблагодарить их за то, что они воспитывали Киёаки, и поспособствовать возрождению их дома. Надо бы найти такой вариант, чтобы она никак не могла отказать.

– А что, есть такой вариант?

Лицо Киёаки, прислушивающегося к разговору родителей, прояснилось. Вот загадка и разгадана. «Если я вдруг исчезну...» Эти слова Сатоко всего лишь означали сделанное ей предложение выйти замуж. В тот день Сатоко в душе, видно, склонялась принять его и, намекая на это, пыталась выведать чувства Киёаки. Если она, как сейчас говорит мать, после десятого числа официально ответила отказом, то причина его для Киёаки очевидна. Все дело в том, что Сатоко любит его, Киёаки.

Мир, в котором жил Киёаки, прояснился, стал подобен прозрачной воде в стакане. Тревога исчезла. Он наконец вернулся в свой уютный садик, куда никак не мог добраться целых десять дней, и теперь может отдохнуть.

Киёаки был безмерно, как никогда в жизни, счастлив, и счастье это было связано с его открытием. Намеренно спрятанная карта нашлась, и колода собрана... Карты опять стали всего лишь картами... какое невыразимое, безоблачное ощущение счастья.

По меньшей мере в этот момент он сумел справиться с эмоциями.

Однако родители, не столь проницательные, чтобы заметить неожиданно просветлевшее лицо сына, разделенные столом, смотрели только друг на друга. Маркиз – на печальное лицо

жены с приподнятыми к переносице бровями, жена – на грубое раскрасневшееся лицо мужа, который был просто создан для действий, но давно обленился.

Когда беседа родителей как-то оживилась, Киёаки, как всегда, воспринял это как некий ритуал, будто они поочередно подносили богам ветки священного дерева с тщательно отобранными блестящими листьями.

С отрочества Киёаки наблюдал то же самое бесчисленное множество раз. Ни намек на возбуждение. Никакого взрыва эмоций. Мать точно знала, куда отец потом направится, и маркиз прекрасно понимал, что жена знает. Это каждый раз было как падение вместе с водопадом – безмятежно скользишь по гладкой, отражающей синее небо и облака водной глади, не думая о грязи внизу.

Маркиз, торопливо глотая после ужина кофе, предложил:

– Что, Киёаки, сыграем партию в бильярд?

– Ну, я вас покидаю, – сказала мать.

В этот вечер душу счастливого Киёаки совсем не трогали эти обманы. Мать вернулась в главный дом, а отец с сыном вошли в бильярдную.

Бильярдная с дубовыми панелями копировала английскую комнату и славилась тем, что там был портрет деда и большая картина маслом, изображавшая морское сражение времен японско-русской войны. Портрет писал в период пребывания в Японии ученик английского портретиста Джона Миллса, автора портрета Глэндстона. Существовало множество портретов деда, но в этом, несмотря на простоту композиции – из слабого мрака выступает фигура старика в парадном одеянии, – стиль изображения, где в меру присутствовали строгий реализм и наивный идеализм, передавал и нестигаемый облик человека, которого общество почитало как верного сторонника нового строя, и приметы, которые помнили его близкие, например родинки и бородавки на щеке.

Когда из Кагосимы прибывали новые служанки, их обязательно приводили поклониться портрету. За несколько часов до смерти деда в абсолютно пустом помещении портрет со страшным грохотом неожиданно свалился на пол, притом шнур, на котором он висел, был еще совсем крепким.

В бильярдной стояли в ряд три стола с досками для записи из итальянского мрамора, но в три шара – игру, которая появилась после японско-китайской войны, – в доме никто не играл, отец и сын играли в четыре шара. Дворецкий уже расставил слева и справа на одинаковом расстоянии от бортика красный и белый шары и теперь передал маркизу и Киёаки кии. Киёаки, натирая кончик кия итальянским мелом из окаменевшего вулканического пепла, пристально смотрел на стол.

Шары слоновой кости покоились на зеленом сукне, отбрасываемая ими тень делала их похожими на раскрывшиеся раковины. Киёаки они были абсолютно безразличны. Все походило на безлюдную средь бела дня дорогу в незнакомом городе, а шары – на странные бессмысленные предметы, неожиданно представшие на ней перед глазами.

Маркиза, как всегда, кольнул в сердце отрешенный взгляд сына. Даже в самые счастливые моменты, такие, как сегодня вечером, у Киёаки появлялся этот взгляд.

– Да, ты знаешь, что в Японию скоро придут два принца из Сиамы: их посылают учиться к вам в школу? – вспомнил отец.

– Нет...

– Они как будто твои ровесники, так что я сказал в Министерстве иностранных дел, чтобы в программе учли, что они погостят несколько дней у нас в доме. В Сиаме последнее время всякие перемены: отменили рабство, строят железные дороги – тебе есть смысл поближе познакомиться с принцами.

Киёаки, глядя на спину отца, который, согнувшись с грацией ожиревшего леопарда, готовился ударить кием по шару, не мог удержаться от улыбки. Он позволил своему ощущению

счастья коснуться чужой жаркой страны, словно дал обменяться легким поцелуем двум шарам из слоновой кости. И ощутил, как кристально прозрачное прежде абстрактное чувство вдруг засияло красками, словно отразив блистающую зелень неведомых тропических лесов.

Маркиз играл хорошо, Киёаки с самого начала не был ему достойным соперником. После того как они обменялись пятью ударами, отец проворно отошел от стола и сказал, собственно, то, чего и ожидал Киёаки:

– Пойду прогуляюсь... а ты что будешь делать?

Киёаки промолчал. Тогда отец неожиданно произнес:

– Проводи меня до ворот. Как в детстве...

Киёаки с удивлением взглянул на отца черными блестящими глазами. Маркизу по меньшей мере удалось удивить сына.

Любовница отца жила в одном из домов, которые сдавали внаем, тут же, за пределами усадьбы. Два других дома занимали иностранцы; в заборе, окружавшем усадьбу, были калитки, поэтому дети из этих семей свободно приходили сюда поиграть, и только калитка к дому любовницы отца была заперта на замок, который уже заржавел.

От вестибюля главного дома до парадного въезда было метров восемьсот. В детстве Киёаки часто ходил здесь за руку с отцом, отправлявшимся к любовнице, а у ворот расставался с ним, и слуга приводил мальчика домой.

Отец, когда выезжал по делам, обязательно приказывал закладывать коляску, поэтому если он шел пешком, то было понятно, куда он направляется. Детским сердцем Киёаки ощущал, что ему неприятно идти в таких случаях с отцом, смутно осознавал, что его обязанность перед матерью – непременно заставить отца вернуться домой, и злился на собственное бессилие, потому что не мог этого сделать. Матери, конечно, не нравилось, что Киёаки сопровождает отца, но тот напоказ брал сына за руку и выходил из дому.

Эта прогулка холодным ноябрьским вечером была какой-то странной.

Отец приказал дворецкому подать пальто. Киёаки тоже, выйдя из бильярдной, надел форменную, на подкладке шинель с золотыми пуговицами.

Дворецкий, который обязан был на прогулке следовать в десяти шагах за хозяином, нес подарок, завернутый в пурпурного цвета платок.

Светила луна, ветер шелестел в ветвях деревьев. Отец не обращал никакого внимания на следовавшего за ним тенью дворецкого Ямаду, но Киёаки один раз все-таки обернулся. Было холодно, дворецкий не надел безрукавку, был в своих обычных штанах хакама с рисунком и белых носках; у него теперь стали болеть ноги, и он со свертком в руках шел медленно. Очки при свете луны поблескивали, словно иней. Киёаки не знал, какие чувства уже покрылись ржавчиной в душе этого бесконечно преданного человека, с которым в последние дни он не обмолвился ни словом. Однако холодный, безучастный сын куда сильнее, чем всегда веселый, общительный отец, ощущал чувства других.

Ухнула сова, шум сосен отозвался в ушах раскрасневшегося от вина Киёаки печальным ропотом колышущихся под ветром деревьев с фотографии «Заупокойная служба по погибшим». Отец на холодном воздухе мечтал об улыбке теплой, влажной, розовой плоти, что ждала его этой ночью, а у сына возникали ассоциации со смертью.

Подвыпивший маркиз отбрасывал с дороги концом трости мелкие камушки и вдруг заговорил:

– Ты почти не развлекаешься. В твоём возрасте у меня уже было несколько женщин. Давай я тебя куда-нибудь свожу, позовем гейш – иногда можно и повеселиться. Хочешь, пригласи своего школьного приятеля.

– Нет, – вздрогнув, машинально ответил Киёаки.

Он остановился, словно ноги приросли к земле. Удивительно, но от слов отца его ощущение счастья разлетелось на мелкие кусочки, точно упавший на землю стеклянный сосуд.

– Что такое?

– Я, пожалуй, пойду домой. Спокойной ночи.

Киёаки повернулся и поспешно двинулся обратно к главному дому, к далеким, просвечивающим между деревьями огням, это было куда дальше, чем вестибюль европейского дома, где зажгли слабый свет.

Эту ночь Киёаки провел без сна. Он совсем не думал об отце с матерью. Мысли его все время возвращались к Сатоко.

«Она просто заманила меня в ловушку и потом десять дней мучила. У нее была только одна цель – задеть мое сердце и заставить страдать. Я должен отплатить ей тем же. Но я не уверен, смогу ли, как она, мучить человека, прибегая ко всяким коварным уловкам. Что же делать? Лучше всего дать ей почувствовать, что я, как и отец, презираю женщин. Смогу ли я оскорбить ее на словах или письмом так, чтобы она была потрясена? У меня вечно не хватает духу, я не умею открыть свою душу людям, а тут я нанесу удар. Недостаточно просто показать ей, что она мне безразлична. Ведь тогда она сможет еще что-нибудь придумать. Опозорить ее! Вот что нужно. Оскорбить так, чтобы она страдала. Вот что нужно. Уж тогда она пожалеет, что мучила меня».

Он не знал, на что решиться, ничего конкретного не приходило ему в голову.

Кровать в спальне отгораживали парные ширмы с шестью строками стихов Кандзана, в ногах на полке из красного сандалового дерева сидел яшмовый зеленый попугай. Киёаки никогда не питал интереса к модным Родену, Сезанну, прелесть их творений оставляла его скорее равнодушным. Пока он всматривался в птицу широко открытыми, без признаков сна глазами, она обозначилась вся, вплоть до мельчайших штрихов на крыльях, в ее словно подернутой дымкой зелени таился мерцающий свет. В этом свете все будто растворилось, и вот чудо – от попугая остались только слабые контуры. Он понял: прямо на яшмовую птицу через щель в занавеси падает лунный свет. Грубо дернул занавеску – луна висела точно посреди неба, ее свет сплошь залил постель.

Луна выглядела невозмутимо великолепной. Киёаки вспомнил холодный блеск шелкового кимоно Сатоко, он смотрел на луну, как в огромные чудные глаза Сатоко, которые были так близко. Ветер затих. У Киёаки тело пылало огнем – не потому, что в комнате было натоплено, – ему казалось, что жар стучит в ушах; он отбросил одеяло, обнажил грудь, и все равно: горящий внутри огонь то тут, то там словно пронзал кожу, мнилось, что огонь не погаснет, пока на него не падет холодный свет луны; в конце концов, скинув с плеч кимоно, Киёаки обнажился по пояс, измученный, повернулся спиной к луне и уткнулся головой в подушку. В висках жарко пульсировала кровь.

Киёаки подставил спину с белой гладкой кожей лунным лучам. Они высвечивали мельчайшие неровности этой нежной плоти, будто восхищались, только не женской кожей, а этой едва наметившейся грубостью кожи взрослеющего юноши.

На левом боку, там, куда глубоко проникал свет луны, чуть заметное таинственное движение плоти, выдававшее биение сердца, подчеркивало ослепительную белизну кожи. Здесь были маленькие, едва заметные родинки. В лунном свете эти три крошечные родинки, совсем как три мерцающие точки в созвездии Ориона, стали незаметны.

6

В Сиаме в 1910 году власть перешла от короля Рамы Пятого к королю Раме Шестому, один из принцев, которых посылали учиться в Японию, был младшим братом нового короля и сыном Рамы Пятого. Официальным его титулом был праонг Тьяо, а именем – Паттанадид, по-английски его было принято называть His Highness Prince Pattanadid (его высочество принц Паттанадид).

Приехавший с ним вместе второй принц приходился внуком Раме Четвертому и был в большой дружбе с двоюродным братом; официальным его титулом был мом Тьяо, именем – Кридсада, его высочество принц Паттанадид звал его ласково «Кри», но Кридсада не забывал выражать почтение к члену семьи правящего короля и называл принца Паттанадида «Тьяо Пи».

Оба были ревностными, благочестивыми буддистами, но в повседневной жизни носили европейскую одежду и прекрасно говорили по-английски. Новый король беспокоился, как бы молодые принцы не вестернизировались, и решил отправить их учиться в Японию, принцы не возражали, и единственно, что их огорчало, это разлука Тьяо Пи с принцессой, младшей сестрой Кри.

Их любовь была при дворе объектом добрых шуток. Было решено, что, когда Тьяо Пи вернется, закончив учебу, они отпразднуют свадьбу, поэтому волноваться о будущем было нечего, но принц Паттанадид при отплытии корабля выказывал глубокую печаль, что было странным для жителя страны, где люди обычно сдержанны в выражении чувств.

Морское путешествие и участие кузена несколько смягчили страдания молодого принца. Когда Киёаки встретил принцев в своем доме, то юные смуглые лица того и другого показались ему даже чересчур оживленными.

До зимних каникул принцы посещали школу по желанию, пока только для знакомства. Хотя было решено, что они начнут учиться с нового года, официально зачислить их предполагалось в новом учебном семестре, весной, когда они немного овладеют японским языком и привыкнут к окружающей обстановке.

Под спальни принцев отвели две смежные гостевые комнаты на втором этаже европейского дома, так как там было установлено привезенное из Чикаго паровое отопление.

За ужином, на котором все собрались в доме Мацугаэ, и Киёаки, и гости чувствовали себя напряженно, но после ужина, когда молодые люди остались одни, все оживилось, принцы показали Киёаки фотографии блистающих золотом храмов Бангкока и снимки изумительных пейзажей.

Они были ровесниками, но в принце Кридсаде еще оставалась непосредственность, ребячество, а у принца Паттанадида Киёаки с радостью обнаружил мечтательный, похожий на его собственный характер.

Одна из фотографий запечатлела вид известного монастыря Ват По, где находилась огромная статуя сидящего Будды Шакьямуни, фотография была мастерски раскрашена от руки, казалось, так и видишь все это перед глазами. На фоне синего, с горой облаков тропического неба разбросаны листья кокосовых пальм; несравненной красоты красно-бело-золотой монастырь вызывает в груди трепет восторга: ярко-красные, в золотом обрамлении створки ворот, охраняемые с двух сторон золотыми изваяниями божественных стражей, белые стены и ряды белых колонн в верхней части переходят в тончайшей резьбы золотые кисти, они как бы соединяют сплошь покрытую сложным рельефным узором красную с золотом крышу и поддерживающий ее фронтон; наконец, в центре крыши возвышается ослепительная трехъярусная пагода, пронзающая лучезарное небо.

На лице Киёаки отразилось восхищение этой красотой, очень обрадовавшее принцев, и Паттанадид сказал, вглядываясь куда-то вдаль узкими пронизательными глазами, которые казались совсем не к месту на добром круглом лице:

– Я особенно люблю этот храм. В море по дороге сюда я несколько раз видел его во сне. Из глубин ночной пучины встает золотая крыша, а за ней постепенно весь храм; корабль движется прямо к нему, а когда храм виден полностью, корабль всегда оказывается далеко от него. Выросший из воды храм, в струях стекающей морской воды, сияет в свете звезд и похож на молодую луну, поднимающуюся на горизонте над вечерним морем. Я на палубе соединяю ладони, чтобы поклониться ему, и удивительно: храм так далеко, ночь, темно, а я отчетливо, до мелочей вижу красный с золотом узор.

Я рассказал этот сон Кри, сказал, что храм следует за нами в Японию, но Кри стал дразнить меня, со смехом утверждая, что преследуют меня совсем другие воспоминания. Я тогда еще рассердился, но теперь начинаю чувствовать что-то похожее.

Ведь все священные предметы состоят из того же, что и сны с воспоминаниями; отделенные от нас пространством и временем, они воспринимаются как явившееся чудо. Эти три сущности – идеал, сон, воспоминание – объединяет то, что их нельзя потрогать рукой. Стоит лишь на шаг удалиться от материальных, осязаемых предметов, как они превращаются в идеальные, становятся чудом, приобретают редкую красоту и прелесть. Святость-идеал присутствует во всем, но мы касаемся рукой – и предмет оскверняется. Люди – странные создания. Все, до чего мы дотрагиваемся, мы оскверняем, при этом в душе у нас есть все задатки для того, чтобы стать святыми.

– Тьяо Пи рассуждает о сложных вещах, а на самом деле речь идет о возлюбленной, с которой он расстался. Покажи Киёаки фотографию, – перебил двоюродного брата Кридсада.

У Паттанадида порозовели щеки, но из-за смуглого цвета кожи это было не очень заметно. Увидев его колебания, Киёаки не стал настаивать и перевел разговор на другую тему:

– Так вы часто видите сны? Я тоже – и даже веду дневник снов.

– Если бы я только понимал по-японски: мне так хочется попросить почитать его. – У Тьяо Пи заблестели глаза.

Киёаки, видя, как легко, несмотря на чужой язык, доходит до сердца собеседника его увлечение снами – которое он боялся открыть даже другу, – испытывал к нему все большую симпатию.

Однако вскоре беседа застопорилась, и Киёаки по быстрым движениям лукавых глаз Кридсады вдруг догадался: это потому, что он не настаивал: «Покажите фотографию». Тьяо Пи, видно, надеялся, что он будет настаивать. И как только Киёаки попросил: «Покажите мне фотографию преследующей вас мечты», – Кридсада опять вмешался:

– Храма или любимой?

И хотя Тьяо Пи посмотрел на него укоризненно, словно упрекая за столь легкомысленное сравнение, Кридсада снова повертел головой и показал на разложенные фотографии:

– Моя сестра принцесса Тьянтрапа. Это значит «лунный свет». Мы обычно зовем ее Йинг Тьян – принцесса Тьян, – пояснил он.

Взглянув на фотографию, Киёаки был слегка разочарован тем, что, против ожидания, на снимке была обычная девушка. Вряд ли бы кто-нибудь отличил эту чуть надменную девушку в белом кружевном платье с белой лентой в волосах и с жемчужным ожерельем на шее от ученицы привилегированной женской школы Гакусюин. Была некоторая прелесть в ее волосах, волнами спадающих на плечи, но смелые брови, широко, будто в удивлении распахнутые глаза, губы, слегка поднятые в уголках рта, напоминающие тронутые зноем лепестки цветка, – все это было детским, еще не сознающим собственной красоты. Конечно, и это тоже была красота. Но слишком чувствовалась в ней природа птенца, который пока и не помышляет о полете.

«По сравнению с ней Сатоко в сто, нет, в тысячу раз больше женщина, – невольно сравнивал Киёаки. – Может быть, я и ненавижу ее за то, что она слишком женщина. Да Сатоко еще и намного красивее. И осознает свою красоту. Она все знает. Знает, к несчастью, даже о моей неопытности».

Тьяо Пи, углядев, по-видимому, в глазах у пристально смотревшего на фотографию Киёаки некоторого рода посягательство, резко вытянул изящные, янтарного цвета пальцы и взял фотографию. Уловив изумрудный блеск, сверкнувший на одном из этих пальцев, Киёаки только теперь обратил внимание на великолепный перстень Тьяо Пи.

Огромный, прямоугольной огранки изумруд весом, пожалуй что, в двадцать три карата украшал массивный золотой перстень, на котором были в деталях выгравированы звероподобные лица пары божественных стражей.

– Это мой камень – я родился в мае. Йинг Тьян подарила мне его на прощание, – все еще застенчиво пояснил Паттанадид.

– За такую яркую вещь в школе, пожалуй, будут ругать, еще, чего доброго, и отнимут, – предостерег Киёаки и начал серьезно по-японски давать советы, где принцу следует держать перстень, извинился, что невольно перешел на родной язык, и повторил то же по-английски. Он предложил обратиться к отцу, чтобы тот порекомендовал сейф в хорошем банке. Разговор пошел откровеннее: уже и Кридсада показал маленькую фотографию своей подруги, а потом принцы стали приставать к Киёаки, непременно желая увидеть портрет его возлюбленной.

Тщеславие молодости вынудило Киёаки среагировать мгновенно:

– У нас нет обычая обмениваться фотографиями, но я вас скоро с ней познакомлю.

У него не достало смелости показать одну из тех фотографий Сатоко, что с детских лет наклеивались в его альбом.

Он заметил, что, хотя уже давно стали превозносить его красоту, хотя люди восхищались им, за все восемнадцать лет, проведенных в этой скучной усадьбе, у него не было ни одной подружки, кроме Сатоко.

Сатоко была другом и врагом одновременно, совсем не похожей на куклу из застывшей патоки сладких чувств, как это было у принцев. Киёаки разозлился на себя, на всех и на всё. Ему казалось, что даже в словах подвыпившего отца, заботливо сказанных на последней «прогулке», пряталась презрительная насмешка над одиноким мечтательным сыном.

Сейчас все, от чего он отказывался из чувства собственного достоинства, наоборот, ранило его. Смуглая кожа здоровых юношей из южной страны, их горящие, словно стальным мечом пронзающие глаза, их длинные тонкие пальцы янтарного цвета, умеющие, несмотря на молодость, ласкать, – все это словно говорило Киёаки: «Как, у тебя еще нет возлюбленной?»

И, будучи не в силах сдержаться, Киёаки с холодным изяществом подчеркнул:

– Я вас скоро обязательно с ней познакомлю.

Но каким образом он мог бы похвастаться красотой Сатоко перед новыми друзьями-иностранцами?!

После долгих колебаний Киёаки наконец написал вчера адресованное Сатоко безумное, оскорбительное письмо. Он несколько раз переписывал его с намерением сделать как можно более язвительным, и оно буквально засело в уме.

«...Я сожалею, что вынужден написать такое письмо в ответ на Ваши угрозы, – с этой оборванной фразы начиналось письмо. – Вы окутали себя бессмысленной, какой-то страшной загадкой и, не объяснив ситуацию, сообщили ее мне, сковав руки и погрузив в полный мрак. Я вынужден спросить Вас о том, что двигало в данном случае Вашими чувствами. Это недоброе отношение, и я усматриваю в нем отсутствие не просто привязанности, но и капли дружеских чувств. В Ваших коварных действиях была определенная Цель, которой Вы не признавали, и я из вежливости умолчу о ней. Однако теперь я могу сказать, что Ваши усилия, Ваши замыслы лопнули, как мыльный пузырь. Я в смятении (отчасти и по Вашей вине) переступил

через один из жизненных порогов. Я воспользовался случайным предложением отца и пошел по дороге, которую должен пройти каждый мужчина, – вкусить удовольствие от чувственных наслаждений. По правде говоря, я провел ночь с гейшей, которую порекомендовал отец. Другими словами, испытал допускаемое для мужчины общественной моралью, официально признанное удовольствие.

Этой ночью у меня полностью изменилось представление о счастье. И совершенно другим стало мое отношение к женщине: оказывается, ею можно забавляться, как маленьким похотливым зверьком. Я думаю, что это хороший урок, данный мне обществом, и я, не разделявший прежде взглядов отца на женщин, без отвращения ощутил в себе сына своего отца.

Вы, с Вашими старомодными представлениями давно ушедшей эпохи, читая эти строки, скорее порадуетесь за меня. И может быть, довольно улыбнетесь, полагая, что мое физическое отвращение к женщинам-профессионалкам еще больше поднимет духовное уважение к женщинам другого рода.

Нет! Решительно нет. С этой ночи я (правду говорят, прогресс есть прогресс), все слова, бросился в неизвестность. Там для меня не существует никакой разницы между гейшей и знатной дамой, жрицей любви и неопытной девочкой, безграмотной женщиной и „синим чулком“. Всякая женщина – всего лишь похотливый зверек. Все остальное – грим. Все остальное – одежда. Мне трудно выговорить это, но скажу, что теперь и Вас я считаю только одной из них. Задумайтесь над тем, что „Киё“, которого Вы знаете с детства, послушный и чистый, управляемый, игрушечный и милый „Киё“ уже умер...»

Принцам, похоже, показалось странным, что, хотя было еще и не так поздно, Киёаки поспешно бросил: «Спокойной ночи» – и покинул комнату.

Правда, как подобает джентльмену, он, внешне соблюдая гостеприимство, внимательно проверил, все ли приготовлено для сна, осведомился о пожеланиях гостей и только тогда ушел. И все-таки...

«Почему же в такой момент меня никто не понимает?» – размышлял он, бегом пересекая длинный переход между европейским и главным домами.

По дороге у него несколько раз всплывало в памяти имя Хонды, но его сложные представления о дружбе будто отталкивали его от Хонды. В окнах перехода шумел ночной ветер, был виден далеко протянувшийся ряд тусклых фонарей. Киёаки, опасавшийся, что кто-нибудь окликнет его, запыхавшись от бега, остановился в переходе. Опершись локтями об оконную раму с узором из буддийских символов мандзи, он смотрел в сад, изо всех сил стараясь привести в порядок мысли. В отличие от мечты реальность – материал, которому недостает пластичности. Ему нужно было овладеть не туманными ощущениями, а мыслями, спрессованными, напоминающими черные пилюли, мыслями, которые следовало немедленно реализовать. Он остро ощутил собственное бессилие и вздрогнул от холода, стоявшего в переходе, куда он попал из теплой комнаты. Прижавшись щекой к дребезжащему стеклу, Киёаки заглянул в сад. В эту безлунную ночь Кленовая гора и остров слились в сплошную темную глыбу, и только там, куда доставал свет тусклых ламп из перехода, смутно виднелась колеблемая ветром поверхность пруда. Он передернул плечами: показалось, что из пруда, вытянув шею, на него смотрят черепахи.

У подножия лестницы, по которой он собирался подняться в свою комнату, Киёаки столкнулся с Иинумой и всем видом выразил нежелание вступать в разговор.

– Гости уже легли?

– Да...

– Вы тоже ложитесь?

– Мне еще заниматься.

Иинума, которому уже исполнилось двадцать три, учился на последнем курсе вечернего университета, он, видно, только что вернулся с лекций – в руках держал книги. На лице у него

к задору молодости все больше примешивалось выражение меланхолии и скуки; его крупного тела, похожего на черный шкаф, Киёаки даже страшился.

Вернувшись к себе в комнату, Киёаки не стал зажигать огонь в печке, он беспокойно метался по холодной комнате, одну за другой перебирая приходящие в голову мысли.

«Во всяком случае, надо спешить. Может быть, уже поздно. Ту, которой я отправил такое письмо, я в течение нескольких дней должен представить принцам в качестве своей возлюбленной. И так, чтобы это произошло в хорошем обществе и выглядело естественным».

На стуле лежал вечерний выпуск газеты: прочитать его Киёаки не успел, теперь, развернув газету, на одной из страниц он увидел анонс театра кабуки на сцене Императорского театра, и тут его осенило. «Так, поведу принцев в театр. Отправленное вчера письмо, скорей всего, еще не дошло. Еще есть надежда. Думаю, родители вряд ли позволят мне пойти в театр с Сатоко, лучше будет, если мы встретимся там случайно».

Он выскочил из комнаты, скатился по лестнице, добежал до вестибюля и перед тем, как войти в комнату с телефоном, украдкой заглянул в комнату своего воспитателя, которая находилась сбоку от ярко освещенного вестибюля. Иинума, похоже, занимался.

Киёаки взял трубку и назвал телефонистке номер. Сердце колотилось, тоска развеялась.

– Дом господина Аякуры? А Сатоко дома? – сказал он, услышав знакомый голос пожилой женщины, которая подошла к телефону. Из далекой ночи старуха очень вежливо, но недовольно ответила:

– Так это молодой Мацугаэ? Извините, но уже поздно...

– Она спит?

– Нет... я думаю, что еще не спит, но...

Киёаки настаивал, и в конце концов Сатоко взяла трубку. Приветливость в ее голосе наполнила Киёаки счастьем.

– Что случилось, Киё? Звонишь в такое время...

– Понимаешь, я вчера отправил тебе письмо. У меня к тебе просьба, когда оно придет, сразу же, не вскрывая, сожги его. Обещаешь?

– Я не понимаю...

Киёаки терял терпение, чувствуя, как в этом спокойном тоне уже сквозит манера Сатоко напускать на вещи туман. И все равно голос Сатоко этой зимней ночью был похож на персик в июне: звучал зрело, тепло, серьезно.

– Ну, не спрашивай ничего, просто пообещай. Когда мое письмо придет, сразу сжечь его, не открывая.

– Ну ладно.

– Обещаешь?

– Да.

– У меня к тебе еще одна просьба.

– Вечер с большим количеством просьб, а, Киё?

– Купи билеты на послезавтра в Императорский театр и приходи туда с тетушкой.

– Что...

Голос Сатоко прервался. Киёаки испугался отказа, но тут же заметил свою оплошность. Он понимал, что для нынешнего финансового положения семьи Аякура немислимы траты больше двух иен на человека.

– Извини, билеты я вам пришлю. Если мы будем сидеть рядом, все будут пялиться, возьмем разные места. У меня гостят два принца из Таиланда, и мы идем в театр.

– Ах, это очень мило с твоей стороны. Представляю, как будет довольна Тадэсина. Мы охотно пойдём. – Сатоко откровенно выразила свою радость.

7

Хонда, получив в школе от Киёаки приглашение пойти завтра в театр, был несколько удивлен, узнав, что с ними идут два принца из Сиама, но с радостью согласился. Киёаки, конечно, не открыл другу своей уловки – как бы случайно встретить там Сатоко.

Дома за ужином Хонда сказал родителям о приглашении. Отец его театры особенно не жаловал, но полагал, что не должен связывать свободу сына, которому уже исполнилось восемнадцать.

Отец Хонды был судьей Верховного суда, жил в родовом поместье; усадьба, где был и европейский дом в стиле эпохи Мэйдзи, и другие строения, производила впечатление добротности. У отца было несколько секретарей, богатая библиотека: книги заполняли кабинет, даже в коридоре стояли книги в темных кожаных переплетах с золотым тиснением.

Мать тоже была постоянно занята, она работала в Патриотическом союзе женщин и не очень поощряла дружбу Сигэкуни с сыном маркиза Мацугаэ, жена которого совершенно не интересовалась деятельностью союза.

Во всем остальном Сигэкуни Хонда был идеальным сыном: прекрасно успевал в школе, постоянно занимался дома, был физически крепким, хорошо воспитанным. Мать гордилась плодами своего воспитания.

Вещи в доме, вплоть до последней полочки, были в безупречном порядке. Сосна-бонсай в прихожей, ширма с начертанным иероглифом, набор трубок для курения в гостиной, скатерть с бахромой – это уж само собой, но даже кадка для риса в кухне и висевшее в уборной полотенце, поднос для ручек в кабинете, пресс-папье, в конце концов, – все было в образцовом порядке.

Такими же продуманными были и темы разговоров, которые велись в доме. У приятелей в семьях обязательно были старики, рассказывавшие всякие занятные истории и с серьезным видом советовавшие: увидишь в окне две луны – громко крикни, тогда одна из них обратится в енота тануки и убежит. При этом и рассказчик, и слушатели сохраняли полную серьезность, но в семье Хонда строгий хозяин дома все держал в поле зрения: даже старым служанкам запрещалось повторять эти невежественные истории. Глава дома, который прилежно изучал в свое время право в Германии, был верен принципам немецкого рационализма.

Сигэкуни Хонда часто сравнивал свой дом с домом маркиза Мацугаэ, и ему приходили в голову интересные мысли. В том доме было собрано огромное количество вещей, чтобы жить по-европейски, но уклад семьи был старым, в доме же Хонды сам образ жизни был японским, но европейские по своему духу черты присутствовали во многом. И услугами секретарей отец пользовался совсем не так, как это было заведено в доме Мацугаэ.

В тот вечер Хонда, сделав задание по французскому – второму иностранному языку, просматривал полученные им через фирму Марудзэн комментарии к сводам законов на английском, французском и немецком языках: он делал это, чтобы запастись знаниями для будущих университетских занятий, а также по своей привычке во всем опираться на источники.

С тех пор как он услышал проповедь настоятельницы из храма Гэссюдзи, он почувствовал, что потерял интерес к привлекавшим его прежде европейским концепциям «естественного права». В трудах сначала Сократа, а потом Аристотеля господствовало римское право, в Средние века эти концепции были приведены в систему в соответствии с христианством, в эпоху Просвещения правовые теории стали так модны, что ее даже называют эпохой «естественного права», их отголоски слышны и теперь, но если сейчас представить себе течения, которые сменяли одно другое на протяжении двух тысяч лет, то окажется, что среди них не было такого, которое, каждый раз меняя обличье, оставалось бы неизменным по содержанию. Может быть, именно в этом больше всего сказалась европейская традиция веры в разум.

Однако чем устойчивее казалась концепция, тем больше мысли Хонды возвращались к тому периоду в две тысячи лет, когда силе человеческого знания постоянно угрожало мракобесие.

Нет, то были не только силы мрака. Привычный свет уступает по яркости ослепительному, так и с идеями: Хонда убеждался в том, что более яркие из них брезгливо отбрасывались. Более яркий свет был, как и мрак, по-видимому, неприемлем в мире законопорядка.

И все-таки Хонда не был в плену идей, принадлежащих школе классического римского права XIX века, а теперь и идей собственной национальной школы.

Японии эпохи Мэйдзи требовалось свое собственное, имеющее исторические корни право, но он, напротив, склонялся к общим, универсальным постулатам, которые должны лежать в основе закона, и именно поэтому увлекся немодными теперь идеями «естественного права». Он хотел знать границы универсальности закона, его привлекали размышления о той области, где закон перестает существовать, если выходит за рамки идеи «естественного права», определенной человечеством еще со времен Древней Греции, и вторгается в более широкую область общих истин (если предположить, что таковые существуют).

Это были свойственные молодости радикальные идеи. Однако было естественно, что когда Хонда пресытился римским правом, незыблемо стоящим за спиной изучаемого им современного действующего права, то ему захотелось, сбросив давление традиционных законов, унаследованных Японией нового времени, обратить свой взор к древним самобытным особенностям законопорядка в Азии.

Он полагал, что на мучающие его вопросы даст ответы «Свод законов Ману», который ему во французском переводе как раз доставила фирма Марудзэн.

Законы Ману – основной сборник древних законов Индии, который был составлен в период примерно 200 г. до н. э. – 200 г. н. э.; среди индуистов он и сейчас сохраняет силу Закона с большой буквы. 12 глав и 2684 раздела представляют собой стройную систему положений о религии, обычаях, морали и законе, они показывают особенности хаотичного азиатского мира с его множеством установлений – начиная с учения о возникновении космоса до обвинения в воровстве или определения доли в наследстве – в сравнении с опирающейся на соответствие между макро- и микрокосмосом системой средневековых христианских положений «естественного права».

Однако, так же как и римские законы, законы Ману ограничивали право на иск – например, формулировками, касающимися судебных дел с участием царя и брахманов, или в восемнадцатой статье о неуплате долгов – и тем противостояли современной концепции, гласившей, что человеку должно быть обеспечено право обращаться к закону.

Хонда читал, очарованный выразительными образами, присущими этому своду законов, – вот, казалось бы, обязанные быть сухими формулировки права на иск: способ, которым властитель убеждается в достоверности фактов, сравнивается в тексте с тем, как «охотник по каплям сочащейся крови добирается до лежбища раненого оленя»; или при перечислении обязанностей властителя говорится, что он должен изливать благодеяния на свое царство «подобно тому, как бог Индра четыре месяца посылает на землю обильные дожди».

Наконец Хонда дошел до последней главы со странными положениями – не то правилами, не то декларациями.

Категорический императив законов Западной Европы до конца опирался на человеческий разум, а законы Ману, естественно, представляли собой недоступные разуму космические вселенские законы, а именно – «круговорот человеческого существования».

«Действие рождается из тела, слова, мысли и приносит плод – хороший или плохой».

«Душа в этом мире связана с телом; у нее есть три ипостаси: добро, зло и то, что между ними».

«Человек познает результат движения души в душе, сказанного – в словах, результат физического движения – в теле».

«Человек, заблуждающийся телом, в будущей жизни станет деревом-травой, заблуждающийся словом – птицей-зверем, заблуждающийся душой – низкорожденным».

«Не оскорбивший живое телом, словом или мыслью, обуздавший вожеления и гнев завершит круг – получит полное освобождение».

«Человек обязан своей мудростью различать закон и не закон духа, обязан постоянно стремиться постичь закон».

Слова «закон» и «добро» здесь, как и в концепции «естественного права», употреблялись в одном и том же смысле, а отличие заключалось в идее круга перерождений, которую невозможно постичь разумом. С другой стороны, эта идея и не апеллировала к разуму, а уповала на угрозу возмездия, ее можно было бы назвать идеей, которая в меньшей степени полагалась на человеческую натуру, чем основные понятия римского права.

Хонда, раскапывая эту проблему, не собирался погружаться во тьму старых идей, но, стоя, как будущий юрист, на позициях упрочения закона, обнаружил, что не в состоянии освободиться от недоверия к действующему праву и в некотором роде испытывает за него стыд; в сложной системе действующего права, в этом ограниченном черными рамками кадре иногда просто необходимо было иметь перед глазами широкую перспективу божественного разума «естественного права» и главную идею законов Ману – ясное, голубое, полуденное небо, сияющий звездами ночной небосвод...

Право – вот уж поистине удивительная наука. Это мелкая сеть, которой можно зачерпнуть все вплоть до крохотных повседневных событий, и вместе с тем труд воображаемого рыбака, который давно раскинул огромную сеть, захватившую звездное небо и движение солнца.

Погрузившись в чтение, Хонда совсем забыл о времени, потом вдруг сообразил, что если сейчас же не ляжет спать, то завтра в театре, куда он приглашен Киёаки, будет выглядеть невыспавшимся и нездоровым.

При мысли о своем прекрасном загадочном друге он вынужден был признаваться самому себе, что, наверное, его собственная юность проходит слишком однообразно. Он смутно вспомнил хвастовство другого товарища по школе, как тот развлекался с девушками-майко в чайном домике квартала Гион: превратили подушку для сидения в мяч и играли на пирушке в регби.

Потом он вспомнил один из эпизодов прошедшей весны, в котором, с точки зрения окружающих, может быть, не было ничего особенного, но который для Хонды стал событием из ряда вон выходящим. По случаю десятой годовщины со дня смерти бабушки в храме Бодайдзи, что в Ниппори, состоялась поминальная служба, и присутствующие на ней родственники потом заехали к ним домой.

Среди гостей выделялась молодостью, красотой, оживленностью Фусако, троюродная сестра Сигэкуни. Это казалось просто удивительным: обычно мрачный дом наполнился громким девичьим смехом.

Хотя то была поминальная служба, но бабушка умерла уже давно, а у редко встречавшихся родственников было о чем поговорить и кроме смерти: все старались побольше рассказать о детях, появившихся в семье.

Собравшиеся человек тридцать бродили по дому и изумлялись – куда ни войдешь, всюду книги, книги... Несколько человек изъявили желание посмотреть рабочую комнату, где занимается Сигэкуни, поднялись наверх, оглядели книги на столе. Потом все по очереди покинули комнату, и остались только Фусако и Сигэкуни.

Они сели в стоящие у стены кожаные кресла. Сигэкуни был в форме школы Гакусюин, а Фусако – в кимоно пурпурного цвета. Когда все ушли, им стало как-то не по себе, веселый громкий смех Фусако затих.

Сигэкуни мог бы развлечь Фусако чем-нибудь вроде альбома с фотографиями, но, к сожалению, у него ничего такого не было. К тому же Фусако как-то поскучилась. До сих пор Сигэкуни не нравились ее слишком живые движения, ее постоянно громкий смех, ее кокетливая манера говорить, ее шумное поведение. У Фусако была тяжелая жаркая красота, напоминающая летние георгины, и Сигэкуни про себя думал, что он вряд ли бы женился на женщине подобного типа.

– Устала. А ты, братик, нет?

После этих слов она вдруг сложилась в талии, там, где пояс оби подходил под грудь, и Сигэкуни обдало тяжелым ароматом духов Фусако, неожиданно прижавшейся лицом к его коленям.

Сигэкуни, не зная, куда деваться, в замешательстве смотрел на этот вполне ощутимый груз у себя на коленях. Прошло какое-то время – ему казалось, что у него не хватает сил изменить позу. И Фусако тоже выглядела так, будто у нее нет желания поднять голову, раз она уже вверила ее обтянутым темной шерстью брюк коленям.

В этот момент отодвинулась раздвижная перегородка и неожиданно вошли мать и тетя с дядей. Мать переменялась в лице, а у Сигэкуни зануло в груди. Фусако же медленно повела в их сторону взглядом и вяло подняла голову:

– Я устала, голова болит.

– Ах, как неприятно, давайте я вам дам лекарство. – Энтузиастка Патриотического союза женщин заговорила тоном сестры милосердия.

– Да нет, не настолько, чтоб лекарство принимать...

Этот эпизод стал темой пересудов среди родственников, счастье еще, что не дошел до ушей отца, но мать строго отчитала Сигэкуни, а Фусако уже не могла больше посещать дом Хонды.

Однако Сигэкуни Хонда тогда навсегда запомнил ее такой, как в тот момент у него на коленях, – жаркой ощутимой тяжестью.

Это была тяжесть тела, кимоно, пояса оби, но Сигэкуни она вспоминалась тяжестью красивой головы со сложной прической. Истоющая ароматом женская голова с густыми волосами легла ему на колени, и даже через шерстяную часть брюк чувствовалось, что лицо ее горит. Этот жар, жар далекого пожара, – что это такое было? Как огонь из поставленной на колени фарфоровой курильницы, Фусако молча поведала о том, что она вот тут, рядом. И все-таки тяжесть этой головы была жесткой, словно агрессивной. Может, дело было в ее глазах?

Она прижалась к его коленям щекой, поэтому сверху ему был виден только один ее распахнутый глаз, похожий на маленькую, черную, влажную, подвижную каплю. Он напоминал присевшую на цветок невесомую бабочку. Трепет длинных ресниц – как трепет крылышек. Зрачок – как пятнышко на них.

Сигэкуни не встречал еще таких глаз – скрытных, безучастных, готовых в любой момент упорхнуть, глаз тревожных, неуверенных, непрерывно снующих туда-сюда, словно пузырек в нивелире: то прямо, то наклонно, то рассеянно, то сосредоточенно.

Это явно было не кокетство. Все выглядело так, будто ее взгляд, когда она не смеялась, существовал отдельно, отражал до бессмысленной точности все беспорядочные движения, происходившие у нее внутри.

И исходившие от нее, вызывающие смятение сладость и аромат тоже не были кокетством.

...Так что же это было такое, что надолго полностью овладело его чувствами?

8

Со второй декады ноября по 10 декабря в Императорском театре давали не пьесы с известными актрисами, а представления театра кабуки, прославившиеся игрой актеров Байко и Косиро. Киёаки выбрал кабуки, полагая, что иностранцам это интереснее, а вовсе не потому, что хорошо его знал. Названия пьес ничего ему не говорили.

Поэтому-то он и пригласил Хонду; тот в обеденный перерыв нашел в библиотеке по каталогу пьесы и приготовился давать объяснения сиамским принцам.

Принцам пойти в чужой стране в театр было любопытно, но не более того. В этот день после школы Киёаки сразу вернулся вместе с Хондой домой, и тот, представленный принцам, кратко изложил им по-английски сюжет пьес, которые они будут смотреть вечером, но принцы слушали вполуха.

Киёаки испытывал одновременно и какую-то неловкость, и сострадание, наблюдая, как добросовестно и серьезно друг отнесся к его просьбе. Сегодняшний спектакль сам по себе ни для кого не был желанным. У Киёаки сердце ныло от тревоги: а что, если Сатоко нарушила обещание и все-таки прочла письмо.

Дворецкий объявил, что коляска готова. Лошади ржали, задрав морды к ночному зимнему небу, из их ноздрей вырывался белый пар. Зимой запах лошадей чувствовался слабее, отчетливо слышен был стук железных подков, ударявших по замерзшей земле; Киёаки радовался силе, которая в это время как-то умирляла животных. Среди молодой листвы несущиеся кони становились просто дикими, а в метель напоминали комья снега, северный ветер превращал их в вихрящееся дыхание зимы.

Киёаки любил ездить в коляске. Особенно когда его что-то беспокоило – тогда покачивание экипажа сбивало свойственный волнению размеренный, навязчивый ритм. Он словно ощущал хвост, взмахи которого открывают голый зад, вздыбленную гриву и слюну, которая покрывает пеной зубы и свисает с морд сверкающими нитями; он любил чувствовать эту дикую силу рядом с утонченностью, царящей в коляске.

Киёаки и Хонда надели школьную форму и шинели, принцы мерзли в пальто с пристегнутыми для пушей важности меховыми воротниками.

– Мы очень мерзнем, – задумчиво пояснил Паттанаид. – Мы пугали родственника, который собирался учиться в Швейцарии: «Там холодно», но я не думал, что в Японии такая холодина.

– Вы скоро привыкнете, – утешил его уже освоившийся Хонда.

По улицам спешили люди в теплых накидках, развевались полотнища, объявляющие о скорых новогодних распродажах, и принцы поинтересовались, что это за праздник.

За эти несколько дней у них в глазах, словно подведенных синим, появилась тоска, тоска по дому. Она заметна была даже у живого, немного легкомысленного Кридсады. Конечно, они старались скрыть ее, иначе бы это свело на нет гостеприимство Киёаки, но тот постоянно чувствовал, что их души витают далеко отсюда, где-то посреди океана. И он скорее радовался этому. На него всегда наводила тоску чья-нибудь неподвижная, запертая в теле душа.

Когда они подъехали к крепостному рву в Хиби, в темноте раннего зимнего вечера неожиданно возникло мерцающее огоньками трехэтажное, из белого кирпича здание Императорского театра.

Они прибыли, когда первая пьеса уже началась, но Киёаки со своего места рассмотрел фигуру Сатоко, которая сидела рядом со старой Тадэсиной несколькими рядами выше, и обменялся с ней мимолетным взглядом. Присутствие Сатоко, ее мгновенно вспыхнувшая улыбка дали ему понять, что все в порядке.

Первый акт пьесы, где по сцене метались воины времен Камакуры, Киёаки от охватившего его счастья видел словно в тумане. Самолюбие теперь ничто не тревожило, и он воспринимал сверкающую сцену только как отражение собственного счастья.

«Сегодня вечером Сатоко намного красивее, чем всегда. Пришла подкрашенная. Она выглядит так, как мне хотелось». Он повторил это про себя: вот чего он так хотел – не оглядываться на Сатоко и при этом постоянно чувствовать за спиной ее красоту.

Спокойно, полно, легко исполнилось его тайное желание. Этим вечером Киёаки нужна была только красота Сатоко, такого раньше не случалось. Киёаки не приходилось прежде думать о ней только как о красивой девушке. Не было случая, чтобы она была с ним официально или агрессивна, и все-таки он воспринимал ее как колючий шелк, парчу с грубой подкладкой, как женщину, которая продолжает его любить независимо от его настроений. Вот Киёаки и закрыл наглухо ставни своей души, чтобы она не свернулась тихим комочком в его сердце, чтобы резкий, обнажающий свет утреннего солнца, нетерпеливо совершающего свой путь, не проникал сквозь щели.

В антракте события развивались естественным путем. Киёаки прежде всего шепнул Хонде, что случайно увидел Сатоко, но было ясно, что Хонда, слегка покосившийся назад, в эту случайность не верит. Увидев выражение его глаз, Киёаки как раз успокоился. Глаза красноречиво свидетельствовали об идеальной, с точки зрения Киёаки, дружбе, когда друг не требует полной откровенности.

Все шумно вышли в коридор. Прошли под горящей люстрой и встретились у окна, за которым в ночном мраке были каменные стены и ров. Киёаки, что было так на него непохоже, с пылающим от возбуждения лицом познакомил Сатоко с принцами. Конечно, он мог сделать это холодно, но из вежливости копировал тот детский пыл, с которым принцы рассказывали о своих возлюбленных.

Он не сомневался, что может изображать чужие чувства как собственные, именно потому, что его успокоившееся сердце было теперь свободно. Естественное чувство – меланхолия, и чем дальше от него, тем больше свободы. Ведь сам он совсем не любит Сатоко.

Почтительно отступившая в тень колонны Тадэсина демонстрировала решимость быть подальше от иностранцев, повернувшись к ним спиной; ее шею плотно охватывал воротничок нижнего кимоно с вышитыми на нем цветами сливы. И к радости Киёаки, она не стала выражать вслух благодарность за приглашение.

Принцы, которые в присутствии красивой женщины сразу оживились, обратили внимание на тот особый тон, каким Киёаки знакомил с ними Сатоко. Тяю Пи, который и вообразить не мог, что Киёаки копирует его простодушный пыл, воспринял это как прямоту и естественность и почувствовал расположение к новому знакомому.

Хонда был поражен в самое сердце: Сатоко, хотя ни слова не могла сказать по-английски, перед принцами не тушевалась, но и не заносилась, держалась с достоинством. Окруженная молодыми людьми, Сатоко в своем кимоно из Киото выделялась, как тот единственный цветок в стиле икэбана Рикка.

Принцы один за другим обращались к Сатоко по-английски, Киёаки переводил, но каждый раз улыбка Сатоко, когда она поворачивалась к Киёаки за помощью, выглядела слишком напряженной, поэтому он забеспокоился.

«Она точно не читала письмо?»

Нет, если бы читала, то не смогла бы так вести себя. Прежде всего, она сюда бы не пришла. Когда Киёаки говорил с ней по телефону, письмо еще не доставили. Это точно, но не факт, что она не прочитала его потом.

Киёаки злился сам на себя, что у него не хватает смелости спросить определенно. Так, чтобы получить твердый ответ: «Не читала».

Он стал присматриваться и прислушиваться, не изменилось ли что-нибудь в выражении лица Сатоко, в ее голосе по сравнению с тем, как она говорила с ним позавчера вечером. И опять в душу закрались сомнения.

Ее профиль с носиком прекрасной формы, но не вызывающим ощущение надменности, а как у фигурки, вырезанной из слоновой кости, то озарялся, то попадал в тень по мере того, как она очень медленно поворачивала голову, поводя глазами. Считающийся обычно вульгарным взгляд искоса у нее плавно перетекал в улыбку, улыбка заканчивалась этим взглядом, и, окутанный изящной мимикой, он радовал глаз.

У ее чуть вытянутых губ прелестная припухлость пряталась внутри, зубы, видные каждый раз, когда она улыбалась, влажно вспыхивали в свете люстры, и она быстро прятала этот блеск, прикрывая, как положено, рот рукой с тонкими, хрупкими пальцами.

Принцы через Киёаки рассыпались в комплиментах, от них у Сатоко заалели мочки ушей; Киёаки не мог определить, покраснели ли эти чуть видные из-под волос нежные, похожие на капли дождя мочки от стыдливости или они с самого начала были подкрашены румянами.

Но уж никак ей было не спрятать яркий блеск глаз. В них по-прежнему была пугающая Киёаки, странная, пронзающая насквозь сила.

Прозвенел звонок к началу следующей пьесы. Все разошлись по местам.

– Это самая красивая девушка из тех, что я видел в Японии. Какой ты счастливчик! – шепнул Тьяо Пи, когда они шли по проходу. В этот момент тоска, залегшая тенью у него под глазами, чуть разошлась.

9

Состоявший при Киёаки Иинума заметил, что теперь безучастно, равнодушно, без прежнего негодования ощущает, как все эти шесть с лишним лет службы в доме Мацугаэ увядали его юношеские стремления, ослабевал праведный гнев. Конечно, его изменил уже сам по себе новый для него уклад семьи, но истинным источником отравы был восемнадцатилетний Киёаки.

Киёаки в наступающем году исполнится девятнадцать лет. Служба Иинумы должна закончиться тогда, когда Киёаки успешно закончит школу Гакусюин и вскоре после этого осенью в двадцать один год поступит на юридический факультет Токийского Императорского университета, но Иинуму поражало еще и то, что маркиз абсолютно безразличен к школьным занятиям сына.

Очень сомнительно, что с такими знаниями, как сейчас, он попадет на юридический факультет лучшего в Японии университета. Придется идти в университет Киото или Императорский университет в Тохоку, куда после школы Гакусюин юношей из титулованных семей принимали без экзаменов.

Уровень знаний Киёаки был весьма посредственным. Он не вкладывал душу в учение, не увлекался спортом. Достижни Киёаки выдающихся успехов, он, Иинума, тоже бы прославился, им бы восхищались на родине, но Иинума, жаждавший этого прежде, теперь забыл о своих грандиозных планах. Ведь в любом случае наперед известно, что в будущем Киёаки станет по меньшей мере членом палаты пэров в парламенте.

Иинуму сердило, что вот Киёаки близко сошелся с Хондой, одним из первых учеников в школе, а Хонда, несмотря на такую тесную дружбу, не влияет на друга положительно, скорее, наоборот, восхищается им, дружит с ним, признавая его превосходство.

Конечно, сюда примешивалась ревность. Хонда был в таком положении, что в качестве школьного друга, как бы там ни было, мог принимать Киёаки таким, каков он есть, для Иинумы же поведение Киёаки было наглядным свидетельством того, что как воспитатель он полностью провалился.

Красота Киёаки, его утонченность, мягкая нерешительность характера, скрытность, бездеятельность, его мечтательная натура, дивное телосложение, его грациозная молодость, нежная кожа, неправдоподобно длинные ресницы – все постоянно и как бы непроизвольно перечеркивало замыслы Иинумы. Сам факт существования молодого хозяина он воспринимал как насмешку.

Такое переживание неудачи, боль поражения, если они продолжаются слишком долго, подводят человека к чувству, напоминающему своего рода поклонение. Иинума буквально закипал от гнева, когда слышал критику в адрес Киёаки. И непонятным даже для себя каким-то внутренним чутьем распознал его невыразимое одиночество.

И Киёаки всеми способами старался отдалиться от Иинумы именно потому, что чувствовал: Иинума в душе часто бывает им недоволен.

Среди большого числа слуг единственным, у кого в глазах застыло грубое откровенное недовольство, был Иинума. Кто-то из гостей, увидав эти глаза, даже спросил:

– Этот молодой секретарь, он что, социалист?!

В ответ жена маркиза громко рассмеялась. Она хорошо знала его происхождение, его обычные речи и поступки, обязательное ежедневное посещение храма в усадьбе.

Этот молодой человек привык каждое утро рано посещать храм и в душе обращаться к великому предку семьи Мацугаэ, который не имел к нему никакого отношения.

Раньше это были откровенно гневные жалобы, но с годами гнев перерос в громадное, безграничное, всепоглощающее недовольство, и в его обращениях это чувство поистине заслоняло все.

Вот он встает утром раньше всех. Умывается, полощет рот, надевает темно-синее кимоно в горошек, штаны хакама из грубой прочной ткани и направляется к храму.

Он проходит мимо комнаты служанок, окна которой смотрят во двор, идет по тропинке между деревьями хиноки. Ледяные иголки инея пронзают землю, и когда нога в гэта ступает на них, то остается чистая, мерцающая инеем полоса. Через просветы в сухих зеленых и старых побуревших листьях прозрачным шелком спадают лучи зимнего солнца, и в белом облачке вырывающегося изо рта дыхания Иинума чувствует свою очистившуюся душу. С бледно-голубого утреннего неба безостановочно льется щебет птиц. В холодном воздухе, покалывающем обнаженную грудь, есть что-то, что заставляет взмывать сердце, и он от души жалеет: «И почему молодой хозяин не пошел со мной?!»

То, что он ни разу не смог передать Киёаки это свежее чисто мужское чувство, наполовину было упущением Иинума, и то, что у него недоставало сил потащить Киёаки на эту утреннюю прогулку, тоже было наполовину его виной. За шесть лет он не привил Киёаки ни одной «хорошей привычки».

На вершине пологого холма за рощей, в конце засыпанной мелким гравием дороги, пересекавшей широкий газон с пожухлой травой, в стройном порядке открывались взору залитые утренним солнцем храмовая молельня, каменные фонари, каменные храмовые ворота, пара пушечных ядер слева и справа у подножия лестницы. В лучах раннего солнца здесь все дышало чистотой, ароматом, совсем не похожим на аромат роскоши, окружавшей жилые дома в усадьбе. Ощущение было таким, будто погружаешься в горячую воду, налитую в новую кадку из свежей древесины. Иинуме с детства внушили, что красивая вещь не может быть плохой, – здесь же, в усадьбе, так бывало только рядом с умершими.

Когда он поднялся по каменной лестнице и встал перед храмом, то увидел птичку, чье красно-черное оперение не гармонировало с блеском листьев священного дерева. С щебетом, подобным стуку деревянных палочек, она кружилась прямо под носом и напоминала мухоловку.

«Господин, – как обычно, обратился про себя Иинума, соединив ладони. – Почему настали нынешние времена?! Почему уходят сила, молодость, честолюбие, наивность и люди становятся жалкими?! Ты поражал мечом, на тебя бросались с мечом, ты прошел опасность, создал новую Японию, занял место, подобающее герою-создателю, получил все права и после этого окончил жизнь. Как вернуть былые дни?! Доколе будет длиться это жалкое, изнеженное время?»

Или это только начало? Мужчины думают лишь о деньгах и женщинах. Они забыли истинный путь мужчины. Время богов, время великих незапятнанных героев ушло со смертью императора Мэйдзи. Может, оно и не придет снова – то время, которому пригодятся все без остатка духовные силы молодости?

Повсюду открывают магазины, которые они называют „кафе“, и зазывают туда посетителей, в трамвае школьницы и школьники ведут себя непристойно, так что пришлось пустить специальные вагоны для женщин; люди растеряли тот пыл, который целиком охватывает тело. У них только, словно кончики листьев, чуть шевелятся нервы, едва движутся тонкие, как у женщин, пальцы.

Почему? Почему мир стал таким? Чистота покрывается грязью. Ваш внук, которому я служу, – порождение этого изнеженного времени, и что-то изменить не в моих силах. Я же пусть ценой жизни, но обязан выполнить свой долг?! Господин, я молю вас, помогите мне в этом!»

Иинума, забыв о холоде, весь растворился в этом крике души, но из выреза синего кимоно глядела поросшая волосами грудь мужчины, и это его очень огорчало: ему не дано тело под стать чистой душе. А с другой стороны, Киёаки, обладателю прекрасного, чистого, белого тела, недостает открытого, отважного сердца мужчины.

Бывало, во время страстной молитвы он чувствовал, что по мере того, как тело наливается жаром, вдруг что-то вспыхивает и там, в паху, в широких, раздуваемых ветром штанах хакама. Тогда он хватал из-под пола храма метлу и как безумный начинал мести ею вокруг.

10

Вскоре после Нового года Иинуму позвали в комнату Киёаки: там оказалась старуха Тадэсина из дома Сатоко.

Сатоко уже была с новогодним визитом; сегодня Тадэсина пришла одна поздравить с Новым годом, принесла свежие пшеничные отруби из Киото и потом тайком поднялась в комнату Киёаки. Иинума знал Тадэсину заочно, официально его представили только сейчас. Он вообще не понимал, зачем это их познакомили.

Новый год в семействе Мацугаэ праздновался пышно: посланцы из Кагосимы, несколько десятков человек, после посещения резиденции своего бывшего сюзерена в начале года приезжали в усадьбу Мацугаэ. Она славилась тем, что в большом зале с черным решетчатым потолком гостям подавали традиционные новогодние блюда из Хосигаоки и угощали редкими для деревенских жителей лакомствами – мороженым и дыней, но в этом году в связи с трауром по случаю кончины императора в столицу прибыли только три человека. Среди гостей всегда бывал и встречавшийся еще с отцом маркиза директор школы, где когда-то учился Иинума, и обычно в его присутствии Иинума, получая из рук маркиза чашечку с саке, удостоивался похвалы: «Иинума хорошо делает свое дело». В этом году все было так же, и слова директора, благодарившего маркиза, были такими же, как обычно, словно раз навсегда отштампованными, но Иинуме нынешняя церемония, может быть из-за малолюдности, показалась какой-то пустой, бездушной и ничего не значащей.

Иинума, конечно, не присутствовал, когда супругу маркиза посещали приезжавшие с визитами вежливости дамы. И уж совсем необычным было для него то, что женщина, пусть даже и преклонного возраста, оказалась в комнате молодого хозяина.

Тадэсина, одетая в нарядное кимоно и короткую накидку хаори с гербами, с достоинством восседала на стуле, она уже слегка опьянела от предложенного Киёаки виски: прическа из седых волос была в порядке, но на густо набеленных, как это принято в Киото, щеках, как пламенеющие под снегом цветы сливы, проступал хмельной румянец.

Разговор шел о принце Сайондзи; Тадэсина отвела глаза от Иинумы и сразу же вернулась к рассказу:

– Говорят, что господин Сайондзи с пяти лет выпивал и покуривал. В семьях самураев детей воспитывают строго, а у придворных, вам это, молодой господин, известно, родители не делают детям никаких замечаний. Ребенок, как родился, уже получает ранг придворного, может бывать во дворце, поэтому родители знают, что их дитя принадлежит прежде всего императору, и снисходительны к детям. Но в этих домах очень строго с разговорами об императоре: как и раньше в семьях князей даймё, здесь между собой никогда не обсуждают никаких слухов. Вот и наша барышня всем сердцем предана своему императору. И не станет больше интересоваться иностранцем, – съязвила Тадэсина, намекая на гостеприимство, оказанное сиаемским принцам, но поспешно добавила: – Хотя благодаря вам я попала наконец в театр. Чувствую, что прямо помолодела.

Киёаки позволял Тадэсине болтать. Он специально позвал старушку к себе в комнату, потому что хотел рассеять сомнения, уже давно точившие душу: предложив ей выпить, он сразу стал спрашивать, сожгли ли, не распечатывая, то письмо, которое он послал Сатоко. Ответ Тадэсины был на удивление точен:

– А-а, это то письмо? Барышня сказала о нем сразу после вашего телефонного звонка, письмо пришло на следующий день, и я сразу, не вскрывая, бросила его в печку. Не извольте беспокоиться.

Киёаки охватило такое чувство, словно, продираясь сквозь чашу, он вдруг вырвался на широкий простор, и он сразу же принялся строить радужные планы. Если Сатоко не прочла

письмо, значит все будет по-прежнему, но он ощущал, что сам как-то по-новому смотрит на их отношения.

И именно Сатоко сделала к этому первый шаг. Каждый год она приходила с новогодним визитом в тот день, когда в доме маркиза собирались дети родственников. Маркиз, напуская на себя важный вид перед отцами этих разного возраста – от двух-трех до двадцати лет – детей, единственный день в году говорил с детьми по-родственному, давал им советы. Тогда Сатоко с детьми, которые хотели посмотреть лошадей, отправилась в сопровождении Киёаки в конюшню.

В традиционно украшенной к Новому году конюшне четыре лошади демонстрировали свою силу: резко вскидывали погруженные в кормушки головы, отступая, били копытами в деревянную обшивку стены, их лоснящиеся крупы как бы являли трепетное ожидание, связанное с Новым годом. Дети веселились, узнавая у конюхов клички лошадей, бросали им, поглядывая на желтоватые зубы, крошившееся печенье, которое они принесли с собой. Под злобным взглядом налитых кровью глаз буйствующих животных, которые никак не могли успокоиться, довольные дети ощущали себя взрослыми.

Сатоко, боясь, что на нее попадет слюна, нитями свисающая у лошадей изо рта, стояла поодаль в тени вечнозеленого падуба, и Киёаки, поручив детей конюхам, пошел к ней. В глазах Сатоко было еще заметно действие выпитого по традиции новогоднего саке.

Может быть, ее слова, плохо различимые в радостном гомоне детей, были сказаны под влиянием выпитого. Сатоко, окинув подходившего Киёаки откровенным взглядом, произнесла:

– В театре было очень приятно. Спасибо, что меня представили словно невесту. Принцы, наверное, удивлялись, что это за девушка, а я так чуть не умерла от радости. У вас есть способность делать меня счастливой, но вы редко ею пользуетесь. Какой счастливый Новый год. Наверняка должно случиться что-то хорошее.

Киёаки не знал, что отвечать. Наконец охрипшим голосом произнес:

– Почему ты так говоришь?!

– Когда человек счастлив, слова вылетают бездумно, словно голуби из цветочных шаров, когда празднуют спуск корабля на воду. Ты, Киё, теперь ведь это понимаешь.

И опять Сатоко, выразив пылкие чувства, таки вставила слова, которых Киёаки терпеть не мог: «Ты теперь ведь это понимаешь». Какая самонадеянность! Какая самоуверенность старшей по возрасту... Несколько дней назад он выслушал эту речь, сегодня от Тадэсины получил ясный ответ, поэтому в душе у Киёаки окончательно просветлело: все обещало в новом году счастье, забылся непривычно мрачный сон, и мысли обратились к светлым дневным грезам и желаниям.

Захотелось почувствовать себя широкой натурой, что было ему совсем не свойственно, уничтожить страдания и мрак, словно исходившие от него, сделать всех такими же счастливыми, как он сам. Изливать на других благодеяния и приязнь – занятие, которое, как и обращение с хрупким сосудом, требует умения, но Киёаки в такие моменты действовал импульсивно, не так, как все.

Однако Иинуму он позвал в комнату не только из добрых намерений, из желания посмотреть, как тот утратит мрачность и озарится светом его лицо.

Легкое опьянение спасло Киёаки от импульсивного поступка. Хотя он держался соответственно той почтительности, манерам и благовоспитанности, с которыми к нему относилась старушка Тадэсина, сейчас он походил на старого хозяина публичного дома, на чьем лице сдерживаемые желания, коим он явно потворствует, прорезали морщины.

– По учебе Иинума мне, в общем-то, все разъясняет, – специально повернувшись к Тадэсине, сказал Киёаки. – Но похоже, многому он меня не научил, да и многого сам не знает. В этом плане нужно, чтобы теперь вы, Тадэсина, стали для Иинумы учителем.

– Что вы такое говорите, молодой господин, – учтиво откликнулась Тадэсина. – Он уже студент, а такая неученая, как я...

– Так что о науках вам нечего сказать?!

– Нехорошо смеяться над пожилыми...

Иинуму не приглашали к разговору, его игнорировали. Ему не предложили сесть, он так и остался стоять. Глаза его смотрели на пруд. Было пасмурно, у острова собирались стаями утки, зелень росших на вершине сосен стыла на холоде, покрытый увядшей травой остров будто набросил соломенный плащ.

Когда Киёаки заговорил с ним, Иинума присел на маленький стул. Но Киёаки вряд ли это заметил. Скорее всего, он вел себя так, желая продемонстрировать Тадэсине свою власть. Эти новые для Киёаки движения души Иинума всячески приветствовал.

– Слушай, Иинума, тут Тадэсина болтала со служанками и случайно услышала...

– Ах, молодой господин, это... – Тадэсина преувеличенно замахала руками, останавливая Киёаки, но не успела.

– Говорят, что ты каждое утро ходишь в храм не для молитвы, а совсем с другой целью.

– С другой целью? – У Иинумы застыло лицо, дрогнули кулаки, лежащие на коленях.

– Молодой господин, перестаньте...

Тадэсина откинулась на спинку стула, словно фарфоровая кукла. Всем своим видом она являла полную растерянность, но пронзительные глаза под тяжелыми складками век остро блеснули, и по подпираемым вставной челюстью губам разлилось никак не идущее им выражение удовольствия.

– Дорога в храм идет позади Главного дома, поэтому ты, естественно, проходишь мимо окон служанок. Каждое утро ты через окно переглядывался с Минэ, а позавчера наконец бросил ей любовную записку.

Иинума встал, не дослушав Киёаки. На побледневшем лице отразилась борьба чувств, которые он стремился подавить, мышцы лица словно заскрежетали.

Киёаки с удовольствием наблюдал, как обычно хмурое лицо Иинумы словно взорвалось неяркой вспышкой. Прекрасно зная, что тот страдает, Киёаки решил для себя, что это некрасивое лицо выражает счастье.

– Я сегодня же уйду. – С этими словами Иинума поспешно встал, собираясь покинуть комнату.

Киёаки поразила стремительность движений Тадэсины, которая вскочила, чтобы его удержать. У степенной женщины на мгновение мелькнули повадки хищника.

– Вам нельзя уходить. В каком я окажусь положении, если вы вдруг уйдете. Ведь если окажется, что я наябедничала и вынудила уволиться слугу из чужого дома, то и мне придется после сорока лет службы покинуть дом Аякуры. Пожалейте меня, надо спокойно подумать о последствиях. Вы меня понимаете?! Молодым трудно, очень уж вы откровенны. В этом ваше достоинство, ничего не скажешь.

Тадэсина, ухватив Иинуму за рукав, доходчиво втолковывала ему это чуть брюзжащим стариковским тоном.

Подобное Тадэсина проделывала в своей жизни десятки раз и поднатрела в этом, в такие моменты она хорошо знала, что представляется самым нужным человеком в мире. Ее уверенность человека, невозмутимо поддерживающего изнутри порядок в этом мире, родилась из прекрасного знания источников всякого рода странных происшествий: вдруг во время важной церемонии распоролось прочное кимоно; пропал набросок поздравления, которого никак не могли забыть...

Для нее обычным было состояние не допустить, чтобы что-то случилось, и она отводила себе несоизмеримо важную роль в делах, требующих ловкого разрешения.

Для этой спокойной женщины в мире не существовало абсолютно устойчивых состояний. Ведь даже голубое, без облачка, небо неожиданно разрывает прочерк ласточкиного крыла.

В сущности, деятельность Тадэсины, все улаживавшей быстро и надежно, не вызывала возражений.

Иинума был из тех, кто задним умом крепок и у кого минутное колебание, бывает, меняет всю дальнейшую жизнь. В такие моменты словно смотришь на острый край листа белой бумаги: если человека надолго охватывает нерешительность, то лицевая сторона для него оказывается изнанкой и он уже не может воспринимать ее как лицевую.

Иинума, удерживаемый Тадэсиной на пороге рабочей комнаты Киёаки, испытал такое безотчетное минутное колебание. И все кончилось. В его еще юном сердце замелькали, словно разрезающие воду плавники рыб, сомнения: то ли Минэ со смехом показывала всем его любовное послание, то ли Минэ сама страдает оттого, что его обнаружили другие.

Киёаки, глядя на Иинуму, вернувшегося на маленький стул, впервые ощутил, что одержанная победа слишком незначительна, чтобы гордиться. Он отчаялся передать Иинуме свое расположение. Пусть все идет по его, Киёаки, желанию, с его ощущением счастья. Сейчас он по-взрослому чувствовал в себе свободу поступать действительно утонченно.

– Я сказал об этом не для того, чтобы уязвить тебя, не для того, чтобы посмеяться. Ты не понял: мы с Тадэсиной стараемся для тебя же. Я, конечно, ничего не скажу отцу. Все силы приложу, чтоб это не дошло до его ушей.

А дальше Тадэсина все разузнает. Да, Тадэсина? Минэ самая лучшая среди наших служанок, только-то и проблема. Но в этом положились на меня!

Иинума, как застигнутый вор, лишь сверкал глазами и, не пропуская ни слова из сказанного Киёаки, упорно молчал. Если покопаться, тут было что-то не так. Сами же по себе слова западали ему в душу.

Лицо Киёаки – более юного, чем он, – говорящего необычно благожелательно, еще никогда не выглядело так по-хозяйски. Это было как раз то, чего когда-то желал Иинума, но он и подумать не мог, что его надежды осуществляются так неожиданно и с такими печальными последствиями. Иинума сомневался в том, что подчиниться Киёаки и уступить своим собственным страстям – одно и то же. Но после минутного колебания он вдруг ощутил, как выплескивается наружу, сливаясь с преданностью, долго скрываемая радость. В этом точно была какая-то ловушка, какое-то жульничество. Однако где-то далеко за нестерпимым стыдом и унижением для него надежно распахнулась маленькая створка из чистого золота.

Тадэсина поддакивала медоточивым тоном:

– Все именно так, как вы говорите, молодой господин. Хоть вы и молоды, но какие у вас правильные мысли.

И Иинума теперь без удивления внимал ее мнению, которое в корне отличалось от его собственного.

– Но за это, – сказал Киёаки, – теперь ты, Иинума, безропотно вместе с Тадэсиной должен помогать мне. А я спасу твою любовь. Давайте действовать дружно.

11

ДНЕВНИК СНОВ КИЁАКИ

«Прошло совсем немного времени, как я встретился с сиамскими принцами, но сейчас я видел во сне Сиам. Это сон о том, как я был в Сиаме...

Я сижу, не в силах пошевелиться, посреди комнаты на стуле великолепной работы. В этом сне у меня все время болела голова. Это, наверное, оттого, что на мне высокая корона с зубцами, усыпанная драгоценностями. На перекрещивающихся балках потолка плотно уселись павлины, время от времени они роняют на мою корону белый помет.

Снаружи – обжигающее солнце. В его лучах замер поросший травой заброшенный сад. Из звуков слышны только чуть заметный шелест мушиных крылышек, скрипучие резкие голоса павлинов, изредка поворачивающих шеи, и шум расправляемых ими перьев. Сад обнесен высокой каменной стеной, но в ней есть широкие проемы, и сквозь них видны стволы пальм и недвижные, спящие груды белых облаков.

Опустив глаза, я вижу на своем пальце перстень с изумрудом. Похоже, что ко мне как-то попал перстень Тьяо Пи – рисунок абсолютно тот же: камень окружают фантастические золотые лики двух демонов-стражей. Пока я всматривался, как в отразившем луч солнца темно-зеленом изумруде мерцают, словно иней, то ли белые крапинки, то ли трещинки, в нем появилось прелестное женское личико.

Я подумал, что это отражается лицо стоящей у меня за спиной женщины, и обернулся, но никого не было. Женское личико в изумруде чуть колыхалось, и я заметил, как оно посылает мне улыбку.

Руке стало щекотно от ползущей по ней мухи, я нетерпеливо потряс ею, а потом еще раз заглянул в камень перстня, но женщина уже исчезла. Я проснулся в невыразимой печали – горько оттого, что не смог узнать, кто она...»

В дневнике снов Киёаки никогда не снабжал записи своими собственными комментариями. Радостные сны всего лишь радостные сны, несчастливые – всего лишь несчастливые, он старался детально восстановить их в памяти и потом записывал.

В таком образе мыслей, когда сны, независимо от их содержания, высоко ценились сами по себе, гнездилась тревога по поводу собственного существования. По сравнению с неопределенностью чувств Киёаки в момент пробуждения сны его были более достоверны; у него не было доказательств реальности чувств, а сны по меньшей мере были его реальностью. У чувств не было формы, а в снах присутствовали и форма, и цвет.

Но чувства, с которыми Киёаки вел дневник снов, не всегда таили подсознательное недовольство реальностью. Нынешняя реальность начинала приобретать осознанные формы.

Покоренный Иинума стал преданным другом Киёаки; часто, сносаясь с Тадэсиной, он старался устроить свидание Киёаки с Сатоко. Киёаки, полагая, что ему вполне достаточно подобной преданности и, по-видимому, не нужен друг, как-то отдалился от Хонды. Тот был расстроен, но посчитал, что чутко уловить, когда ты не нужен, – важная составляющая дружбы, и время, которое он стал бы в праздности проводить с Киёаки, без остатка отвел занятиям. Он запоем читал на английском, французском, немецком языках труды по праву, литературные и философские произведения и сам без особого влияния Итимуры Кандзо заинтересовался Карлейлем.

Как-то снежным утром, когда Киёаки собирался в школу, к нему в комнату осторожно вошел Иинума. Это вдруг возникшее раболепие Иинумы, его смиренное лицо и поза освободили Киёаки от гнета, который он прежде ощущал в его присутствии.

Иинума доложил, что был телефонный звонок от Тадэсины. Сатоко очарована снегом, который идет сегодня с утра, и хочет поехать с Киёаки на рикше полюбоваться им, поэтому, может быть, Киёаки пропустит школу и заедет за ней.

Такой удивительной, необычной просьбы Киёаки не получал ни от кого с момента рождения. Он уже приготовился выходить, держал в руке портфель и теперь стоял, растерянно глядя на Иинуму.

– Что ты говоришь? Это действительно Сатоко так хочет?

– Да. Тадэсина сказала, значит так оно и есть.

Удивительное дело, в решительности, с какой Иинума это произнес, опять появилась властность, глаза его говорили: он осудит Киёаки, если тот откажется.

Киёаки оглянулся на заснеженный сад у себя за спиной. В поведении Сатоко, не оставляющем ему выбора, было хладнокровие, которое не ранило его гордость, а скорее наоборот: быстро, умелым движением скальпеля вскрывало на ней нарывы.

Это рождало какое-то новое чувство наслаждения: вот так в один момент перестают замечать твои желания. С мыслью «я уже стараюсь угодить Сатоко» Киёаки проследил взглядом и запечатлел в душе падающий снег, который еще не покрыл, но уже заволакивал ослепительной белизной остров и Кленовую гору.

– Значит, так. Позвони в школу и передай, что я заболел и сегодня не приду. Только так, чтобы папа с мамой не узнали. Потом пойди на стоянку рикш, найми надежных людей и скажи, чтобы приготовили двухместную коляску с двумя рикшами. Я до стоянки дойду пешком.

– По такому снегу?

Иинума увидел, как щеки молодого хозяина вдруг вспыхнули и залились нежным румянцем. Это было чудесное зрелище – разливающийся алый цвет на фоне снега, застилающего за его спиной окно.

Иинума был поражен, что сам с удовлетворением наблюдает, как, по существу, им воспитанный юноша, не усвоивший никаких героических черт характера, с горящими глазами движется к возникшей цели. Может быть, в праздности – в том, что он сам недавно презирал, и к чему сейчас стремился Киёаки, – кроется пока еще не обнаруженный великий смысл.

12

Дом Аякуры в Адзабу был типичной самурайской усадьбой с длинными караульными помещениями, смотревшими на улицу зарешеченными окнами слева и справа от ворот, но в доме было мало слуг, и здесь, похоже, никто не жил. Края черепицы на крыше занесло снегом, но выглядело это так, словно именно они заботливо удерживают снег от падения.

У маленькой калитки виднелась черная фигурка под зонтом, вроде бы Тадэсина, но, когда рикши приблизились, она поспешно исчезла, и какое-то время, пока Киёаки, остановив коляску, ждал у ворот, в проеме калитки был только падающий снег.

Немного спустя Сатоко под большим складным зонтом, который несла над ней Тадэсина, придерживая на груди края короткого, пурпурного цвета верхнего кимоно, пригнувшись, прошла через калитку: вид ее вызвал у Киёаки ощущение чрезмерной, давящей пышности, словно из-за низкой ограды вытащили на снег что-то большое, пурпурное.

Тадэсина и рикша помогали Сатоко сесть в коляску, она уже наполовину поднялась, и Киёаки, откинувшему полог, чтобы впустить ее, показалось: Сатоко с этими снежинками на волосах и сзади на шее, приблизившая, вместе с залетающим снегом, улыбку белоснежного сияющего лица, внезапно возникла перед ним посреди какого-то монотонного сна. Это ощущение усиливал и крен коляски, потерявшей устойчивость под тяжестью ее тела.

Оказавшийся рядом с Киёаки ворох пурпура распространял благоухание, и ему почудилось, что снежинки, кружащиеся у его похолодевших щек, вдруг стали источать аромат. Щека Сатоко, когда она садилась, почти коснулась щеки Киёаки, и он увидел знакомую ему точеную линию шеи в тот момент, когда она поспешно выпрямилась. Эта неподвижность лебединой шеи...

– Что случилось? Что?.. Вот так вдруг... – испуганно спросил Киёаки.

– В Киото родственник тяжело заболел, и папа с мамой вечером ночным поездом уехали. Я осталась одна, и мне очень захотелось встретиться с тобой, я вчера весь вечер об этом думала, а тут утром снег. Мне так захотелось вдвоем с тобой побыть под этим снегом, я ведь первый раз в жизни о чем-то тебя попросила, прости, пожалуйста, – оживленно проговорила Сатоко необычным для нее детским тоном.

Коляска уже двигалась под крики рикш: один тянул, другой подталкивал сзади. Только снежный узор желто просвечивал сквозь окошечко в пологе, внутри колыхался слабый полумрак.

Колени Киёаки и Сатоко покрывал взятый Киёаки из дому темно-зеленый клетчатый шотландский плед. Исключая забытые детские воспоминания, они впервые сидели так близко друг к другу, но глаза Киёаки завороченно следили за тем, как щель в покрытом серыми бликами пологе, то расширяясь, то сужаясь, выпускает снежинки и они, падая на зеленый плед, собираются в капельки; его околдовывало громкое шуршание снега по пологу, словно он слушал эти звуки под банановым деревом.

Рикше, спросившему, куда везти, он ответил, зная, что Сатоко чувствует то же самое: «Все равно. Вези где проедешь», – и когда тот поднял оглобли, Киёаки застыл, откинувшись назад: они с Сатоко даже не взяли за руки.

Но невольно соприкасавшиеся под пледом колени, будто легкое пламя под снегом, посылали тепло. В голове у Киёаки опять возник назойливый вопрос: «А Сатоко действительно не прочла то письмо? Тадэсина говорила так уверенно, вроде бы сомнений быть не должно. Тогда, может быть, Сатоко дразнит меня, как невинного мальчика? Как мне справиться с таким унижением? Хотя я молил Бога, чтобы письмо не попало Сатоко на глаза, теперь мне кажется, лучше бы она его прочла. Ведь тогда это сумасшедшее утреннее свидание под снегом означало бы явное заигрывание женщины с опытным мужчиной. Если так, то у меня тоже есть сред-

ство... Но все равно мне остается только обманывать ее, чтобы она не узнала правды: я еще не знал женщины».

От качки в маленьком черном прямоугольнике мрака мысли его бросало туда-сюда, он старался не смотреть на Сатоко, но больше, кроме снега, видного сквозь желтоватый целлулоид маленького окошка, смотреть было не на что. В конце концов он решился и сунул руку под плед. Там, в теплом гнездышке, ее уже сторожила рука Сатоко.

Залетевшая снежинка легла Киёаки на бровь. Сатоко, заметив это, собралась было что-то сказать, и невольно повернувшийся к ней лицом Киёаки ощутил холодок на веках. Сатоко вдруг закрыла глаза. Киёаки прямо перед собой видел это лицо с закрытыми глазами. Слабо различимы были только накрашенные яркой помадой губы, лицо с неясными контурами колыхалось, так колыхнется задетый ногой цветок.

У Киёаки неистово застучало сердце. Он почувствовал, как сжимает шею высокий тесный воротник школьной формы. Не было ничего более загадочного, чем это спокойное белое лицо с сомкнутыми веками.

Под пледом пальцы Сатоко чуть сильнее сжали его руку. Восприняв это как намек, Киёаки опять ощутил удар по самолюбию, но, увлекаемый этой легкой силой, естественным движением прижался губами к губам Сатоко.

В следующий миг колебание коляски чуть было не разъединило встретившиеся губы. Поэтому его губы нашли свое положение: крепко прижатые к губам Сатоко, они настойчиво сопротивлялись тряске тела. И Киёаки чувствовал, как вокруг их слившихся губ постепенно раскрывается огромный, благоухающий, невидимый веер.

Это был миг самозабвения, но это не значит, что Киёаки совершенно забыл о своей красоте. Его красота и красота Сатоко, равно достойные друг друга, в этот момент были для него одним целым, словно перетекали одна в другую, сливаясь подобно ртути. Он осознал, что отрицает безобразное, насмехается над уродливым, раздражается против всего, что некрасиво, и его слепая вера в собственное одиночество – это болезнь не тела, а исключительно души.

Тревога в душе Киёаки бесследно исчезла, ее место прочно заняло ощущение счастья, и тогда поцелуй стал настойчивей, решительней. Губы Сатоко в ответ становились все более податливыми. Испугавшись, что он весь растворится в этих теплых, медовых глубинах рта, Киёаки почувствовал желание коснуться пальцами чего-то реального. Вытащив из-под пледа руки, он обнял Сатоко за плечи, поддержал ее подбородок. Прикосновение пальцев к изящному, хрупкому подбородку ясно убедило его в реальности присутствующего рядом с ним существа во плоти, и это еще теснее слило их губы.

У Сатоко из глаз покатались слезинки. Он понял это, ощутив их на своей щеке. Киёаки наполнило чувство гордости. Но теперь в этой гордости не было былого тщеславного довольства своими благодеяниями, и у Сатоко совсем пропало критическое, покровительственное отношение старшей по возрасту. Киёаки волновали нежные мочки ее ушей, которые он гладил пальцами, мягкость груди, которой он впервые коснулся.

«Вот они, ласки», – постигал он. Туманные, стремящиеся улететь ощущения соединились с имеющими форму предметами. И теперь его занимал только собственный восторг. Это было высшее самозабвение, на какое он был способен.

Поцелуй прервался. Это походило на пробуждение против воли: ты еще во власти сна, но не можешь противиться утреннему солнцу, проникающему сквозь тонкую кожу век, и цепляешься за слабые остатки сна. Именно в такие минуты постигаешь его подлинную прелесть.

Губы разомкнулись, и наступила гнетущая тишина, словно вдруг замолчали звонко поющие птицы. Они сидели неподвижно, не в силах взглянуть друг на друга. В этом полном молчании их выручило покачивание коляски. Ощущение, будто они чем-то заняты.

Киёаки опустил глаза. Словно белая мышка, боязливо выглядывающая из зеленой травы, внизу из-под пледа робко смотрел кончик женского пальчика в белом носке. Его чуть припоро-

шило снегом. У Киёаки жарко пылали щеки, совсем по-детски он дотронулся до щеки Сатоко и с удовлетворением почувствовал такой же жар. Там стояло лето.

– Я открою полог.

Сатоко кивнула.

Киёаки широко развел руки и раздвинул перед собой полог. Перед глазами беззвучно обрушился, словно шаткая белая перегородка, заснеженный прямоугольник, и рикша, приняв это за знак, остановился.

– Не останавливайся, – крикнул Киёаки.

Рикша, подстегнутый этим звонким молодым криком, снова выпрямился.

– Давай быстрее!

Коляска тронулась под возгласы рикш.

– Люди увидят, – сказала Сатоко, пряча влажные глаза в глубине коляски.

– Ну и пусть.

Киёаки подивился решительности, прозвучавшей в собственном голосе. Ему стало понятно. Он хотел бросить вызов всему миру.

Небо над головой казалось пучиной вихрящихся снежинок. На лица сразу посыпался снег, он залетал даже в раскрытый рот. Как хорошо было бы вот так зарыться в снег.

– Снег сейчас прямо сюда... – словно во сне, произнесла Сатоко.

Кажется, она собиралась сказать, что снежинка капелькой скатилась от горла к груди. Но снег падал так строго, в этом была такая парадная торжественность, что Киёаки почувствовал, как щеки остыли, а с ними постепенно успокоилось и сердце.

Коляска как раз достигла вершины холма в жилом квартале Касуми, где с открытого места над обрывом был как на ладони виден казарменный плац расположенных в Адзабу воинских частей.

На белом плацу сейчас не было солдат, но Киёаки внезапно предстало на нем видение той «Заупокойной службы у храма Токурудзи» с фотографии времен японско-русской войны.

Несколько тысяч солдат стоят, опустив головы, окружив белый могильный знак и алтарь с развевающимся белым платом. Только здесь плечи этих солдат занесены снегом, в белое окрашены козырьки военных фуражек. «Так ведь это все мертвые», – увидев призраков, мгновенно сообразил Киёаки. Столпившиеся тысячи солдат собрались, не просто чтобы почтить память боевых товарищей, они склонили головы в память о себе...

Видение неожиданно исчезло; теперь, сменяя друг друга, в снегу мелькали иные пейзажи: снег, угрожающе нависший на новых, цвета свежей соломы веревках, натянутых шатром над большой сосной за высокой оградой, окна, тесно лепящиеся на втором этаже, слабо пропускающие в заснеженный день свет через матовое стекло.

– Закрой, – сказала Сатоко.

Он опустил полог, и сразу вернулся знакомый полумрак, но прежнее опьянение не возвращалось.

«Как-то она восприняла мой поцелуй?» – опять начал терзаться сомнениями Киёаки.

«Не показался ли он ей мечтательным, самодовольным, а может, ребячливым и слишком пристойным? Я в тот момент действительно думал только о собственных ощущениях».

– Давай возвращаться. – Слова Сатоко прозвучали слишком спокойно.

«Опять собирается сделать по-своему», – подумал Киёаки, но момент, чтобы возразить, был упущен.

Скажи сейчас «нет», и кости в игре перейдут к тебе. Они были еще не у него – эти непривычно тяжелые кубики из слоновьего бивня, прикосновение к которым леденит кончики пальцев.

13

Киёаки, вернувшись домой, сказал, что ушел из школы раньше, потому что его знобит; мать пришла к нему в комнату, заставила измерить температуру, поднялся шум, и в этот момент Иинума доложил, что звонит Хонда. Киёаки засуетился, не давая матери подойти вместо него к телефону. В результате рвущегося во что бы то ни стало к телефону Киёаки все-таки пустили поговорить, предварительно укутав в шерстяное кашемировое одеяло.

Хонда звонил из учебной части. Голос Киёаки звучал раздраженно.

– Тут такое дело, вроде я сегодня, как обычно, ушел в школу, но раньше вернулся. Дома не знают, что я с утра не был в школе. Простуда? – Киёаки говорил, понизив голос и наблюдая за стеклянной дверью комнаты, где стоял телефон. – Да ничего особенного. Завтра я уже смогу прийти, тогда все расскажу... Ну, я всего один день пропустил, чего было волноваться и звонить? Это уж слишком.

Хонда, положив трубку, буквально разъярился: вот и получил за свои добрые намерения.

Он прежде никогда не испытывал такого гнева по отношению к Киёаки. Явно прозвучавшее в голосе Киёаки сожаление о том, что он вынужден доверить другу тайну, ранило Хонду больше, чем холодный недовольный тон, и больше, чем грубая реакция на звонок. Он не помнил, чтобы до сих пор хоть раз вынуждал Киёаки доверить ему тайну.

Когда Хонда немного успокоился, он укорил сам себя: «Я тоже хорош: бросаюсь звонить, чтобы узнать, в чем дело, когда он пропустил всего один день». Однако эта поспешная забота была вызвана не просто дружбой. Во время перерыва Хонда бросился через заснеженный школьный двор в учебную часть, чтобы позвонить, охваченный непонятно откуда взявшимися дурными предчувствиями.

С утра стол Киёаки был пуст. Это напугало Хонду, словно произошло то, чего он уже давно боялся. Стол Киёаки стоял у окна, и, когда снежный блеск за окном отражался от недавно заново покрытой лаком старой, исцарапанной поверхности, стол выглядел совсем как гроб, накрытый белым...

И дома у Хонды ныло сердце. Позвонил Иинума и передал, что Киёаки хочет извиниться. Может быть, Хонда придет? За ним вечером приедут рикшу. Значительный тон, каким говорил Иинума, еще больше расстроил Хонду. Он коротко отказался: лучше они спокойно поговорят, когда Киёаки сможет прийти в школу.

Киёаки, выслушав это от Иинумы, почувствовал себя неважно, будто и вправду заболел. Поздно ночью безо всякой надобности он вызвал Иинуму к себе в комнату и удивил его словами:

– Это все Сатоко. Правда, что женщина разбивает мужскую дружбу. Не будь утром Сатоко с ее капризами, Хонда так бы не обиделся.

К утру снег перестал и установилась прекрасная погода. Киёаки отмел попытки матери оставить его дома и отправился в школу. Он собирался прийти раньше Хонды и первым заговорить с ним.

Однако после ночи, очутившись один на один с этим сверкающим утром, где-то в самой глубине души Киёаки поймал вернувшееся ощущение счастья, и это опять сделало его совсем другим человеком.

Когда Хонда вошел и ответил холодной, словно ничего не произошло, улыбкой на улыбку Киёаки, тот, собиравшийся открыть ему все про вчерашнее утро, передумал.

Хонда ответил улыбкой, но не сказал ни слова, положил в стол портфель, подойдя к окну, посмотрел на снежный пейзаж, бросил взгляд на часы – наверное, убедился, что до начала урока еще больше получаса, – повернулся и вышел из класса. Ноги Киёаки сами собой понесли его вслед.

Рядом с двухэтажным деревянным корпусом, где находились старшие классы, вокруг беседки в геометрическом порядке были расположены клумбы, которые кончались у обрыва, оттуда дорога шла вниз к зарослям вокруг болотца с громким названием Пруд очищения. Киёаки подумал: вряд ли Хонда будет туда спускаться. Идти вниз по тропинке с подтаявшим снегом, должно быть, трудно. Хонда остановился у беседки, смел лежавший на скамейке снег и сел. Киёаки прошел через занесенный снегом цветник, подошел ближе.

Хонда посмотрел на него, прищурившись от яркого света:

– Ты чего привязался?

– Извини, я вчера вел себя по-хамски. – Киёаки с легкостью выговорил слова покаяния.

– Да ладно. Небось, притворился больным?

– Ага.

Киёаки тоже смел снег и сел рядом с Хондой. То, что им приходилось смотреть друг на друга, сильно сощурившись от яркого света, сразу помогло уничтожить неловкость в выражении чувств. Болотце, которое, пока они стояли, было видно сквозь заснеженные ветви, когда они сели в беседке, исчезло с глаз. Слышались звуки капли – она падала отовсюду: с крыши школьного здания, с кровли беседки, с деревьев вокруг. Снег, покрывающий неровным слоем цветник, сверху уже оделся ледяной коркой и осел; он отражал свет, словно скол крупнозернистого гранита.

Хонда думал, что Киёаки поведаст ему какую-то сердечную тайну, но не подавал виду, что ждет этого. Он даже наполовину надеялся, что Киёаки ему ничего не скажет. Он хотел помешать другу доверить ему тайну из чувства признательности. А потому сам неожиданно заговорил, специально выбрав тему, далекую от создавшейся ситуации:

– Я в последнее время все думаю об индивидуальности. Я считаю и хочу так считать, что в данное время, в данном обществе, в данной школе я непохожий на других, единственный в своем роде человек. Ты ведь тоже?

– Да. – Киёаки ответил нехотя, безразлично, голосом, полным только ему одному присущей прелести.

– Но что будет через сто лет? Мы неизбежно остаемся в русле течений определенного времени. Формы, которые присущи искусству на каждом его этапе, доказывают это с безжалостной определенностью. Человек не в состоянии смотреть на вещи взглядом, отличным от взглядов того времени, в котором живет.

– Ну а сейчас есть устоявшийся взгляд?

– Наверное, ты имеешь в виду, что начинают умирать формы Мэйдзи. Но человеку не дано видеть формы, среди которых он живет. И мы тоже заключены в какие-то не осознаваемые нами формы. Мы как та золотая рыбка, которая не знает, что она живет в аквариуме.

Вот ты живешь только в мире чувств. Люди видят, что ты другой, и ты сам веришь в собственную индивидуальность. Однако нет ничего, что бы ее доказывало.

Доказательства современников ненадежны. Можно предположить, что мир твоих чувств сам по себе доподлинно выражает форму времени. Однако опять-таки этому нет ни единого доказательства.

– Ну а что может это доказать?

– Время. Только время. Нас с тобой объединяет течение времени, и мы безжалостно извлекаем из времени, в котором существуем, не замечая его, нечто общее. Нас всех смешают, утверждая: «Молодежь начального периода Тайсё имела такие-то взгляды. Носила такую-то одежду. Так-то изъяснялась». Ты ведь не любишь ту компанию кэндоистов. Тебе ведь, наверное, всегда хотелось презирать такие компании?

– Ну-у. – Киёаки, чувствуя неприятный холод, который постепенно проникал через брюки, смотрел на росшу рядом с беседкой камелию, на дивный блеск ее листьев, с которых уже совсем сполз снег. – Да, я ненавижу такие компании, просто презираю.

Хонда не удивился такой реакции и продолжал:

– В таком случае представь, что через несколько десятков лет тебя будут воспринимать заодно с той компанией, которую ты больше всего презираешь. Их тупые головы, сентиментальность, их ограниченность, с которой они обзывают других неженками, их издевательства над младшими и помешательство на их кумире генерале Ноги, их экстаз при ежедневной уборке вокруг священного дерева, посаженного собственноручно императором Мэйдзи... Все это смешают с твоими чувствами и будут рассматривать как одно целое.

Более того, в будущем будет легко ухватить общие истины времени, в котором мы сейчас живем. Они вдруг неожиданно всплывут, как радужные пятна масла на поверхности отстоявшейся воды. Да, именно так. Истины нашего времени, после того как они умрут, будут систематизированы и окажутся понятными всем. И через сто лет станет очевидно, что эти «истины» были заблуждениями, и нас объединят как людей такого-то времени с такими-то ошибочными взглядами.

Что при таком подходе берется за основу? Мысль гения? Взгляды выдающихся людей? Нет. Критерий, по которому потомки будут определять наше время, – бессознательное обобщение, объединение нас с этой компанией приверженцев кэндо, другими словами – наши самые распространенные, обиденные идеи, пристрастия. Время всегда обобщают на основе такой одной глупой идеи.

Киёаки не понимал, что именно собирался сказать Хонда. Но пока он слушал, понемногу у него начала рождаться мысль.

В окне класса на втором этаже уже видны были головы учеников. В других классах стекла закрытых окон, слепя, отражали солнце и синь неба. Школа утром. Киёаки сравнивал это утро со вчерашним, снежным, и чувствовал, как из темного водоворота чувств его выносит на этот светлый белый простор разума.

– Это ведь история. – Он попытался вставить слово в рассуждения Хонды, огорчаясь, что в полемике с Хондой он рассуждает по-детски. – В данном случае, что бы мы ни думали, как бы ни чувствовали, чего бы ни желали – все это несколько не повлияет на ход истории.

– Именно так. Европейцы предпочитают думать, что историю двигала воля Наполеона. Так же, как воля твоего деда породила реформы Мэйдзи. Но так ли это на самом деле? Двинулась ли история хоть раз по воле человека? Я всегда думаю об этом, глядя на тебя. Ты ведь не гений. И не выдающаяся личность. Но ты сразу выделяешься среди всех. У тебя совсем нет воли. Мне всегда необычайно интересно думать о твоей роли в истории.

– Ты смеешься?

– Вовсе нет. Я размышляю о том, как влияет на историю полное отсутствие воли. Например, если считать, что я обладаю волей...

– Конечно обладаешь.

– Если бы я был уверен, что обладаю волей, способной изменить историю, то отдал бы жизнь, потратил бы все, что у меня есть, все душевные силы на то, чтобы повернуть историю согласно моей воле. Кроме того, постарался бы достичь положения и власти, которые позволили бы мне это сделать. И все-таки история необязательно двинется точно по намеченному мной пути.

А может, через сто, двести или триста лет история вдруг, совершенно независимо от меня, будет полностью соответствовать моим мечтам, идеалам, воле. Может быть, она примет формы, которые сто – двести лет назад я видел в своих мечтах. Словно в насмешку над моей волей, снисходительно и равнодушно, с улыбкой глядя на меня свысока, красота примет формы моего идеала. Вот про что, наверное, говорят: «Это история».

Может быть, дело просто в течении времени. Или в том, что наконец назрел момент. Необязательно через сто, такие вещи иногда случаются и через тридцать или пятьдесят лет. Когда история принимает такие формы, может статься, что это твоя воля способствовала их

появлению, превратившись после смерти тела в некую невидимую нить. А может быть, если бы ты не родился когда-то на свет, то история никогда и не приняла бы таких форм.

Благодаря Хонде Киёаки знал это возбуждение: опутанный холодными, абстрактными, какими-то чужими словами, вдруг чувствуешь, как по телу разливается жар. Прежде это было какой-то неосознанной радостью, а сейчас он окидывал взглядом падающие на заснеженный цветник длинные тени голых деревьев, белое пространство, заполненное звуками звонкой капли, и радовался такому же ясному, как белизна снега, решению Хонды: тот по наитию не замечал этого чувства счастья, которое со вчерашнего дня жгло память Киёаки.

В этот момент с крыши школьного здания сполз пласт снега размером с татами, и открылась влажная чернота черепицы.

– И тогда, – продолжал Хонда, – если через сто лет история примет именно те формы, о которых ты мечтал, назовешь ли ты это сотворением?

– Конечно, это сотворение.

– А чье?

– Твоей воли.

– Я не шучу. Меня в это время уже не будет. Я ведь уже говорил. Это свершится без всякого моего участия.

– В таком случае нельзя ли считать это волей истории?

– А есть ли у истории воля? Олицетворение истории всегда опасно. Я думаю, что у истории нет воли и она никак не связана с моей волей. И этот результат, определенный не волей некоего субъекта, решительно нельзя назвать сотворением. Доказательством чему служит тот факт, что сотворенное якобы историей в следующий миг сразу начинает разрушаться.

История постоянно разрушает. Разрушает для того, чтобы вновь готовить следующий промежуточный результат. В истории, похоже, понятия «созидание» и «разрушение» имеют одинаковый смысл.

Мне это хорошо понятно, но я, в отличие от тебя, не перестану быть узником воли. Воли или, быть может, какой-то другой черты характера, которая от меня потребуется. Никто не может точно назвать какой.

Позволительно, однако, сказать, что человеческая воля, по существу, есть «воля, стремящаяся связать себя с историей». Я не говорю, что это «воля, связанная с историей». Последнее практически невозможно, она может только «стремиться связать себя». Здесь и судьба, которая сопутствует всякой воле. Воля, конечно, не собирается признавать судьбу, но...

Однако, как показывает опыт, человеческая воля подчас терпит крах. Человек обычно идет не по тому пути, по какому намеревался идти. Как в данном случае рассуждает европеец? Он думает: «Все в моей воле, поражение есть случайность». Случайность – это исключение из закона причинно-следственных связей, единственная нецелесообразность, которую может признать свободная воля.

Вот поэтому европейская философия воли несостоятельна без признания фактора случайности. Случайность – последнее прибежище воли, победа или поражение в игре... Не будь ее, европейцы не смогли бы объяснить крушение и поражение воли. Я думаю, что именно эта случайность, именно эта игра отражает сущность их бога. Если последнее прибежище философии воли – обожествление случайности, то и их бог создается затем, чтобы воодушевлять человеческую волю.

Однако что будет, если полностью отринуть случайность? Что будет, если принять такой тезис: любая победа, любое поражение не случайны? Следовательно, свободная воля уже ни за чем не спрячется. Не будет случайности – и воля потеряет поддерживающую ее тело опору.

Представь себе такую сцену.

Вот в ясный день на площади в одиночестве стоит воля. Выглядит это так, словно она держится прямо благодаря собственным силам, она и сама уверовала в это. Ярко светит солнце,

и на этой огромной, без деревца, без травинки площади тень – это единственное, чем она обладает.

В это время откуда-то с безоблачного неба гремит голос: «Случайность умерла. Случайности больше нет. Воля, теперь ты навсегда остаешься без защиты».

И в тот же момент тело воли начинает разлагаться, начинает таять. Отваливается, сгнив, мясо, обнажаются кости, течет прозрачная сукровица, даже кости начинают разжижаться и течь. Воля твердо стоит обеими ногами на земле, но эти усилия уже ни к чему.

И тут ясное небо со страшным грохотом раскалывается, и в разломе появляется лик Бога.

Я могу только вообразить, как страшно, как ужасно узреть вот так этот лик. Моей воле это явно не под силу. Однако если предположить, что случайность вовсе отсутствует, то и воля теряет всякий смысл, история оборачивается ржавчиной, скрывающей длинную цепь причинно-следственных связей, причастные к истории взаимодействуют безвольно, как отдельные сверкающие, вечно неизменные частицы, и смысл человеческого существования сводится только к этому.

Ты можешь этого не знать. Ты можешь не верить в подобную философию. Ты же скорее больше веришь в свое бездействие: больше, чем в свою красоту, изменчивые чувства, свои индивидуальность и характер. Верно?

Киёаки не мог на это ответить, но отнюдь не чувствовал себя задетым.

– Для меня это главная загадка.

И Хонда до смешного искренне вздохнул, этот вздох поплыл под утренним солнцем белым облачком дыхания, и Киёаки показалось, что такую нечеткую форму обрел интерес друга к нему. В глубине души он почувствовал новый прилив счастья.

В этот момент прозвенел звонок, возвещающий о начале занятий. Молодые люди встали. Из окна второго этажа им под ноги, подняв сверкающие брызги, упал снежок, слепленный из собранного с подоконника снега.

14

В свое время отец отдал Киёаки ключ от библиотеки. Эта комната, расположенная в северном углу главного дома, была самой заброшенной в усадьбе. Сам маркиз читал очень мало, но здесь хранились китайские книги, оставшиеся после его отца, европейские издания, которые маркиз собирал из тщеславия, заказывая их через фирму «Марудзэн», большое количество подаренных книг, и когда Киёаки перешел в высшую ступень школы, отец с важностью, словно уступая сыну сокровищницу знаний, вручил ему ключ. Только Киёаки мог свободно в любое время входить туда. В библиотеке было, кроме того, много совсем не нужной отцу классической литературы и собрание детской литературы. Их издатели просили фотографию отца в придворном парадном костюме и его короткую рекомендацию и потом присылали в подарок полные собрания сочинений, снабженные напечатанной золотом фразой: «По рекомендации маркиза Мацугаэ».

Киёаки тоже не был в библиотеке завсегдатаем. Ведь он больше любил предаваться мечтам, нежели читать.

Для Иинумы, раз в месяц бравшего у Киёаки ключи и делавшего в библиотеке уборку, она стала самым священным местом в усадьбе, потому что здесь было полно китайских книг, столь ценных старым господином. Он почтительно называл ее книгохранилищем, и даже в том, как он произносил это слово, сквозило явное почтение.

Вечером того дня, когда состоялось примирение с Хондой, Киёаки позвал к себе Иинуму, собиравшегося как раз на вечерние занятия, и молча отдал ему ключ. День уборки был раз и навсегда определен, и он делал ее днем, поэтому Иинума с подозрением смотрел на ключ, который ему давали в неурочный день да еще вечером. На его доверчиво протянутой крепкой ладони ключ походил на стрекозу с оборванными крылышками.

Иинума потом неоднократно вызывал в памяти этот миг.

Обнаженный, напоминающий стрекозу с оборванными крылышками ключ тяжело лежал на его ладони.

Он долго думал, что это значит. И никак не мог понять. Когда Киёаки наконец объяснил ему смысл, в груди все задрожало от гнева. Но не на Киёаки, а скорее гнева на самого себя за то, что он до такого дошел.

– Вчера утром ты помог мне прогулять школу. Сегодня моя очередь помочь тебе прогулять занятия. Сделай вид, что идешь учиться, и выйди из дома. Обойди дом сзади и войди в него через дверь рядом с библиотекой. Отопри библиотеку и жди внутри. Только ни в коем случае не зажигай свет. Безопаснее запереться изнутри.

Тадэсина договорилась с Минэ об условном знаке. Тадэсина позвонит Минэ и спросит: «Когда будет готов ароматический мешочек для Сатоко?» – это и есть знак. У Минэ действительно очень хорошо получаются мешочки, ей удается всякая тонкая работа, поэтому все ее просят, и Сатоко тоже просила сделать такой мешочек с вышитыми золотом орхидеями, поэтому это напоминание по телефону будет выглядеть вполне естественно.

План же такой: Минэ после такого звонка проследит, когда ты уйдешь якобы на занятия, а потом тихонько постучит в дверь библиотеки – придет встретиться с тобой. После ужина обычно суета, и вряд ли кто-нибудь заметит, что Минэ минут тридцать – сорок будет отсутствовать.

Тадэсина считает, что устраивать тебе свидание с Минэ вне дома трудно и опасно. Служанке нужен предлог, чтобы куда-то отлучиться, и это скорее вызовет подозрения.

Вот я и решил все сам, не посоветовавшись с тобой, но Минэ уже сегодня вечером получит по телефону знак от Тадэсины. Ты обязательно должен пойти в библиотеку, а то Минэ будет очень-очень огорчена.

Услышав все это, буквально припертый к стене Иинума едва не выронил из дрожащих рук ключ.

...В библиотеке было страшно холодно, на окнах висели только коленкоровые шторы, поэтому сюда слабо проникал свет фонарей, зажженных на заднем дворе, но его было недостаточно, чтобы прочитать названия на корешках книг. Стоял запах плесени, казалось, он присел зимой на корточки у сточной канавы с застоявшейся водой.

Но Иинума наизусть помнил, какая книга на какой полке стоит. Изданные на японском языке лекции о китайских «Четырех книгах мудрецов», которые старый господин читал так часто, что порвались сшивающие их нити, все были без картонных коробок, здесь же стояли сочинения китайских историков и философов, «Стихи благородного мужа» Каяно Тоётоси – эту книгу он как-то перелистал во время уборки. Он разобрал, что это сборник известных японских и китайских классических стихотворных шедевров. Тогда книга утешила его сердце строками:

Отчего б не бросить махать метлой,
Может, стоит отправиться на Кюсю
Маленькой щебечущей пташкой.
Человек, сам не ведая того, летит лебединым путем.

Теперь он понял. Киёаки, зная о его преклонении перед книгохранилищем, специально устроил ему свидание там... Да, это так. В участливом тоне, с каким Киёаки излагал свои планы, заметно было холодное воодушевление тем, что это ему известно. Киёаки хотел, чтобы Иинума сам, своими руками осквернил священное для него место. Со времен отрочества Киёаки постоянно был силой, молча угрожающей Иинуме. Оскверняющее наслаждение. Наслаждение оттого, что Иинума сам осквернит то, что больше всего берег; это все равно что заставить его завернуть кусок сырого мяса в священную полоску белой бумаги из храма. Осквернение святынь – наслаждение, которое так любил бог Сусаноо...

После того как Иинума однажды был повержен, сила Киёаки неограниченно возросла, но Иинуме трудно было понять, почему это у Киёаки все наслаждения выглядели красиво и пристойно, а в наслаждения Иинумы он словно изо всех сил старался внести еще и привкус грязного греха. Теперь Иинума в собственных глазах выглядел ничтожеством.

Слышно было, как по потолку снуют мыши, библиотека была наполнена их сдавленным писком. Во время прошлой уборки он разложил, чтобы избавиться от мышей, на потолочных балках каштаны в колючках, но это ничего не дало... Неожиданно Иинума вспомнил то, о чем ему никак не хотелось сейчас думать, и вздрогнул.

Каждый раз при взгляде на лицо Минэ глаза ему застилало видение, которое он пытался стереть, как пятно. И теперь, когда жаркое тело Минэ вот-вот приблизится в темноте, он обязательно подавит эти мысли. То, что и Киёаки, наверное, знал, но о чем не говорил прямо, Иинума тоже, давно зная, не рассказывал Киёаки. В усадьбе это не было строгим секретом, а для Иинумы составляло мучительную тайну. Тяжелые мысли постоянно крутились у него в голове, словно там бегали грязные мыши.

...Когда-то маркиз попользовался телом Минэ. И сейчас иногда... Иинума представил себе удручающе жалких мышей с налитыми кровью глазами.

Ужасная стужа. Утром, посещая храм, он шел с открытой грудью, а сейчас холод подкрался со спины, как пластырь лип к коже, заставляя дрожать всем телом. Конечно, Минэ понадобится время, чтобы улизнуть под каким-то предлогом.

Он ждал: грудь разрывалась от желания, сердце противилось дурным мыслям и холоду, унижению и запаху плесени. Ему казалось, что все это, как грязь из сточной канавы, налипло на его штаны хакама и медленно стекает вниз. «И это для меня наслаждение! – подумал он. – Для меня, мужчины двадцати четырех лет, возраста, предназначенного для славы, блестящих деяний...»

В дверь легко постучали, и он, поспешно поднявшись, сильно ударился о полку. Открыл дверь ключом. Минэ, наклонившись, проскользнула внутрь. Иинума повернул за спиной ключ, схватил Минэ за плечо и грубо отеснил ее вглубь библиотеки. Почему-то ему в этот момент вспомнился цвет грязного снега, который отгребли снаружи на нижние панели библиотеки, – он видел его, когда обходил здание. Ему захотелось овладеть Минэ именно в том углу, где снег соприкасался со стеной.

Фантазии ожесточили Иинуму, и еще он заметил, что чем больше сочувствует Минэ, тем более жесток с нею, – так проявлялось его желание отомстить Киёаки, это открытие сделало его глубоко несчастным. Минэ молча, зная, что времени мало, подчинялась ему во всем, и в этой простодушной покорности Иинума ощутил заботливое понимание похожего на него человека, и у него заныло сердце. Однако доброта Минэ проистекала совсем не от этого. Она была легкомысленной, веселой девушкой. Замкнутость Иинумы, его торопливые жесткие пальцы – во всем этом Минэ виделась какая-то безыскусная искренность. Ей и в голову не приходило, что ее захотят пожалеть.

Под кимоно Минэ вдруг ощутила холод, словно ее коснулась холодная сталь клинка. Глаза в полутьме видели, как с четырех сторон на нее будто надвигаются полки, где теснятся книги с золотом на кожаных переплетах, спрятанные в картонные коробки, громоздящиеся одна на другую. Ей надо торопиться. По какой-то непонятной ей причине она должна поспешно спрятаться в тщательно подготовленной узкой щели во времени. Она знала: как бы та ни была мала, она точно соответствует этой щели, достаточно только проворно втиснуть туда тело. Ей требовалась всего лишь крошечная могилка по размеру своего небольшого созревшего тела с упругой кожей.

Минэ, несомненно, любила Иинуму. В том, как он ее добивался, проявились все достоинства этого человека. К тому же Минэ с самого начала не принимала участия в презрительных насмешках, которыми осыпали Иинуму другие служанки. Минэ своим женским естеством остро ощущала его долго подавляемое желание.

Перед глазами неожиданно возникло видение светлого праздника. Во тьме мелькнули и рассыпали ослепительный свет ацетиленовые лампы, их запах, воздушные шары и вертушки из бумаги, яркость разноцветных леденцов.

...Она распахнула глаза во мраке.

– И чего это ты так смотришь. – Тон у Иинумы был раздраженным.

Опять по потолку забегали мыши. В разлившейся тьме они то семенили мелкими шажками, то припускали рысью, то кучей бросались из одного угла в другой.

15

Почта, поступающая в дом Мацугаэ, проходила через руки дворецкого Ямады: он красиво раскладывал письма на лакированном с рисунком подносе и разносил тем, кому они были адресованы. Сатоко это знала и из предосторожности решила отправить Тадэсину, чтобы передать письмо Киёаки через Иинуму. Вот оно, любовное послание Сатоко, которое Иинума в разгар своих выпускных экзаменов получил от Тадэсины и передал Киёаки.

На следующий день светило солнце, а у меня в душе воспоминания о нашей встрече навсегда слились с падающим снегом. Снежинки одна за другой ложатся на твое лицо, и я, чтобы думать о тебе, хотела бы жить там, где снег идет все триста шестьдесят пять дней в году.

Живи мы в Хэйан, ты бы прислал мне стихи, а я сразу бы отправила тебе ответ, но я буквально потрясена: стихи, сложению которых меня обучали с детства, не могут выразить то, что творится у меня в душе. Может быть, у меня просто не хватает таланта. Не думай, что я всего лишь радуюсь тому, что ты исполнил мой каприз. Мне горько сознавать, что ты можешь принять меня за женщину, упивающуюся тем, что она добилась своего.

Самым отпадным было для меня твое великодушие. Щедрость души, с которой ты угадал спрятанные глубоко на дне моего каприза чувства и без возражений повез меня любоваться снегом, исполнил мою затаенную мечту.

Киё, мне кажется, я и сейчас, вспоминая то снежное утро, дрожу от стыда и радости. У нас в Японии дух снега – снежная женщина, а по сказкам Запада он представляется мне молодым прекрасным мужчиной, вот и твоя фигура в строгой форменной одежде казалась мне духом снега, похитившим меня, и несравненным счастьем было бы для меня просто слиться со снегом, превратиться в снег – раствориться в твоей красоте.

В конце письма стояло:

Пожалуйста, прошу тебя, не забудь сжечь это письмо.

Оно было написано будто на одном дыхании, и Киёаки был поражен тем, как, несмотря на изысканный стиль, то тут, то там буквально взрывалось чувствами.

Прочитав письмо, он сначала решил, что оно может осчастливить читающего, но потом оно стало казаться ему похожим на школьный учебник, по которому Сатоко учит его утонченности. Словно Сатоко объясняла ему, что подлинная утонченность выше всякой пошлости.

Если в то утро любования снегом они убедились, что любят друг друга, разве не естественной была бы для них потребность встречаться хоть на несколько минут в день?

Но сердце Киёаки оставалось спокойным. Он, как реющий по ветру флаг, жил только своими ощущениями и игнорировал естественный порядок вещей.

Он воспринимал его как навязываемый природой, и чувства, ни в чем не терпящие принуждения, стремились освободиться; ведь на этот раз покушались собственно на его свободу.

Намерения Киёаки некоторое время не встречаться с Сатоко объяснялись не его умением владеть собой и уж конечно не тем, что он, как искушенный в любви, был прекрасно осведомлен о ее правилах. Дело было в том, что его утонченность была какой-то неловкой, еще незрелой, в чем-то сродни тщеславию. Он завидовал утонченности, с которой Сатоко свободно проявляла свои чувства, ощущал, что ему это не под силу.

Как вода возвращается в привычное русло, так и его душа опять возжаждала страданий. Его отчаянный эгоизм и одновременно устойчивая привычка мечтать требовали совсем другого состояния: ты хочешь, но не можешь встретиться с любимой, поэтому он терпеть не мог

вмешательства Тадэсины и Иинумы. Их действия вредили чистоте его помыслов. Когда же Киёаки заметил, что страдания, грызущие его тело и воображение, целиком сотканы из этой чистоты, гордость его была уязвлена. Любовные страдания должны были бы быть яркими, многокрасочными, но в его маленькой домашней мастерской были нитки сплошь одного цвета – чисто-белого.

«Куда это меня заведет? Тогда, когда моя любовь наконец станет по-настоящему любовной страстью?»

Но, определив свои чувства как «любовь», он снова начинал придирчиво анализировать их.

И воспоминания о поцелуе, которых для самолюбия обычного подростка было бы достаточно, чтобы вознести его на седьмое небо, этому слишком самолюбивому подростку день за днем точили сердце.

В тот миг искрами, похожими на искры драгоценного камня, вспыхнуло наслаждение. И он, этот миг, безусловно, врезался в память. Среди размытого, монотонно-серого снега, в хаосе неопределенных, неведь откуда подступающих и неведь куда исчезающих чувств возник этот сияющий алый камень.

Он страдал оттого, что все сильнее сталкиваются между собой эта память о наслаждении и сердечная рана. И в конце концов сосредоточился на прежних, омрачавших душу воспоминаниях. Другими словами, и поцелуй он стал воспринимать как одно из оскорбительных для него, странных воспоминаний, навеянных Сатоко.

Он собирался написать по возможности холодный ответ, несколько раз рвал письмо и переписывал заново. Наконец он положил перо, уверенный, что создал шедевр ледяного любовного послания, и тогда вдруг обнаружил, что бессознательно написал письмо-обвинение, письмо мужчины, пресытившегося женщиной. Эта явная ложь ранила его самого, потому Киёаки опять переделал письмо и теперь прямо написал о радости, испытанной от первого поцелуя. Письмо вышло по-детски пылким. Он закрыл глаза, вложил лист бумаги в конверт, высунул блестящий розовый кончик языка и лизнул клей на конверте. У клея был сладковатый вкус микстуры.

16

Усадьба Мацугаэ с самого начала славилась кленами, но деревья сакуры тоже были в своем роде замечательны; вместе с соснами они густо росли в ухоженной аллее, ведущей к главным воротам, – их можно было одним взглядом охватить с балкона второго этажа европейского дома; потом несколько деревьев, росших за огромным деревом гинкго на переднем дворе, сакуры, опоясывающие холм, где не так давно праздновали пятидесятилетие Киёаки, и еще сколько-то деревьев на Кленовой горе за прудом. Многие говорили, что в период цветения этот пейзаж производит большее впечатление, чем если бы весь двор был наполнен цветами сакуры.

Весной и в начале лета в доме Мацугаэ устраивали три больших праздника – праздник кукол в марте, цветения сакуры в апреле и храмовый день поминовения в мае, но этой весной, когда еще не прошел год со дня упокоения бывшего императора, решено было и праздник кукол, и праздник цветения сакуры отмечать в узком кругу, и женщины были этим очень огорчены. Ведь обычно еще зимой в доме начинались разговоры о том, как будут проходить праздник кукол и праздник цветения, ходили слухи об актерах, которых пригласят в усадьбу, и это еще больше возбуждало сердца, ждущие весны. Отмена этих праздников была под стать отмене прихода весны.

Особенно славился праздник кукол, который отмечали как в Кагосиме, слухи об этом празднике через европейцев, которые бывали на него приглашены, распространились даже за границу. Посещавшие Японию в это время иностранцы, случалось, используя всякие связи, просили о приглашении. Лица кукол, изображающих императора и императрицу, были сделаны из слоновой кости, и на весеннем холоде их щеки, поблескивающие в пламени свечей и отсветах алого покрывала, казались еще более холодными. Парадные костюмы и церемониальные одежды на куклах глубоко открывали сзади шею, и белый глянец подчеркивал ее тонкую линию. Огромный зал для приемов застилала красным сукном. С решетчатого потолка свисали большие вышитые мячи, стены обтягивали тисненные рисунки кукол из Кагосимы. Каждый год в начале февраля в усадьбу приезжала пожилая женщина по имени Цуру, искусная рисовальщица, она делала эти рисунки, отмечая каждое прикосновение к бумаге своим любимым выражением: «Как вам угодно».

Чтобы восполнить приглушенную в этот раз пышность праздника кукол, праздник цветения сакуры решили (конечно, между собой) провести более ярко, чем это предполагалось. Дело в том, что выразил желание неофициально прибыть в гости сам принц Тоин.

Маркиз, обожавший пышность, воспринял желание принца с особенной радостью, ведь это давало возможность не стеснять себя общественным мнением. Принц, приходящийся государю двоюродным братом, сам нарушит траур, отправляясь любоваться цветами сакуры, поэтому маркиз в глазах общества будет полностью оправдан.

Так вышло, что его высочество Харухисао принц Тоин в позапрошлом году как представитель царствующей семьи участвовал в торжествах по случаю коронации Рамы VI и был знаком с королевской семьей Сиама, поэтому маркиз решил также пригласить принцев Паттанадида и Кридсаду.

Маркиз сблизился с принцем Тоином во время Олимпийских игр 1900 года в Париже, был его наставником в ночных развлечениях, и уже после возвращения домой принц с удовольствием вспоминал то, что было известно лишь им одним, например: «Мацугаэ, а ведь как любопытно было в том доме, где фонтаны били шампанским».

Праздник любования цветами назначили на шестое апреля, и после праздника кукол жизнь в доме Мацугаэ опять оживили предпраздничные хлопоты.

Весенние каникулы Киёаки проводил в полном безделье, родители советовали ему куда-нибудь съездить, но он всем видом выказывал нежелание. И вовсе не потому, что собирался часто встречаться с Сатоко, просто ему не хотелось даже ненадолго уезжать из Токио, где была она.

Медленно и неотвратно приближающуюся весну он ждал со страхом, полный дурных предчувствий. Страдая дома от скуки, он стал бывать в удаленном домике бабушки, куда обычно не заглядывал.

Он прежде редко бывал у нее, потому что она никак не могла избавиться от привычки по-прежнему обходиться с ним как с ребенком, а также по любому поводу любила нелестно отзываться о матери. Строгое лицо, мужские плечи – здоровая на вид бабушка после смерти мужа ни разу не выезжала из дому, жила словно в ожидании смерти, совсем мало ела, но это, наоборот, делало ее здоровее.

Когда приезжали гости из ее родных мест, бабушка, не стесняясь, разговаривала на диалекте Кагосимы, но с невесткой и Киёаки говорила на токийском диалекте – во многом официальном, грубоватом, звучавшем у нее как-то все больше по-военному, оттого что звук «г» она произносила четко, не в нос. Киёаки казалось, что бабушка нарочно пользуется просторечиями, осуждая тем самым ту легкость, с которой он овладел и пользовался речью столичного жителя.

Сидящая у жаровни бабушка встретила Киёаки словами:

– Говорят, цветами приедет любоваться принц Тоин.

– Да, ходят такие слухи.

– Я вряд ли выйду к гостям. Твоя мать меня приглашала. Но мне приятнее было бы уже покинуть этот мир.

Затем бабушка, обеспокоенная тем, что Киёаки празднично проводит время, предложила ему заняться кэндо, язвительно намекнула на то, что после того, как сломали зал для фехтования, построив на его месте европейский дом, и начался упадок семьи Мацугаэ. В душе Киёаки был с ней согласен. Ему нравилось это слово – «упадок».

– Были бы живы твои дяди, отец не мог бы делать все, что ему заблагорассудится. Я думаю, он тратит деньги на прием принца ради того, чтобы пыль в глаза пустить. Вспомню своих бесславно погибших на войне детей – сразу пропадает настроение веселиться. Вон пособия за погибших как есть, не потраченные лежат на алтаре. Как представлю, что это деньги, которыми император вознаграждает меня за пролитую кровь сыновей, так просто не могу взять их в руки.

Бабушка любила читать проповеди на моральные темы, но и одежду, и пищу – все, от денег на мелкие расходы до личных слуг, предоставлял ей маркиз, и Киёаки иногда подозревал, уж не избегает ли бабушка светского общения оттого, что стыдится своего деревенского происхождения.

Но только общаясь с бабушкой, Киёаки убегал от себя и фальшивого окружения, в котором оказался, и радовался, что прикасается к еще живущему рядом с ним чему-то простому и здоровому. С его тягой к утонченности, это выглядело скорее противоестественно.

Ведь у бабушки были большие грубые руки, черты лица – словно прорисованные одним взмахом толстой кисти, суровая линия губ. Впрочем, бабушка вела не только строгие беседы: стукнув внука по колену, спрятанному под одеялом у жаровни, она поддразнила:

– Когда ты приходишь, тут среди наших женщин прямо переполох. Это для меня ты все еще сопливый мальчишка, а для них уже мужчина.

Киёаки смотрел на потускневшую, висящую у поперечной балки фотографию: на ней были дяди в военной форме. Казалось, ничто не связывает его и этих военных. Это снимок с той войны, что закончилась всего-то восемь лет назад, а видятся они такими далекими, словно их разделяет с Киёаки безбрежный синий океан. «Наверное, у меня с рождения по жилам течет

не кровь, а чувства», – с гордостью, к которой примешивалась толика тревоги, подумал Киёаки. На закрытые раздвижные перегородки сёдзи между комнатой и террасой падали лучи солнца, и казалось, будто он очутился внутри большого кокона из белой полупрозрачной бумаги и лучи солнца падают туда, просеиваясь через нее. Бабушка заклевала носом, и Киёаки в молчании, заполнившем эту светлую комнату, отчетливо услышал тиканье стенных часов. Бабушка дремала, слегка склонив голову, от края неровно окрашенных седых волос начинался выпуклый лоснящийся лоб, на нем как будто еще сохранился летний загар, которым шестьдесят лет назад наградило ее еще девушкой солнце в заливе Кагосимы.

Киёаки размышлял о морских приливах, смене времен года, о том, что и он скоро состарится, и неожиданно у него перехватило дыхание. Его никогда не прельщала мудрость старости. Вот бы умереть молодым... И по возможности без страданий. Утонченной смертью, чтобы она выглядела так, будто яркое шелковое кимоно, сброшенное с плеч на стол, вдруг соскользнуло на темный пол.

Мысль о смерти воодушевила его, неожиданно вызвала желание встретиться с Сатоко. Он позвонил Тадэсине и бегом бросился на свидание. Ощущение того, что Сатоко реальна, молода, красива и он тоже жив – здесь и сейчас, казалось ему необыкновенным счастьем, которое он едва не упустил.

Стараниями Тадэсины они встретились у небольшого храма недалеко от усадьбы в Адзабу, куда Сатоко пришла под видом прогулки. Сатоко сразу же поблагодарила за приглашение на праздник цветения. Похоже, она считала это делом рук Киёаки. По обыкновению скрытный Киёаки притворился, что действительно в курсе, хотя слышал об этом впервые, и невнятно ответил на благодарность.

17

Маркиз Мацугаэ после долгих размышлений решил значительно сократить число гостей, пригласить любоваться цветущей сакурой и на ужин с его высочеством принцем Тоином только принцев из Сиама, барона Синкаву с супругой, с которыми дружили домами и часто бывали у них, а также Сатоко с родителями. Синкава из семьи, принадлежащей к финансовой олигархии, во всем был копией англичанина, а его жена в последнее время сблизилась с Райтё Хирацука и покровительствовала «новым женщинам» – это должно было добавить приему колорита.

План приема был следующим: высочайшая пара прибудет в три часа пополудни, супруги отдохнут в одной из комнат главного дома, потом их поведут в сад, и до пяти часов на открытом воздухе пройдет официальная часть, когда гостей будут развлекать гейши в старинных костюмах, потом все будут смотреть в исполнении гейш танцы; на закате гостей пригласят в европейский дом, предложат аперитив, а после ужина состоится вторая часть представления: специально нанятый инженер-механик покажет новые достижения европейского синемаатографа, и на этом прием закончится – этот план маркиз так и сяк обсуждал с дворецким Ямадой и наконец был удовлетворен.

Маркиз долго ломал себе голову над тем, что лучше выбрать для показа. Безусловно, хороши были движущиеся картины производства французской фирмы «Пате», известные благодаря актрисам из Комеди Франсез, но хотелось чего-то, что усиливало бы впечатление от любования цветами. С первого марта синемаатограф в Асакусе стал специализироваться на показе европейских картин, снискал популярность «Изгнанным сатаной», и придется показывать то, что уже шло там. Немецкие картины, наверное, не понравятся ее высочеству и приглашенным дамам. Решили пустить нейтральные во всех отношениях мелодрамы – несколько лент, снятых в Англии Хепуортом по мотивам произведений Диккенса. Они слегка затянуты, но мастерски сделаны, вещи на все вкусы, с титрами на английском языке, поэтому доставят удовольствие любому гостю.

А что делать, если будет дождь? Тогда сначала все будут любоваться цветами, окутанными дождем, со второго этажа европейского дома, так как из большого зала главного дома видно не очень много деревьев сакуры, потом там же, на втором этаже, посмотрят танцы, а затем перейдут к аперитиву и ужину.

Приготовления начались с сооружения временной сцены у пруда – такой, чтобы на нее можно было смотреть с газона холма. Не хватало, правда, красно-белых полотнищ, чтобы обозначить все дорожки, по которым в хорошую погоду принц будет переходить от сакуры к сакуре, любуясь цветами. Требовались люди даже для того, чтобы придумать, как с помощью расставленных тут и там в европейском доме цветущих веток и сервировки стола придать дому черты весеннего пейзажа, а когда настал канун праздника, то словами не передать, как были заняты парикмахер и его помощники.

В назначенный день, к счастью, не было дождя, но солнце светило не особенно ярко. Оно то скрывалось за тучами, то появлялось вновь: утром было довольно прохладно.

Одна из комнат главного дома, которой обычно не пользовались, была отведена под грифельную гейшам: сюда снесли все зеркала, которые только были в доме. Движимый любопытством, Киёаки пошел было взглянуть на эту комнату, но немедленно был изгнан оттуда главной горничной. В этой большой комнате, которую готовили к скорому приходу женщин, расставляли ширмы, раскладывали подушки для сидения; зеркала на туалетных столиках, прикрытых ярким шелком, блестели холодным светом, еще не носился в воздухе запах румян и белил, но мысль о том, что через полчаса здесь все сразу наполнится чарующими голосами, женщины по-хозяйски, как у себя дома, будут снимать и надевать кимоно, – все это будоражило вообра-

жение. Это был приют красоты, где запахи ощущались даже сильнее, чем во дворе у белевших свежими срезами бревен помоста.

У сиамских принцев не было никакого чувства времени, поэтому Киёаки передал, чтоб они приехали сразу после обеда. Оба принца появились в половине второго. Киёаки, подивившись, что принцы приехали в форменной одежде школы Гакусюин, повел их прежде к себе в комнату.

– А та красивая девушка – твоя любовь – придет? – громко по-английски спросил Кридсада, как только они вошли в комнату.

Сдержанный Паттанадид, чувствуя неловкость за нетактичность брата, по-японски, запинаясь, стал извиняться перед Киёаки.

Киёаки ответил, что она придет, но он просит сегодня в присутствии принца и родителей как-то избегать этой темы. Принцы переглянулись – похоже, их удивило, что отношения Киёаки и Сатоко не общеизвестны.

Было заметно, что первый период ностальгии прошел и принцы вполне освоились в Японии.

Они пришли в форме, Киёаки воспринимал их как друзей по школе. Кридсада рассмешил Тьяо Пи и Киёаки, мастерски копируя манеры директора школы.

Тьяо Пи встал у окна и, глядя на постоянно меняющийся пейзаж, где тут и там развевались по ветру красно-белые полотнища, сказал, будто вкладывая в слова всю душу:

– Действительно скоро потеплеет?!

В его голосе звучала просто тоска по жаркому летнему солнцу.

Киёаки, тронутый этим тоном, поднялся со стула. В тот же миг Тьяо Пи воскликнул звонким мальчишеским голосом, а его двоюродный брат от удивления даже привстал.

– Вот она! Та красавица, о которой нельзя говорить. – Тьяо Пи моментально перешел на английский.

Да, это точно была Сатоко, одетая в кимоно с длинными свисающими рукавами, она шла с родителями к главному дому по дорожке вдоль пруда. Кимоно на ней было нежно-розового цвета сакуры, издали угадывался узор на подоле – весенний хвощ и молодая трава, в тени блестящих волос мелькнула полоска белой щеки – это Сатоко повернулась к пруду.

На острове не было красно-белых полотнищ, но они отмечали прогулочные дорожки вдалеке на покрытой свежей зеленыю Кленовой горе и, то появляясь, то исчезая, отбрасывали на воду тень, напоминавшую конфеты в красную и белую полоску.

Киёаки вообразил, что слышит мелодичный голос Сатоко, который, конечно, не мог проникнуть сквозь закрытые окна.

Японский мальчишка и двое сиамских, затаив дыхание, стояли в ряд у окна. Киёаки чувствовал себя странно. Ему показалось, что в присутствии принцев, может быть под влиянием их жарких, тропических чувств, он сам легко начинает верить своим чувствам и готов признаться в них.

Теперь он уже без колебаний мог сказать себе: «Я люблю ее. И люблю безумно».

Когда Сатоко, отойдя от пруда, обернулась – нет, не прямо на их окно, а просто в сторону главного дома, то Киёаки показалось, что настал желанный миг: исчезла осевшая с детства на сердце печаль – принцесса Касуга не обернулась к нему, преданно шедшему сзади и несущему шлейф ее платья.

Через шесть лет, под другим углом, гладкая поверхность кристалла времени вдруг вспыхнула всеми красками скрытого в нем света.

Он увидел, как в неярких лучах весеннего солнца Сатоко неожиданно засмеялась, красивые пальцы взметнулись и белым веером прикрыли рот. Ее стройное тело звучало словно натянутая струна.

18

Супруги Синкава представляли собой замечательное сочетание рассеянности и энергии. Барон абсолютно не обращал внимания на то, что говорит или что делает его жена. А та продолжала болтать, не обращая внимания на реакцию собеседника.

Так бывало и дома, и на людях. Всегда выглядевший рассеянным, барон, случалось, делал едкие, в духе эпиграмм, замечания по поводу других, но они никогда не распространялись. Жена же его, тратя множество слов, не могла найти ничего привлекательного в человеке, о котором в тот момент говорила.

Они были владельцами второго по счету «роллс-ройса» в Японии, гордились, что вторая машина принадлежит именно им, это их приятно возбуждало. Дома барон после ужина облачался в шелковый смокинг и так отдыхал, пропуская мимо ушей нескончаемые истории жены.

Госпожа Синкава приглашала к себе в дом последовательниц Райтё Хирацуки и устраивала раз в месяц вечера, которые именовала, заимствуя название стихотворения известной поэтессы Сануно Тигамино Отомэ, «собрания небесного огня», но в дни этих посиделок каждый раз шел дождь, поэтому газеты издевательски окрестили их «собраниями дождливого дня». Абсолютно не понимая идейной основы движения, жена барона взволнованно следила за пробуждением женского сознания, как смотрела бы на курицу, ожидая, что та снесет яйцо какой-то абсолютно новой формы, например треугольное.

Приглашение на праздник цветения сакуры в усадьбу маркиза Мацугаэ обрадовало их, но одновременно и обеспокоило. Беспокоило их то, что они заранее предчувствовали скуку. Радовало же, что они официально смогут продемонстрировать свои европейские манеры. К тому же семья этих богатых торговцев сохраняла дружеские отношения с главами княжеств Сацума и Тёсю, и с прошлого поколения стержнем их новой нестигаемой утонченности было скрытое презрение к деревенщине.

– К Мацугаэ опять пригласили принца – верно, собираются встречать оркестром. Этот визит принца – гвоздь программы, – высказался барон.

– А мы должны скрывать новые мысли, – среагировала жена. – Но разве это не увлекательно – скрывать их, прикидываться, что ничего не знаешь. Разве не интересно тайком проникнуть в среду этих отсталых людей. Любопытное зрелище: маркиз Мацугаэ до смешного лебезит перед принцем, а временами ведет себя с ним как-то странно, по-свойски. Что мне надеть? Днем надевать вечернее платье как-то... Наверное, праздничное кимоно будет лучше. В Киото говорят: «Скорей, подсветим ночную сакуру огнями узора на подоле». Но мне не особенно идет кимоно с узором. Никак не пойму, может, мне кажется, что не идет, а на самом деле идет, или другие считают, что не идет. А вы что думаете?

В тот день из дома маркиза пришло послание с просьбой приехать заранее, до прибытия принца, поэтому Синкава специально явились с опозданием на несколько минут, но, конечно, до приезда высокого гостя оказалось достаточно времени, и барон, сердясь на эти деревенские привычки, сразу съязвил:

– У принца по дороге коней удар хватил. – Однако, при всей своей иронии, барон пробормотал это себе под нос без всякого выражения по-английски, и его никто не услышал.

Сообщили, что коляска принца показалась в воротах усадьбы, и хозяева выстроились для встречи в вестибюле главного дома. Когда, разбрасывая гальку, коляска въехала под сень сосен, Киёаки увидел, как раздувают ноздри и вскидывают головы кони, как вздымаются их пепельно-серые гривы, словно мощные волны гонят готовые обрушиться белые гребни. Гербы на слегка забрызганной грязью коляске закружились в золотом вихре, и все успокоилось.

Из-под черного цилиндра у принца Тоина спускалась роскошная, наполовину белая борода. Ее высочество, следуя за мужем, поднялась через прихожую, застеленную белым

полотном, чтобы можно было прямо в обуви войти в большой зал. Конечно, были произнесены краткие приветствия, но основную речь предполагалось произнести, когда все войдут в гостиную.

Среди пены бушующих, рвущих водоросли волн то мелькнут, то исчезнут шарики плодов – так мелькали под подолом белого тонкого платья мыски черных туфель важной гостьи, – Киёаки обратил внимание, как это было изысканно; на лицо, на которое годы уже наложили свой отпечаток, он не решался взглянуть.

В гостиной маркиз представил высоким гостям присутствующих, но среди последних единственной незнакомой принцу оказалась Сатоко.

– И вы скрывали от меня такую прелестную барышню, – шутливо попенял принц графу Аякуре.

Стоящий рядом Киёаки ощутил, как по спине пробежала легкая необъяснимая дрожь. Сатоко в глазах присутствующих сразу была выделена, стала заметна, как запущенный вверх яркий мячик.

Сиамские принцы оживленно заговорили с принцем, с которым близко познакомились в Сиаме и благодаря которому получили приглашение приехать в Японию, принц поинтересовался, как складываются у них отношения с товарищами по школе Гакусюин. Тьяо Пи с улыбкой по всем правилам поблагодарил:

– Все нам охотно помогают, словно мы знакомы лет десять, поэтому мы не чувствуем никаких неудобств.

Киёаки, услышав это, удивился: он знал, что у принцев, кроме него, приятелей в школе нет и они до сих пор там почти не бывают.

Барона Синкаву можно было сравнить с ярко начищенным серебром. Вне дома, когда он попадал в чужую среду, это серебро как бы покрывалось патиной скуки. Достаточно было одного такого разговора, чтобы навеять на него скуку...

Наконец гости в сопровождении маркиза дружно последовали за принцем в сад любоваться цветами сакуры; все сохраняли привычный порядок – жены следовали за мужьями. Барон уже заскучал, но, когда они оказались на достаточном расстоянии от остальных, сказал жене:

– Маркиз, поучившись за границей, стал большим оригиналом: отдалился от жены, поселил любовницу в доме за воротами усадьбы, до главного входа оттуда метров восемьсот – вот мера его цивилизованности. Это о нем пословица: «Отступившие на пятьдесят шагов смеются над трусостью тех, кто отступил на сто».

– Уж если ты приобщился к новым веяниям, изволь следовать им до конца. Что бы там ни говорили, а веди себя по-европейски: по приглашению или вечером в свете появляйся с женой. Посмотри! Как красиво: деревья сакуры с той горы, которые отражаются в пруду, и красно-белое полотнище. Как мой наряд? Среди того, что надето на сегодняшних гостях, он самый изысканный и смелый, поэтому представляю, как красиво выглядит с того берега мое отражение в пруду. Жаль, что я не могу быть одновременно и на том, и на этом берегу. Правда?

Барон Синкава чувствовал, что не противиться этому допросу, прекрасно отшлифованному системой моногамии (сами же ее и захотели), – значит обречь себя на муки, уготованные идеями, обогнавшими человечество на целых сто лет, и с удовольствием сопротивлялся. Его, с самого начала не искавшего в жизни глубоких впечатлений, как-то возбуждали, привлекали любые, даже неодолимые преграды, если при этом можно было обойтись без излишних эмоций.

На празднично украшенной площадке, устроенной на вершине холма, гостей встречали гейши из района Янагибаси, одетые в костюмы, в каких любовались цветущей сакурой больше века назад: здесь были самураи в длинных кимоно, молодые парни и девушки, слепой музыкант, странствующий плотник, цветочница, продавец картинок, горожанка, крестьянка, стихо-

творец. Принц с довольной улыбкой обернулся к маркизу, принцы из Сиама радовались, хлопая Киёаки по плечу.

Отец был занят его высочеством принцем, мать занимала ее высочество, на Киёаки оставили сиамских принцев, вокруг них толпились гейши, и Киёаки надо было думать о том, как помочь принцам, еще плохо говорившим по-японски, поэтому у него не было ни минутки обернуться к Сатоко.

– Молодой господин, приходите к нам развлечься. Уж так вы нам сегодня понравились. Прямо убьете, если не придете, – сказала старая гейша, наряженная поэтом.

У молодых гейш и у тех, что были в мужских костюмах, под глазами были положены румяна, и казалось, особенно когда они смеялись, будто они пьяно покачиваются; Киёаки к вечеру почувствовал холод, а тут настало полное ощущение того, что его окружили ширмами со створками из шелка, вышивки и напудренной женской кожи, которые не пропускают дуновений вечернего ветра.

Как эти женщины, наверное, с громким смехом и негой плещутся в ваннах, где вода как раз такая, какой требует их тело... Выразительные жесты, манера кивать головой так, будто в основании белого гладкого горла прикручены маленькие золотые петли, в определенный момент останавливающие кивок, выражение лица, когда губы не перестают улыбаться, а глаза вдруг полыхнут гневом на шутки разошедшихся клиентов, движение всего тела, когда, мгновенно став серьезными, они выслушивают требования гостя, минутная холодная рассеянность, когда они слегка поднимают руки к волосам, – среди всего этого сонма движений внимание Киёаки привлек тот взгляд искоса, которым так часто пользовались гейши, и он невольно сравнивал его с совсем непохожим, особенным взглядом Сатоко.

У окруживших его женщин этот взгляд был живым, радостным, но создавал неприятное ощущение, будто он сам по себе кружит над тобой, подобно надоедливому комару. Он совсем не был, как у Сатоко, окутан изяществом движения.

Сатоко в отдалении беседовала с его высочеством принцем. В слабых лучах заходящего солнца ее профиль, как далекий кристалл, чуть слышный звук струн кото или едва различимая складка горы, был наполнен какой-то таинственностью, вызванной расстоянием, и, подобно вечерней Фудзи, четко вырисовывался на фоне неба, проглядывающего в густевших сумерках сквозь деревья.

Барон Синкава обменялся несколькими словами с графом Аякурой, их обхаживали гейши, но они вели себя так, словно вовсе их не замечают. На газоне один из опавших лепестков с цветов сакуры прилип, запачканный, к носку лакированной, отражавшей вечернее небо туфли графа Аякуры, и барон обратил внимание, что у того маленький, почти женский размер. И рука графа, державшая бокал, была маленькой и белой, как у куклы.

Барон ощутил зависть к крови, которая иссякает столь изящно. Но он чувствовал также, что между рассеянностью графа, естественной и улыбчивой, и его рассеянностью английского типа возможен диалог, который не может состояться с другими.

Граф неожиданно произнес:

– Среди животных грызуны, что ни говори, очень милые зверушки.

– Грызуны? – машинально отозвался барон, ему как-то ничего не пришло в голову.

– Зайцы, морские свинки, белки...

– Вы что, держите их дома?

– Нет, от них сильный запах.

– Не держите, хотя они вам очень нравятся?

– Ну, во-первых, это не поэтический объект. Домашнее правило – старайся не держать в доме того, чему не стать стихом.

– Вот как?

– Не держу, но мне больше всего милы эти маленькие, лохматые, робкие существа.

– Удивительно.

– Милые существа – и такой сильный запах.

– Да, пожалуй, это верно.

– Вы, господин Синкава, говорят, долго жили в Лондоне...

– Да. Там, в Лондоне, за послеполуденным чаем вас каждый спрашивает, как вы наливаете: сначала молоко или сначала чай? Когда они смешаются, получится одно и то же, но что наливать в чашки первым – для англичан чрезвычайно важная проблема, важнее политики.

– О, это так интересно – то, что вы сейчас рассказали.

Они не давали гейшам возможности вставить слово, и хотя оба пришли любоваться цветами, выглядели так, словно цветы их вовсе не занимают.

Жена маркиза беседовала с ее высочеством; та любила музыкальные сказы нагаута и играла на сямисэне, поэтому разговор поддержала стоявшая рядом аккомпаниаторша, пожилая гейша из Янагибаси. Жена маркиза рассказала, как в праздник помолвки одного из родственников они на рояле, сямисэне и кото исполнили музыкальный сказ «Зелень сосны» и всем очень понравилось; принцесса живо заинтересовалась: «Хотела бы я тоже при этом присутствовать».

У маркиза постоянно вырывался громкий смех. Принц чуть посмеивался в усы. Наряженная слепым сказителем пожилая гейша что-то шепнула маркизу, и тот громко обратился к гостям:

– А сейчас представление. Господа, прошу к сцене...

Это, вообще-то, должен был объявить дворецкий Ямада. Ямада, на чью роль посягнул хозяин, захопал глазами за стеклами очков. Это было единственное, чем он выразил свое отношение к неподвижной ситуации.

Он ни разу не прикоснулся к тому, что принадлежит хозяину, и хозяин не должен касаться того, что принадлежит ему. Вот прошлой осенью дети иностранцев, которые снимали дома по соседству, играли в усадьбе, собирая желуди. Туда же пришли дети Ямады, и дети иностранцев хотели с ними поделиться, но те наотрез отказались. Они твердо усвоили, что не следует брать вещей хозяина. Родители-иностранцы, неправильно истолковав их поведение, пришли к Ямаде с претензиями, но Ямада со своим обычным, ничего не выражающим, очень серьезным лицом, почтительно поджав губы, похвалил своих детей, сказав, что ему это известно.

Ямада на миг вспомнил это давнее событие и сразу, непослушными ногами отбрасывая длинные полы штанов, с жалкой решимостью вторгся в группу гостей и суетливо стал приглашать их к сцене.

В этот момент у пруда на сцене за красно-белым занавесом, гулким лаем разорвав холодный воздух, прозвучали деревянные колотушки, словно побуждая свежие щепки у сцены пуститься в пляс.

19

Киёаки и Сатоко представился случай оказаться вдвоем очень ненадолго, в то время, когда гостей после танцев гейш вели в наступающих сумерках в европейский дом. Довольные представлением гости опять смешались с гейшами, продолжались возлияния, и, пока не зажглись фонари, все шумели и бурно веселились.

Киёаки издали заметил, что Сатоко умело, сохраняя приличное расстояние, идет за ним. В том месте, где дорога с холма разветвлялась на две – одну, ведущую к пруду, другую – к воротам, – в красно-белом полотнище была щель, сквозь которую виднелась огромная сакура.

Киёаки спрятался тут за полотнищем, но Сатоко перехватили дамы из свиты принцессы, поднимавшиеся от пруда после прогулки по Кленовой горе. Киёаки теперь не мог выйти, и ему оставалось только ждать под деревом, когда Сатоко найдет предлог, чтобы уйти.

И вот теперь, оставшись один, Киёаки впервые поднял глаза вверх и по-настоящему рассмотрел сакуру.

Цветы плотно облепили черные невзрачные ветки и походили на белые раковины, сплошь покрывающие риф.

Вечерний ветер надувал полотнище, доставал сначала до нижних веток, те грациозно покачивались, будто цветы что-то шептали, потом ветер принимался прыгать с ветки на ветку, и постепенно все цветы в широкой кроне начинали буйно колыхаться.

Цветы были белыми, только слегка розовели собравшиеся в гроздья бутоны. Но в этой белизне, присмотревшись, можно было заметить коричневато-красные звездочки тычинок, тычинки плотно переплелись, словно нитки, которыми пришита пуговица.

Облака и синева вечернего неба попеременно набрасывались друг на друга, желая воцариться безраздельно. Цветы выглядели сплошной массой, их прорезающие небо контуры были расплывчатыми, сливались с цветом вечернего неба. А чернота веток и ствола казалась еще гуще, еще резче.

С каждой секундой, с каждой минутой это вечернее небо, эта сакура становились ближе. Сердцем Киёаки, пока он смотрел на них, вдруг овладела тревога.

Занавес опять словно надулся ветром – это Сатоко, двигаясь вдоль него, проскользнула в щель. Киёаки взял ее за руку, на вечернем ветру рука была холодной.

Когда он собрался ее поцеловать, Сатоко, пугливо взглянув по сторонам, отстранилась, но, оберегая кимоно от лишайника, облепившего ствол дерева, оказалась в объятиях Киёаки.

– Мне это неприятно, Киё, пусти. – Голос Сатоко звучал тихо, в нем явно слышался страх, что кто-то увидит, но Киёаки обиделся на этот, пусть и вызванный замешательством, недовольный тон.

Киёаки хотелось быть уверенным в том, что сейчас под этим деревом они оба находятся на вершине счастья. Непокойный ветер усиливал его тревогу, и он хотел убедиться в том, что и Сатоко, и он сам достигли пика исполнения желаний. Сатоко выглядела скорее уравновешенной, и он ни в чем не был уверен. Он был похож на ревнивого мужа, укоряющего жену за то, что она видела свой, а не его сон.

Ни с чем не сравнима была красота Сатоко, которая, несмотря на слабое сопротивление, с закрытыми глазами оставалась в кольце его рук. В этом лице с тонкими чертами, при всей их правильности, было что-то порочное. Киёаки в вечернем свете жаждал разглядеть, какое выражение прячется у Сатоко в уголках губ – смех или сдерживаемые рыдания, но сейчас губы были в тени ночи. Киёаки смотрел на ее ухо, наполовину скрытое волосами. С чуть подкрашенной мочкой, оно было по-настоящему изящным и походило на маленький коралловый ковчег, в который помещена крошечная статуэтка Будды. Глубоко в раковине этого ушка, погруженного

в ночной мрак, скрывалось что-то таинственное. Может быть, там душа Сатоко? Или, быть может, душа где-то за приоткрытыми губами и влажным блеском зубов?

Киёаки мучился мыслью о том, как бы ему проникнуть в душу Сатоко. Сатоко, чтобы избежать его пристального взгляда, внезапно приблизила лицо и поцеловала его. Киёаки кончиками пальцев ощутил тепло талии, которую обвивала его рука. Он воображал, как хорошо, зарывшись носом, вдыхая аромат, задохнуться в этом тепле, напоминающем об оранжерее с гниющими цветами. Сатоко не произнесла ни слова, но Киёаки в деталях представлял близкое воплощение своей мечты.

После поцелуя длинные волосы отстранившейся Сатоко совсем закрыли обтянутую формой грудь Киёаки, в облаке аромата помады для волос он смотрел, как покрываются серебром деревья сакуры по ту сторону полотнища, и резкий запах помады казался ему запахом цветов. В свете вечерней зари деревья, похожие издали на сбившиеся груды душистой овечьей шерсти, скрывали где-то в глубине под осыпавшей их серебристо-серой белизной зловещую красноту, напоминавшую о гриме покойника.

Киёаки неожиданно почувствовал, что щеки Сатоко мокры от слез. Как только его несчастный пытливый дух принялся гадать, что это – слезы счастья или горя, Сатоко оторвала лицо от его груди и, не вытирая слез, с изменившимся резким взглядом, недобро, не останавливаясь, выговорила:

– Ребенок! Ребенок! Это я о тебе, Киё. Ничего ты не понимаешь. И не хочешь понимать. Мне следовало бы объяснить тебе все напрямик. Ты считаешь себя значительным, а сам все еще младенец. Действительно, я должна была объяснить тебе. Но теперь уже поздно...

Замолчав, Сатоко наклонилась и исчезла за полотнищем, оставив его одного с израненной душой.

Что-то случилось. Это были слова, которые больше всего ранили, стрелы, метившие в самое уязвимое место, именно те слова, в которых был собран самый что ни на есть эффективно действующий яд, слова, которые причиняли муку. Киёаки должен был сразу ощутить действие этого необычайного по силе яда, должен был задуматься, как в его руках оказался чистый, но такой опасный кристалл.

И все-таки он с бьющимся сердцем, дрожащими руками, почти плача от досады, в гневе, не мог думать ни о чем, кроме своих чувств. Самым трудным делом в мире ему представлялось появиться теперь перед гостями и сохранять невозмутимый вид до тех пор, пока совсем не стемнеет и этот вечер не закончится.

20

Прием проходил гладко и завершился без каких бы то ни было заметных упущений. Поистине щедрый маркиз был доволен сам и не сомневался, что гости, конечно же, тоже довольны. Именно в такие моменты оценки жены были для него самыми убедительными.

– Их высочества весь день были в прекрасном настроении. Я думаю, они уехали вполне удовлетворенными.

– Безусловно. Они упомянули, что впервые за время траура провели такой приятный день.

– Может быть, это и преувеличение, но, по-моему, они действительно чувствовали себя именно так. Хотя все-таки с трех часов до полуночи – это слишком долго, гости, наверное, устали?

– Не думаю. План вы составили очень обстоятельный, увеселения по программе удачно следовали одно за другим. У гостей, пожалуй, просто не было времени подумать об усталости.

– Ведь и во время движущихся картин никто не спал.

– Да, все смотрели увлеченно, не отрываясь.

– А Сатоко нежная девушка. Конечно, картины трогательные, но только она одна плакала.

Сатоко во время показа картин плакала не скрываясь, маркиз впервые обратил внимание на ее слезы, когда зажгли свет.

Усталый Киёаки добрался наконец до своей комнаты. Однако сон не шел. Он открыл окно. Киёаки казалось, что с темной поверхности пруда поднялась и смотрит на него красно-черная головка черепахи...

В конце концов он позвонил и вызвал Иинума. Иинума уже окончил вечерний университет и теперь вечерами бывал дома.

Вошедший в комнату Иинума, увидев лицо молодого господина, с первого взгляда прочел, что хозяин в гневе.

Иинума с недавних пор научился читать по лицам. Прежде это было ему не по силам. Выражение лица Киёаки, с которым он сталкивался каждый день, было для него как калейдоскоп, где складываются в узор маленькие разноцветные кусочки стекла.

В результате Иинума стал по-другому судить о вещах. Он, который прежде ненавидел, считая это проявлением изнеженности, осунувшееся от страданий и печали лицо молодого хозяина, теперь даже стал находить его одухотворенным.

Определенно, меланхолической красоте Киёаки не шли счастье и радость, ее изысканность подчеркивали печаль и гнев. Когда Киёаки сердился или раздражался, в его красоте обязательно проступала какая-то беспомощная мягкость. И без того белое лицо бледнело, красивые глаза наливались кровью, кривились летящие брови, и в этом проступало страстное желание потерявшей равновесие мечущейся души уцепиться за что-нибудь, и в этой беспомощности струилась нежность, напоминая песню, плывущую над пустыней.

Киёаки молчал, поэтому Иинума без приглашения сел на стул, на котором обычно сидел. Киёаки взял лежавшее на столе меню сегодняшнего званого ужина и стал читать. Иинума знал: пробудь он в доме Мацугаэ даже не одно десятилетие, все равно ему не удастся попробовать блюда, перечисленные в этом меню.

УЖИН

ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА ЦВЕТЕНИЯ

6 апреля 2-й год Тайсё¹

Суп черепаховый с мясом

Суп куриный протертый

Рыба. Лосось отварной в белом вине под молочным соусом

Мясо. Вырезка говяжья, тушенная с грибами

Птица. Жареные перепела с начинкой

Мясо. Седло барашка, жаренное на решетке, с сельдереем

Птица. Паштет из гусиной печени (ассорти)

Птица. Петух с грибами, приготовленный в бумажном пакете

Овощи. Спаржа, стручковая фасоль

Десерт. Бланманже из сливок

Десерт. Мороженое двухслойное

Птифуры

Иинума видел, как глаза Киёаки, пробегающие меню, то загорались презрением, то наполнялись мольбой и никак не могли остановиться. Киёаки сердилась бесстрастная сдержанность, с которой Иинума ждал, когда он заговорит сам. Как легко было бы говорить, если бы Иинума, забыв про отношения хозяина и слуги, как старший брат, положил бы руку ему на плечо и спросил, что произошло. Киёаки не замечал, что перед ним сидит совсем другой Иинума. Он не знал, что этот человек, который раньше неумело навязывал ему свою любовь, сейчас нежно, по-доброму пытается коснуться неумелыми руками его слабости – мира чутких эмоций.

– Ты, наверное, не поймешь, в каком я сейчас состоянии... – в конце концов заговорил Киёаки. – Сатоко ужасно меня оскорбила. Тонем, каким не обращаются к взрослым, она твердила, что я до сих пор веду себя как глупый ребенок. Да, так и сказала. Она меня совсем выбила из колеи, швыряя мне в лицо оскорбления. Значит, в то снежное утро все было ее капризом, а из меня она сделала всего лишь игрушку... Ты что-нибудь в этом понимаешь? Может, слышал что от Тадэсины?

Иинума, помолчав, ответил:

– Да нет, ничего не припоминаю.

Но его неестественно долгая пауза задела натянутые струной нервы Киёаки.

– Врешь. Ты что-то знаешь.

– Да не знаю я ничего.

Под градом посыпавшихся вопросов Иинума рассказал то, что прежде не собирался говорить.

Научившийся читать у других в душах, но неспособный предвидеть реакцию собеседника, Иинума не знал, какой удар нанесут его слова Киёаки.

– Я узнал это под большим секретом от Минэ, она еще добавила: «Не говори никому». Но дело касается вас, так что, может быть, лучше вам это рассказать.

Ведь барышня Аякура тоже была, когда в Новый год приезжали родственники?! Каждый раз в этот день господин маркиз по-родственному беседует со всеми детьми, которые у вас в

¹ 2-й год Тайсё – 1913 год.

гостях, дает им всяческие напутствия и советы. И у барышни господин маркиз в шутку спросил: «А у тебя есть какие-нибудь вопросы?» – и барышня, тоже шутливо, ответила: «Да, очень важный. Я, дядя, хочу спросить о ваших методах воспитания».

Упомяну на всякий случай, что все это господин маркиз со смехом рассказывал Минэ в постели. – (Эти слова Иинума произнес с нескрываемой горечью.) – Минэ передала мне все как есть.

В общем, господин маркиз очень заинтересовался и даже переспросил: «Методы воспитания... Что ты имеешь в виду?» – и барышня, говорят, легко спросила то, о чем на самом деле всегда трудно говорить: «От Киё я узнала, что вы взяли его, воспитывая на практике, с собой в веселый квартал, он испытал там все удовольствия и теперь гордится тем, что стал взрослым мужчиной. Вы, дядя, действительно воспитываете сына таким аморальным способом?»

Господин маркиз расхохотался:

«Какой строгий вопрос! Совсем как запрос в палату пэров от деятелей общества нравственного исправления. Если бы это произошло на самом деле, мне пришлось бы оправдываться, но фактически тот, о ком идет речь, отверг это воспитание. Мой сын не похож на меня, какой-то запоздалый в развитии, брезгливый, и, сколько я ни звал его с собой, он решительно отказывался и только сердился. Интересно, чего это он пыжится перед тобой и придумывает то, чего не было. Но никто не скажет, что я воспитал мужчину, который с благородной девушкой, пусть даже они друзья с детства, ведет разговоры о публичных домах. Зови его, сейчас я ему задам жару. Может, это его взбодрит и он захочет попробовать, каковы эти развлечения на вкус».

Барышня всячески отговаривала господина маркиза, и тот даже пообещал не придавать значения этому разговору. Договорились, что он никому ничего не скажет; конечно же, он не утерпел и, очень веселясь, рассказал это Минэ, но приказал ей держать рот на замке.

Минэ тоже, она ведь женщина, хранить все в себе была просто не в состоянии. Она рассказала только мне, я же строго наказал ей молчать: «Это касается молодого господина, поэтому если что-то выльвет наружу, я с тобой все отношения порву. Минэ, полагаю, ни в коем случае не будет болтать».

Лицо Киёаки, слушавшего рассказ Иинумы, все больше бледнело, но теперь предметы, о которые он в тумане ударился головой, приобрели очертания, словно туман рассеялся, и глазам предстала белая колоннада.

Выходило, что Сатоко, хоть и отрицала это, все-таки прочла то злополучное письмо.

Конечно, его содержание должно было ее как-то обеспокоить, но на новогодней встрече родственников маркиз убедил ее, что это неправда, и она была на седьмом небе от счастья, опьянена «счастливым Новым годом». Теперь стало понятно, почему в тот день у конюшни Сатоко неожиданно заговорила с таким пылом.

Она тогда совсем успокоилась и смело вызвала его на свидание – любоваться снегом.

Однако этим не объяснишь сегодняшние слезы Сатоко, ее резкие слова, хотя и ясно, что она с начала до конца притворялась, не считалась с Киёаки. Как бы ее ни оправдывали, никто не сможет отрицать тот факт, что Киёаки она целовала с мстительной радостью.

«Я нисколько не сомневаюсь в том, что Сатоко, упрекая меня за то, что я ребенок, с другой стороны, хотела навсегда оставить меня в состоянии детства. Какое коварство! И тогда, когда она выказывала мне женское внимание, когда, презирая в душе, держалась уважительно, она на самом деле обращалась со мной как с ребенком».

Весь во власти гнева, Киёаки совсем забыл, что отправной точкой событий послужило то письмо, все неприятности повлекла за собой его собственная ложь.

Но он все объяснял коварством Сатоко. Она нанесла рану гордости, которую мужчина так оберегает в момент перехода от отрочества к юности. Какой-нибудь пустяк, с точки зрения взрослых (о чем хорошо свидетельствует смех маркиза), был чрезвычайно деликатной вещью

и мог сильнее всего ранить гордость человека, которого касался. Сатоко вольно или невольно растоптала ее своим неделикатным поведением. Киёаки казалось, что он просто сгорает от стыда.

Иинума в затянувшемся молчании, с жалостью глядя на бледное лицо Киёаки, еще не осознавал причиненной им боли.

Он не знал, что именно сейчас, вовсе без желания отомстить, сам нанес глубокую рану этому красивому подростку, долгие годы ранившему его. И никогда еще этот поникший головой мальчик не был Иинуме так дорог.

Помочь ему подняться, довести до постели – польются слезы, поплакать вместе с ним – на Иинуму потоком нахлынули чувства. Но, взглянув на лицо Киёаки, он не увидел и намека на слезы. Холодный пронизывающий взгляд сразу разбил фантазии Иинумы.

– Понятно. Можешь идти, я тоже лягу. – Киёаки сам поднялся со стула и подтолкнул Иинуму в сторону двери.

21

На следующий день несколько раз звонила Тадэсина. Но Киёаки не подходил к телефону.

Тадэсина позвала к телефону Иинуму и просила доложить, что барышня во что бы то ни стало хочет поговорить с молодым господином, но Иинума, у которого был строгий приказ Киёаки, не докладывал. В очередной раз трубку взяла Сатоко и сама просила Иинуму, но тот наотрез отказался.

Настойчивые звонки продолжались несколько дней подряд, даже телефонистка обратила на это внимание. Киёаки по-прежнему отказывался подходить к телефону. В конце концов Тадэсина пришла сама. Иинума вышел к ней в темный вестибюль и с твердым намерением не пускать ее в дом сел посреди передней, расправив складки штанов хакама.

– Молодого господина нет дома.

– Я не верю. Если вы не хотите меня пускать, позовите Ямаду.

– Ямада скажет вам то же самое. Вы не сможете повидать молодого господина.

– Хорошо. Впустите меня и дайте самой убедиться, что его нет.

– Комната закрыта на ключ, вы туда не сможете войти. Вы вольны войти в дом, но ваш приход, который следует скрывать в силу известных обстоятельств, станет известен Ямаде, взбудоражит весь дом, и о нем узнает господин маркиз. Вы этого хотите?

Тадэсина молча с ненавистью смотрела в лицо Иинумы, на котором и в полумраке прихожей видны были следы прыщей.

Тадэсина же на фоне поблескивающей хвои сосен, росших вокруг стоянки для экипажей и над которыми сейчас плыло яркое весеннее солнце, с ее густо запудренными морщинами на увядшем лице, казалась Иинуме рисунком на жатой ткани. Глаза Тадэсины под тяжелыми, с глубокими складками веками загорелись яростью.

– Ну ладно. Пусть даже на то есть приказ молодого господина, но суровый тон для меня вы выбрали сами. До сих пор я улаживала и ваши личные дела, но теперь увольте. Что ж, передавайте привет молодому господину.

Через несколько дней от Сатоко пришло толстое письмо.

Письмо, которое в другой раз, опасаясь Ямады, Тадэсина передала бы через Иинуму прямо в руки Киёаки, на этот раз на лакированном с росписью подносе торжественно и чинно внес Ямада.

Киёаки специально вызвал в комнату Иинуму, показал ему нераспечатанное письмо, велел открыть окно и в присутствии Иинумы бросил письмо на огонь жаровни. Иинума смотрел, как белые руки Киёаки, сторожась взвивающихся язычков пламени, движутся, словно маленькие зверьки, внутри высокой и узкой цилиндрической жаровни, раздувая пламя, готовое погаснуть под тяжестью плотной бумаги, и, казалось, наблюдал изысканное преступление. Сам бы он мог сделать это лучше, но не лез с помощью, боясь резкого отказа. Киёаки позвал его только как свидетеля.

От едкого дыма из глаза Киёаки выкатилась слезинка. Прежде Иинума мечтал о суровом воспитании для Киёаки, о понимании, достигнутом ценою слез, но сейчас эта скатившаяся на его глазах по разгоряченной пламенем щеке слезинка была невыносимой для Иинумы. Ну почему с ним обращаются так, что в присутствии Киёаки он всегда ощущает собственное бессилие?

Неделю спустя маркиз рано вернулся домой, и Киёаки после долгого перерыва ужинал вместе с родителями в главном доме.

– Как время летит! Вот и тебе на будущий год пожалуют пятый ранг, сможешь тогда бывать во дворце. Дома тоже заставим всех обращаться к тебе по чину.

Маркиз был в прекрасном расположении духа. Киёаки в душе проклинал приближающееся совершеннолетие, он и сейчас в девятнадцать лет слишком утомлен и измучен взрослением, может быть, ему отравляет душу далекое присутствие Сатоко. Ушло то чувство, когда, как в детстве, считаешь по пальцам, сколько дней осталось до Нового года, не в силах сдерживать нетерпение в желании стать взрослым. Сейчас слова отца вызвали у него дрожь.

Ужин, хотя вся семья очень редко собиралась для этого, проходил с соблюдением раз и навсегда расписанных ролей – спокойные манеры матери, с ее печально опущенными бровями, и прекрасное настроение нарочито бесцеремонного, с побагровевшим лицом, маркиза.

Киёаки удивился, заметив, что отец с матерью переглядываются, только что не подмигивают друг другу: между супругами вряд ли могло существовать что-то вроде заговора.

Киёаки сначала посмотрел на мать, поэтому она слегка вздрогнула и в замешательстве промолвила:

– Послушай, знаешь, это немножко неприятная вещь, не то чтоб прямо неприятная, ну, мы просто хотели тебя спросить...

– Что спросить?

– Дело в том, что Сатоко опять сделали предложение. Это достаточно сложная история, и она не сможет тотчас же отказать, как раньше. Как всегда, не поймешь, что она чувствует, но я думаю, она не будет вести себя по-прежнему, когда отказывала сразу. И родители тоже склонны принять предложение. Конечно, это твое дело, но вы с Сатоко дружите с детства, так вот: у тебя ведь нет никаких особых возражений по поводу ее замужества? Скажи просто, как ты сам чувствуешь, если у тебя они есть, то, я думаю, об этом следует сказать отцу.

Киёаки, не отрываясь от еды, без всякого выражения резко бросил:

– Никаких возражений. Меня это вообще не касается.

После непродолжительного молчания маркиз завел прежним веселым, ничуть не изменившимся тоном:

– А я опять о том же. Если, допустим, тебя что-то задевает, так ты скажи.

– Да ничего не задевает.

– Поэтому я и говорю «если». Нет так нет. Мы в определенном долгу перед их семьей, поэтому речь идет о том, чтобы сделать то, что в наших силах, помочь, чем мы сможем, нужно взять на себя какие-то расходы... В следующем месяце день поминования, но если Сатоко примет предложение, то, наверное, будет занята и в этом году не сможет приехать на церемонию.

– В таком случае, может, ее лучше и не приглашать.

– Ты меня удивляешь. Не знал, что вы так рассорились, прямо терпеть друг друга не можете. – Маркиз громко рассмеялся и прекратил разговор.

Для родителей Киёаки был загадкой, они и не пытались постичь его чувства, так отличавшиеся от их собственных эмоций, потому что при каждой своей попытке попадали в тупик. Теперь родители в определенной степени были даже раздосадованы воспитанием в семье Аякура, которой они поручали своего сына. Может быть, утонченность знати, которой они постоянно восхищались, означает всего лишь неопределенность устремлений. Издали это красиво, но видеть результаты такого воспитания в собственном сыне, который тут, рядом, оказалось все равно что очутиться перед горой загадок. Чувства, движения души у родителей были окрашены одним ярким знойным цветом, а душа Киёаки напоминала многослойный наряд придворной дамы минувших веков: цвет опавших листьев растворялся в алом, алый – в зелени бамбука, и невозможно было определить, где какой; маркиза ужасала одна мысль об этом. Его утомляло само созерцание холодной, сдержанной красоты сына, который казался ко всему равнодушным. Маркиз не мог припомнить, чтобы его самого в отрочестве когда-нибудь мучили неясные, словно подернутые рябью, таившиеся в глубине души зыбкие чувства.

Немного спустя маркиз произнес:

– Теперь о другом: в ближайшее время придется распрощаться с Иинумой.

– Почему?

Впервые на лице Киёаки отразилось неподдельное изумление.

– Он у нас долго служил, закончил университет, ты же на будущий год уже будешь совершеннолетним, все это удобный момент, но главное – о нем ходят не очень хорошие слухи.

– Какие слухи?

– О его распущенности. По правде говоря, у него связь со служанкой Минэ. В прежние времена за такое отрубали голову.

Самообладание матери, слушавшей этот разговор, было великолепно. В этом вопросе она была полностью на стороне мужа.

Киёаки снова спросил:

– От кого же вы это узнали?

– Да не важно от кого.

Киёаки сразу подумал о Тадэсине.

– В прежние времена за это отрубили бы голову, но в нашем обществе это вряд ли пройдет. К тому же он приехал по рекомендации из моих родных мест, в родстве с тамошним директором школы, который каждый раз приезжает на Новый год. Чтобы не портить ему будущее, самое лучшее – мирно выставить его из дома. Кроме того, я хочу сделать максимум. Отпущу и Минэ, и они, если захотят, смогут пожениться, подыщут и работу для Иинумы. Во всяком случае, моя цель – убрать его из дома, поэтому самое главное – все сделать так, чтобы потом не пожалеть. Много лет мы поручали ему заботиться о тебе, в этом плане к нему нет никаких претензий.

– Как вы великодушны! Столько для него сделать... – проговорила жена.

В этот вечер Киёаки виделся с Иинумой, но ничего ему не сказал.

Лежа на спине, он перебирал в голове разные мысли и вдруг осознал, что теперь остается в полном одиночестве. Друзей у него – только Хонда, но Хонде он не мог открыть всего.

Киёаки снова видел сон. Уже во сне он сообразил, что никак не сможет записать его в свой дневник. Таким он был запутанным, таким бессвязным.

Во сне пребывали разные лица. Вот мелькнул заснеженный казарменный плац, и тут же Хонда в офицерской форме. Стаю танцующих на снегу павлинов резко сменили сиамские принцы: стоя по бокам Сатоко, они надевали ей на голову золотую корону с длинными висячими украшениями. Ссорятся Иинума и Тадэсина. И вот они, сцепившись в клубок, катятся в глубокую пропасть. Приезжает в коляске Минэ, ее почтительно встречает его мать. И вот уже сам Киёаки, покачиваясь на плоту, плывет по безбрежному океану.

Во сне Киёаки думал о том, что сны теснят друг друга, переходят в реальность, потому что он никак не может окончательно погрузиться в сон.

22

Третьему сыну принца Тоина, его высочеству принцу Харунорию, было двадцать пять лет, он только что получил чин капитана кавалерии дворцового караула, был человеком одаренным, щедрым, отец возлагал на него большие надежды. Такой человек в выборе невесты не полагался на чье-либо суждение; шло время, а предлагаемые ему невесты как-то не вызывали в его душе отклика. И тогда, когда и отец, и мать уже отчаялись, маркиз Мацугаэ пригласил их на праздник цветения сакуры и без всякого умысла представил им Сатоко. Их высочествам она очень понравилась, в частном порядке они высказали пожелание получить ее фотографию, и семья Аякура сразу же преподнесла им фотографию Сатоко в парадной одежде, его высочество принц Харунорию, когда ему показали портрет, внимательно рассмотрел его без обычных в таких случаях язвительных замечаний. Не оказался минусом даже тот факт, что Сатоко уже двадцать один год.

Маркиз Мацугаэ в благодарность за воспитание своего наследника уже давно стремился помочь в возрождении пришедшего в упадок дома Аякуры. Самый быстрый путь – это, не принадлежа к императорскому роду, породниться с семьей принца, воспользовавшись браком дочери; Аякуры из рода Урин с хорошей родословной имели для этого вполне подходящее происхождение. Предметом заботы в данном случае было только то, что семья Аякура была стеснена в средствах, а расходы на свадьбу предстояли огромные: косметика, подарки по случаю Нового года и дней поминовения усопших, подарки во время визитов в дом принца, которые будут еще долго продолжаться. Все это маркиз был готов взять на себя.

Сатоко равнодушно наблюдала за всей происходящей вокруг нее суетой. В апреле было совсем мало погожих дней, под темным небом весна почти не чувствовалась, пейзаж походил на летний. Когда Сатоко как-то посмотрела из низкого окна простой комнаты самурайской усадьбы, где великолепие являли только ворота, в большой неухоженный сад, то заметила, что камелии уже отцвели и из темной плотной листвы выглядывают новые почки, красноватые почки прилепились и на концах нервно подрагивающих колючих веточек дерева граната. Это взбухли будущие цветы и листья, и весь сад, казалось, поднялся на цыпочки и выпрямил спину. Сад как бы подрос.

Тадэсина сразу заметила, что Сатоко стала молчаливее, часто погружается в задумчивость, но, с другой стороны, она спокойно воспринимала указания отца и матери и послушно делала то, что ей говорили, не возражала, как раньше, а принимала все со слабой улыбкой. За этой покорностью Сатоко скрывала огромное, как хмурое, в тучах небо, безразличие.

В один из дней наступившего мая Сатоко получила приглашение на чай в усадьбу принца Тоина. Обычно в это время уже приходило приглашение от маркиза Мацугаэ на праздник поминовения в храме, но сейчас приглашение, по поводу которого Сатоко больше всего волновалась, не пришло, вместо него принес и передал слуге пригласительное письмо управляющий делами принца.

Это выглядевшее вполне естественным событие втайне было очень детально разработано. Немногословные родители тайком окружили место на полу, где стояла Сатоко, сложными амулетами-табличками с надписями, словно намереваясь ее запечатать.

На чай к принцу, конечно, были приглашены и граф Аякура с женой. Если бы за ними присылали экипаж, пришлось бы его с пышностью встречать, поэтому маркиз одолжил свою коляску. Усадьба принца, сооруженная в 40-й год Мэйдзи², находилась в окрестностях Иокогамы, даже простую поездку туда в коляске можно было назвать приятной экскурсией, позволявшей увидеть редкие здания.

² 40-й год Мэйдзи – 1907 год.

В этот день наконец наступила хорошая погода, и граф с женой радовались доброму предзнаменованию. Везде вдоль дороги, продуваемой сильным южным ветром, развевались на длинных шестах полотнища, изображающие карпов. Число их по количеству сыновей в доме было самое разное: черные большие карпы соседствовали с маленькими красными, пять карпов на шесте выглядели внушительно, и хотя развеваемые ветром изображения были уже полинявшими, в доме у подножия горы граф из окна кареты насчитал десять полотнищ.

– Какой обильный дом, – сказал граф с улыбкой. Эта шутка показалась Сатоко вульгарной, несвойственной отцу.

Повергало в изумление буйство молодой зелени, горы изобиловали ее оттенками – от почти желтого до совсем темного, и среди всего этого сверкающие молодой листвой клены казались пятнами червонного золота.

– Ой, какая-то пылинка. – Мать неожиданно остановила взгляд на щеке Сатоко. Когда она собиралась смахнуть ее платком, Сатоко отпрянула, и пылинка на щеке мгновенно исчезла. Мать поняла, что на лицо дочери упала тень от пятнышка на стекле.

Сатоко даже не позабавила ошибка матери, она только чуть улыбнулась. Ей было неприятно, что сегодня ее лицу уделяется столько внимания, что его проверяют, как вытасченный из ящика комода шелк.

Чтобы уберечь прически, окна плотно закрыли, и теперь в коляске было жарко, как в печке. Постоянное покачивание, отражение молодой зелени гор в воде, которой залиты рисовые поля... Сатоко перестала понимать, чего же она сама с таким волнением и нетерпением ждет от будущего. С одной стороны, она с отчаянной смелостью поддалась рискованному желанию отдаться на волю волн, которые несут тебя к неизбежному, с другой – чего-то ждала. Сейчас у нее еще есть время. Еще есть. Она питала надежду: а вдруг придет решение о помиловании, но, с другой стороны, ненавидела свои ожидания.

Усадьба принца Тоина раскинулась на высоком обрыве, откуда видно было море; в европейский дом, внешне похожий на дворец, вела мраморная лестница. Семейство Аякура, встреченное управляющим, вышло из экипажа, сразу же раздались возгласы восхищения – гости увидели бухту с кораблями и лодками.

Чай был подан в большой южной галерее с видом на море, заполненной тропическими растениями, у входа по бокам, как стражи, стояли огромные изогнутые бивни, подаренные королевским домом Сиама.

Здесь гостей приветливо встретили хозяева, пригласили садиться. Чай по-английски был подан в серебряном чайнике, украшенном гербом-хризантемой. На чайном столике выстроились блюда с маленькими сэндвичами, бисквитами, пирожными.

Ее высочество вспомнила об удовольствиях недавнего праздника цветения и завела разговор о маджане и любимых ею музыкальных сказках. Граф, поддерживая молчавшую дочь, сказал:

– Для нас она еще ребенок, мы не учили ее играть в маджан.

Но ее высочество с улыбкой заметила:

– Вот как, а мы, бывает, играем целый день.

Сатоко не решилась сказать, что играет в шахматы и в любимую дома игру сугороку.

Сегодня принц отдыхал, поэтому был в пиджаке. Подведя графа к окну, он, как ребенку, объяснял тому, указывая на корабли в гавани, что вон то – английское грузовое судно с гладкой верхней палубой. А то – французское – типа шельтердек с навесной палубой.

С первого взгляда атмосфера встречи выглядела так, словно принц с женой затруднялись в выборе темы для беседы. Не важно, о чем говорить: о спорте ли, вине ли, только бы найти общий интерес, но граф Аякура только слушал с улыбкой, а Сатоко казалось, что привитая ей отцом утонченность никогда не была столь бесполезна, как сегодня. Граф был чело-

веком, который мог вставить оригинальную шутку, не имеющую отношения к теме разговора, но сегодня он явно от этого воздерживался.

Принц несколько раз взглядывал на часы и вдруг, будто вспомнив, сказал:

– Сегодня, к счастью, Харунорио сможет освободиться от службы и приехать домой, он хоть и мой сын, но какой-то неотесанный, не обращайтесь на это внимания. Это все внешнее, зато он добрый.

Вскоре шум в вестибюле возвестил о прибытии младшего принца.

Принц Харунорио, гремя саблей, стуча сапогами, в военной форме, придававшей ему мужественный вид, появился в галерее и отдал честь отцу. Сатоко в этом почудилась какая-то напыщенность, но было очевидно, что отцу нравится подобная парадность, и Сатоко поняла, что и сын явился сюда в таком виде, отвечая его желанию. К тому же другие дети в семье были физически слабы, обойдены здоровьем, и отец давно потерял всякую надежду на них.

Подобным способом принц, видно, старался скрыть свое смущение от первой встречи с красавицей Сатоко. И, произнеся обязательные при знакомстве фразы, потом почти не смотрел на нее.

Не особенно высокий, но прекрасно сложенный принц говорил очень живо, вежливо, разумно и, несмотря на свою молодость, с явным достоинством; отец, прищурившись, наблюдал за ним. Может, потому и ходили упорные слухи о том, что у импозантного отца в важные моменты недостает силы воли.

Принц Харунорио увлекался коллекционированием пластинок с европейской музыкой, у него по этому поводу было, видно, свое мнение, но мать сказала: «Дай нам что-нибудь послушать», – и тот, коротко кивнув, направился к стоявшему в комнате граммофону. Сатоко машинально проводила его глазами: когда он большими шагами двигался из галереи в комнату, по голенищам до блеска начищенных черных сапог скользнул яркий свет из окна, и почудилось, что голубое небо за окном легло на них синим гладким осколком. Сатоко, прикрыв глаза, ждала, когда начнется музыка. Тревога ожидания затягивала что-то в душе черной тучей, и едва слышный звук, с которым игла коснулась пластинки, отозвался в ушах громом.

Между ней и молодым принцем несколько раз возникал ничего не значащий разговор, и вечером семья Аякура уехала. Примерно через неделю их посетил управитель принца и имел с графом долгий деловой разговор. В результате было составлено официальное письмо-запрос в ведомство по титулованным особам, этот документ Сатоко тоже видела краешком глаза. Он был следующего содержания:

Его высочество принц Харунорио осведомляется по поводу возможности брака со старшей дочерью обладателя второго ранга, кавалера ордена третьей степени графа Аякуры – Сатоко.

Покорнейше просим изложить настоящую просьбу Его императорскому величеству.

2 год Тайсё мая 12 числа

Управитель принца Тоина Сабуро Ямаути

Министру по делам двора

Через три дня от министра по делам двора пришло следующее уведомление.

Управляющему делами при дворе сообщено:

Его высочество принц Харунорио испрашивает разрешения на брак со старшей дочерью обладателя второго ранга, кавалера ордена третьей степени графа Аякуры – Сатоко.

Высочайшее решение будет Вам передано.

*2 год Тайсё мая 15 числа
Министр по делам двора
Управителю принца Тоина*

Запрос был сделан, и теперь императору доложат просьбу о разрешении на брак.

23

Киёаки перешел в последний класс высшей ступени школы Гакусюин. На будущий год осенью поступать в университет, поэтому некоторые из его соучеников начинали уже сейчас за полтора года готовиться к вступительным экзаменам. Киёаки нравилось, что Хонда так не делает.

Казарменная система, возрожденная в свое время генералом Ноги, в школе строго соблюдалась в качестве основы воспитания, но ученикам со слабым здоровьем разрешалось жить дома, и ученики, которых, как Хонду и Киёаки, родители решили избавить от жизни в общежитии, обзавелись медицинскими справками о болезнях. Вымышленным недугом у Хонды была болезнь сердечного клапана, у Киёаки – хронический катар верхних дыхательных путей. Они часто зубоскалили по поводу своих мнимых болезней: Хонда подражал тяжелому дыханию сердечника, Киёаки притворно кашлял.

Никто в их болезни не верил, и не было необходимости кого-то в них убеждать, исключение составляли только занятия по военной подготовке: вернувшиеся с японско-русской войны унтер-офицеры на своих занятиях всегда официально и зло обращались с ними как с больными. Во время строевой подготовки они отпускали ядовитые замечания типа: «Ну на что стране эти калеки, которые не могут даже жить в казарме?»

Сиамские принцы жили в общежитии, поэтому Киёаки, сочувствуя им, часто навещался с гостинцами к ним в комнату. Ставшие ему почти родственниками принцы попеременно жаловались на ограничение свободы. Бесчувственные, грубые соседи, конечно, не могли быть друзьями этим живым, веселым юношам.

Хонда некоторое время не обращал на друга внимания. Безразлично встретил его, вернувшегося вдруг как ни в чем не бывало к старому приятелю. Киёаки, казалось, забыл, что до сих пор он игнорировал Хонду. Хонда смотрел на Киёаки с сомнением: человек в новом семестре вдруг изменился, им овладело какое-то беспричинное веселье, но Хонда, конечно, ничего не спросил, а Киёаки ничего не рассказал.

Киёаки вообразил, что сейчас это был для него единственно доступный способ прийти к товарищу, не открывая ему сердца. Так можно было не опасаться, что и в глазах Хонды ты будешь выглядеть глупым ребенком, которого водила за нос женщина; Киёаки понимал, что спокойствие – это то условие, при котором он мог непринужденно, даже весело вести себя с Хондой. Сознание того, что именно Хонде он не хочет сообщать о крахе своих иллюзий, только перед Хондой хочет выглядеть свободным, с лихвой восполняло те неудобства, которые он много раз испытывал в других ситуациях, когда ему приходилось быть скрытным, и это казалось Киёаки лучшим свидетельством дружбы.

Киёаки сам дивился собственной безмятежности. Отец с матерью абсолютно бесстрастно рассказывали сыну о том, как продвигаются переговоры между семьями принца и Аякуры, с удивлением передавали разговоры о том, что эта неуступчивая барышня во время специально организованной первой встречи с претендентом в женихи словно окаменела и все молчала. Конечно, Киёаки не сказали о замеченной всеми печали Сатоко.

Человек, обладающий бедным воображением, получает пищу для размышлений непосредственно из событий реальной жизни, но Киёаки как человек, наделенный богатым воображением, был склонен воздвигать над реальностью чертог фантазий и плотно закрывать в нем окна, чтобы не видеть реальности.

В ушах у него еще звучали слова матери: «Ну, теперь следует ждать высочайшего решения». В словах «высочайшее решение» ему явственно слышался скрежет того замка, который он сам навешивает на дверь, перегораживающую длинный темный коридор маленького, но прочного золотого замка.

Киёаки прямо любовался собой – так вот спокойно выслушивающим рассказы родителей. Он знал о своей нечувствительности к боли и полагался на это. «Я намного неуязвимее, более неуязвим, чем даже могу себе представить».

Прежде он видел причину своей отчужденности в примитивности чувств отца и матери, но сейчас чувствовал радость оттого, что ощутил себя в кровном родстве с ними, обнаружил, что не отличается от них. Он не из той семьи, которую легко ранить, а из той, что сама наносит раны!

Мысль о том, что с каждым днем Сатоко все больше удаляется от него и скоро станет совсем недостижимой, доставляла неопишное наслаждение. Он молился о том, чтобы она отдалилась, как молятся, провожая глазами удаляющийся тенью по воде огонь фонарика, спущенного вечером на воду в память об усопших, и это отдаление Сатоко питало его собственные силы.

Во всем огромном мире сейчас не было ни единого свидетеля его переживаний. Это позволяло Киёаки обманывать себя. «Молодой господин, я хорошо понимаю ваше состояние. Доверьтесь мне». Глаза, которые так говорили, эти преданные глаза теперь от него убрали. К радости, что он избавился от лжи, источаемой Тадэсиной, добавлялась радость того, что он смог избавиться от преданности Иинумы, обволакивающей так плотно, что казалось, она царапает кожу. Все, что его обременяло, исчезло.

Щедро обеспеченное отцом увольнение Иинумы Киёаки считал заслуженным и этим оправдывал свою черствость – он радовался, что произошло это из-за Тадэсины, сам же он не нарушил данного когда-то обещания: «Я ничего не скажу отцу». Вот они – благодетели холодного, как кристалл, изменчивого сердца.

Иинума покидал дом... Придя в комнату Киёаки попрощаться, он плакал. В этих слезах Киёаки прочитал многое. Казалось, это должно было бы только усилить впечатление от преданности Иинумы, а Киёаки было неприятно.

Иинума так ничего и не сказал, только плакал. Этим молчанием он словно собирался что-то передать Киёаки. Их длившиеся семь лет отношения начались для Киёаки весной, когда ему исполнилось двенадцать лет, этот возраст он чувственно помнил очень смутно, ему казалось, что, сколько он себя помнит, Иинума был тенью его отрочества, тенью, одетой в грязновато-синюю ткань. Его постоянные недовольство, раздражение, несогласие тем тяжелее ложились на сердце Киёаки, чем безразличнее он относился к ним внешне. Но с другой стороны, благодаря именно этим, читаемым в холодных глазах Иинумы чувствам сам Киёаки избежал прилипчивых ощущений недовольства, ярости, нигилизма, от которых трудно уберечься в отрочестве. То, чего Иинума хотел от Киёаки, пылало у Иинумы внутри, и чем больше он старался добиться своего, тем дальше Киёаки уходил от этого – наверное, это было вполне естественно.

Когда же Иинума выбрал в их отношениях преданность, когда его давящая сила исчезла, Киёаки в этот момент, похоже, сделал первый внутренний шаг на пути к сегодняшнему расставанию. Таким образом, господин и слуга и не должны были понять друг друга.

Киёаки с некоторой брезгливостью и разочарованием отметил, что из выреза темно-синей одежды на груди у стоящего с потупленной головой Иинумы выглядывают спутанные волосы, которые словно движутся в лучах заходящего солнца. Навязчивая преданность была укрыта такой толстой, тяжелой, раздражающей плотью. Само его тело было укором для Киёаки, даже лоснящиеся, покрытые угрями щеки нагло блестели, как грязь, и говорили о существовании Минэ, которой Иинума верит и вместе с которой покидает дом. Какая несправедливость! Оставляя обманутого женщиной молодого хозяина одного, слуга бодро покидает дом, доверившись опять-таки женщине. Киёаки сердило еще и то, что Иинума безусловно убежден, что сегодняшнее прощание есть продолжение его преданности.

Однако Киёаки как человек воспитанный формально проявил участие:

– Ну, освободившись от здешней службы, ты, наверное, женишься на Минэ?

– Да, все благодаря заботам господина маркиза.

– Сообщи мне, когда это будет. Я от себя тоже пошлю тебе подарок.

– Большое спасибо.

– Когда ты решишь, где пристать, отправь мне письмо со своим адресом, может быть, я вас как-нибудь навещу.

– Если вы, молодой господин, придете к нам в гости, это будет самым радостным событием в нашей жизни. Но мы, наверное, не сможем вас принять как положено в маленьком грязном домике.

– Пусть это тебя не волнует.

– Да. Вы только так говорите... – И Иинума опять заплакал. Потом достал из-за пазухи грубую мятую бумагу и высморкался.

Киёаки говорил то, что действительно следует говорить в подобном случае, слова легко слетали у него с языка, и это явно свидетельствовало о том, что человека больше трогают слова, за которыми не стоят чувства. Киёаки, который жил только чувствами, теперь по необходимости постигал науку управления ими, он должен был научиться пользоваться ими тогда, когда это нужно. Он облачился в латы из чувств и помнил, что эти латы следует полировать.

Этот девятнадцатилетний юноша, не испытывая ни страданий, ни волнений, освободившись от тревоги, чувствовал себя холодным и всемогущим. Что-то оборвалось. После ухода Иинумы он из открытого окна стал смотреть на причудливую тень, которую окутанная свежей зеленью Кленовая гора бросала на пруд.

Молодая листва вяза у дома так загустела, что из окна, если только не вытянуть шею, не увидишь, где низвергается ступенчатый водопад. Пруд тоже был в зелени: значительная часть его ближе к берегу покрылась бледно-зелеными листьями кувшинок, желтых кубышек еще не было заметно, но на всем пространстве под выгнутым каменным мостом – из зарослей листьев, похожих на острые зеленые мечи, поднимались белые и лиловые цветы ирисов. Внимание Киёаки привлек жук-носорог, который остановился было у оконной рамы, а потом не спеша стал вползать в комнату. Жук, у которого по спине на вытянутых полукружьями, сверкающих зеленью и золотом доспехах тянулись две яркие пурпурные полосы, медленно шевеля усиками, потихоньку двигался вперед, великолепно безмятежный, до смешного тщательно переставляя свои зазубренные лапки. Киёаки был весь поглощен созерцанием этого жука. Жук в своей сверкающей красоте понемногу подползал к Киёаки, и тому почудилось, что это абсолютно бессмысленное движение наглядно, изящно учит его обращаться со временем, ежесекундно, безжалостно изменяющим реальность. Что делать с собственными чувствами, которые укрывают его, как доспехи? Обладают ли они, подобно панцирю этого жука, вместе с данным им природой великолепием, нужной силой, чтобы противостоять внешнему миру?

Для Киёаки в этот момент почти все – и заросли деревьев вокруг, и синее небо, и облака, и черепица на крыше – вращалось вокруг этого жука, жук казался ему центром, ядром Вселенной.

В этом году атмосфера храмового праздника в чем-то была иной.

Во-первых, уже не было Иинумы, который заранее начинал уборку, один брал на себя заботу об алтаре и стульях. Эта часть работы легла теперь на плечи Ямады, но у того душа не лежала к работе, которая до сих пор не входила в его обязанности и к тому же перешла к нему от значительно более молодого.

Во-вторых, не была приглашена Сатоко. И хотя отсутствовал только один человек из приглашенных родственников, более того, Сатоко на самом деле не являлась родственницей, но среди гостей теперь не было ни одной красивой женщины. Похоже, что и богам такие перемены были не по вкусу: в разгар праздника небо потемнело, громыхнули раскаты грома, во время

молитвы священника женщины в предчувствии дождя были беспокойны, но, к счастью, в тот момент, когда жрицы в алых юбках обносили всех чашечками с церемониальным sake, небо прояснилось. И тогда солнечные лучи заставили покрыться бисеринками пота густо набеленную кожу на склоненных шеях, кожу, белым колодцем уходящую вглубь ворота кимоно. Навес, оплетенный гроздьями глициний, давал глубокую тень. И задние ряды присутствовавших блаженствовали в этой тени.

Будь здесь Иинума, он, наверное, был бы недоволен атмосферой праздника, которая говорила о том, что с каждым годом почтение к предку, скорбь по нему ослабевают. Особенно это стало чувствоваться после смерти императора Мэйдзи, когда отодвинутый вглубь истории отец нынешнего маркиза все больше казался далеким богом, который не имеет никакого отношения к нынешнему миру. Среди гостей было несколько очень пожилых людей, прежде всего вдова, бабушка Киёаки, но и их слезы скорби давно высохли.

И перешептывания женщин во время длинной церемонии год от года становились громче, и маркиз не пресекал их решительным образом. Сам маркиз теперь воспринимал этот праздник как бремя и хотел бы сделать его чуть более легким, не таким чопорным. Он давно обратил внимание на одну из жриц с чертами лица, характерными для жительниц Рюкю, на котором густо наложенная косметика выглядела тем не менее свежей; во время церемонии ее зоркие черные глаза были все время сосредоточены на сосуде со священным sake; когда церемония закончилась, она быстро подошла к вице-адмиралу, младшему двоюродному брату маркиза, большому любителю выпить, – похоже, он отпустил по ее поводу какую-то тонкую шутку и сам громко засмеялся, привлекая всеобщее внимание.

Жена маркиза, которая знала, что ее печальное лицо с опущенными к вискам бровями весьма приличествует церемонии, почти не меняла его выражения. Киёаки же остро чувствовал атмосферу, насыщенную женщинами: женщинами из их семьи, которые, хоть и перешептывались и постепенно теряли сдержанность, собрались здесь в конце мая в тени глициний на церемонию поминовения; женщинами-служанками, чьих имен он даже не знал, на лицах которых было написано полное безразличие, даже приличествующая случаю печаль отсутствовала; они собрались здесь просто потому, что их собрали, и вскоре опять разбредутся; женщинами с белыми лицами, выражавшими удивление, вечное недовольство тем, что все идет не так, изумление... Здесь стоял запах женщин, к которым принадлежала и Сатоко. И ощущение ее незримого присутствия невозможно было изгнать даже гладкой плотной зеленью ветки священного дерева, к которой прикреплялись чистые полоски белой бумаги.

24

Киёаки утешал сам факт утраты. Его сердце было так устроено: куда лучше знать, что ты действительно потерял, чем бояться потерять.

Он потерял Сатоко. Ну и ладно. За это время улеглась даже гложущая его ярость. С эмоциями было то же, что со свечой: ее зажгли, стало светло и весело, но воск ее тела плавится от огня, задули огонь, она осталась одна в темноте, но зато не боится, что тело ее что-то подточит. Скупое трата эмоции, Киёаки впервые понял, что одиночество для него означает покой.

Приближался сезон дождей. Киёаки, как больной, который в период выздоровления с опаской пробует свои силы, умышленно погрузился в воспоминания о Сатоко, для того чтобы испытать свое сердце. Он достал альбом и рассматривал старые фотографии: вот они в детстве стоят в белых фартучках под большим деревом в усадьбе Аякуры, на фотографии Киёаки больше понравился себе сам, уже тогда он был выше Сатоко ростом.

Граф, мастер каллиграфии, с энтузиазмом объяснял им старый тип японского письма, восходящий к школе мастера Тадамита Фудзивара из монастыря Хоссёдзи, и однажды, когда детям надоели упражнения, желая развлечь их, разрешил им по очереди написать на свитке по стиху из сборника ста поэтов.

Киёаки написал стихотворение Минамото Сигэюки: «Как ветер жесток, / Бьются волны в недвижные скалы, / Теперь, в ненастливый час», а рядом рукой Сатоко было выведено стихотворение Анакатоми Ёсинобу: «Стражей Ограды / Светло пылают огни / Ночь напролет, / Но наступает день, / И я с ними вместе гасну».

Сразу заметно было, что часть Киёаки написана детской рукой, а у Сатоко рука двигалась свободно, умело, никак не подумаешь, что писал ребенок. С тех еще давних пор Киёаки редко касался этого свитка, ведь в нем он видел злосчастную разницу между собственной незрелостью и опередившей ее лишь на шаг зрелостью Сатоко. Но теперь, беспристрастно глядя на эти упражнения кистью, он видел, что даже в его детских каракулях проступали порывистые движения мальчишки, и это составляло идеальный контраст с текучим изяществом кисти Сатоко. Но это еще не все. Когда он вспомнил, как без страха опускал на чудесную бумагу, словно припорошенную золотой пылью с разбросанными по листу сосенками, полный туши конец кисти, в памяти встала вся картина. Пышные черные волосы Сатоко были тогда острижены, но не коротко. Когда она, склонившись, писала на свитке, Киёаки не мог насмотреться на милый сосредоточенный профиль: в избытке рвения, не обращая внимания на упавшие вперед волосы, она сквозь них всматривалась в то, что делала, обхватив маленькими тонкими пальчиками кисть, поблескивающие ровные зубки безжалостно прикусили нижнюю губу, – линия носа была еще детской, но уже заметной. И еще – будоражащий запах темной туши, шорох кисти, бегущей по бумаге, который напоминал шум ветра, перебирающего листья низкого бамбука, странные названия «море» и «холм» у частей тушечницы, далекое вечернее, без единой волны море, где не видно дна у резко обрывающегося вглубь берега и где застоявшаяся чернота и разбросанные пятна выцветшей туши похожи на рассеянный лунный свет. «Вот так, я могу вполне спокойно вспоминать прошлое», – с гордостью думал Киёаки.

Сатоко не приходила даже во сне. Раз ему почудилось: вот мелькнула ее тень, но та женщина сразу повернулась спиной и исчезла. В ночных видениях часто появлялась широкая, безлюдная при свете дня улица.

Паттанадид в школе обратился к Киёаки с просьбой. Он хотел, чтобы Киёаки принес отданный ему на хранение перстень.

Нельзя сказать, чтобы в школе уж так хорошо отзывались о сиамских принцах. Они, конечно, еще не говорили свободно по-японски, хотя в учебе им это не мешало, но они совсем

не понимали дружеских подшучиваний, нервничали и в конце концов стали держаться особняком. Их постоянная улыбка казалась грубым ученикам всего лишь странностью.

До Киёаки доходили слухи, что мысль поселить принцев в общежитии принадлежала министру иностранных дел, но надзирателю было трудно обращаться с такими знатными гостями. Как высоким особам, им предоставили отдельную комнату, поставили туда лучшие кровати, надзиратель приложил все силы, чтобы у них установились дружеские отношения с другими обитателями общежития, но время шло, а принцы словно заперлись в собственной крепости, часто даже не выходили на утреннее построение и зарядку, что еще больше углубляло пропасть между ними и другими учениками.

Это было следствием целого клубка причин. На подготовку к учебе после приезда в Японию принцам отвели меньше полугода, время, явно недостаточное для того, чтобы они могли присутствовать на уроках, шедших на японском языке, да и в эти полгода принцы не так уж налегали на занятия. Даже на уроках английского языка, где они должны были бы блистать, принцев постоянно затруднял перевод.

Перстень, который маркиз Мацугаэ принял на хранение от принца Паттанадида, лежал в личном сейфе маркиза в банке Ицуи, поэтому Киёаки должен был специально съездить за ним с отцовской печатью. Вечером он опять вернулся в школу и пошел к принцам в общежитие.

День был душный, мрачный, заставляющий постоянно вспоминать, каково небо без дождя; ясное лето, которого так ждали принцы, казалось, вот-вот наступит, а его все не было, словом, стоял печальный день, будто олицетворявший раздражение принцев. Одноэтажное грубое деревянное здание общежития тонуло в темноте деревьев.

На спортивной площадке еще раздавались крики: там тренировались регбисты. Киёаки терпеть не мог эти обязательные дружные выкрики, вырывавшиеся из молодых глоток. Грубая дружба, новое поколение, нескончаемые шутки и каламбуры, преклонение перед талантом Родена и мастерством Сезанна... Все это у играющих ребят лишь сопутствует выкрикам в традиционном кэндо или в новых видах спорта. Их глотки всегда налиты кровью, их юность наполнена запахом бронзовых листьев наград, они ни в чем не ведают сомнений.

Киёаки подумал: «Как же принцы живут здесь, не зная толком языка, буквально зажатые между старым и новым?» – и, свободный от забот, великодушный, позволил себе посочувствовать им. Вот теперь он остановился перед старой дверью с именами принцев в глубине темного обшарпанного коридора, даром что комната считалась лучшей, и легонько постучал.

Встретившие Киёаки принцы только что не молились на него. Из них Киёаки больше нравился принц Паттанаидид, или Тьяо Пи, очень серьезный в отношениях, в чем-то мечтательный, – но в последнее время даже легкомысленный, шумный принц Кридсада притих, часто они сидели вдвоем, закрывшись в комнате, и шептались на своем родном языке.

В комнате стояли кровати, стол, платяной шкаф – и ничего, что бы ее украшало. Само здание было пропитано столь дорогим для генерала Ноги духом казармы. Все стены белые, и лишь стоящая наверху на полочке золотая статуэтка Будды, перед которой принцы, наверное, молились утром и вечером, казалась пятном другого цвета; намоченные от дождя коленкоровые занавески были задернуты.

На выразительных смуглых лицах принцев в вечернем мраке выделялись только сверкавшие в улыбке белые зубы.

Они пригласили Киёаки присесть на край кровати и сразу напомнили о перстне.

Золотой перстень с ярко-зеленым изумрудом, охраняемым парой звериных ликов демонов, своим сиянием резко диссонировал с аскетизмом этой комнаты.

Тьяо Пи, с радостным возгласом приняв перстень, сразу же надел его на изящный смуглый палец. На палец, словно созданный для ласки, тонкий, удивительно гибкий, напоминающий полоску лунного света, что, проникая сквозь узкую дверную щель, цепляется за деревянный пол.

– Наконец-то Йинг Тьян вернулась ко мне. – Тьяо Пи печально вздохнул. Кридсада не пошутил, как прежде, по этому поводу, а открыл гардероб и достал с полки бережно спрятанную среди рубашек фотографию сестры.

– В этой школе засмеют, если поставишь на стол фотографию собственной сестры. Поэтому мы ее прячем, – сказал Кридсада, чуть не плача.

Тьяо Пи разоткровенничался: вот уже два месяца, как от Йинг Тьян нет писем, он запрашивал дипломатическую миссию, но ничего не узнал, даже брату не сообщали о самочувствии сестры-принцессы. Если бы она заболела или произошел бы несчастный случай, то, естественно, пришла бы телеграмма, поэтому коли скрывают даже от брата – Тьяо Пи было невыносимо это себе представить, – то может статься, что, исходя из политических интересов Сиама, ее спешно выдали замуж.

От всего этого Тьяо Пи впадал в меланхолию, он все гадал, придет ли завтра письмо и, если придет, какие горькие известия оно принесет; поглощенный этими мыслями, он совсем запустил занятия. И вот, ища пристанища для своего сердца, он придумал вернуть себе на палец прощальный подарок принцессы и поверять ярко-зеленому, цвета утра под сенью густого леса, изумруду свои чувства.

Тьяо Пи, словно забыв о существовании Киёаки, протянул к стоящей на столе фотографии Йинг Тьян палец с надетым изумрудом. Это выглядело так, будто он пытается вызвать мгновение, в котором две реальности, разделенные пространством и временем, сольются в одну.

Кридсада зажег верхний свет. И тогда изумруд на пальце Тьяо Пи отразился в стекле рамки фотографии и темно-зеленым квадратиком застыл на левой стороне груди белого кружевного наряда.

– Как это? Если вот так смотреть, – Тьяо Пи словно во сне заговорил по-английски, – то сердце у нее как зеленый огонек. Холодное, зеленое, в мелких трещинках сердце, тонкой зеленой змейкой, лианой переползающее в лесной чаще с ветки на ветку. Она, наверное, надеялась, что когда-нибудь я узнаю смысл ее милого подарка.

– Это не так, Тьяо Пи, – резко прервал его Кридсада.

– Не сердись, Кри. Я вовсе не хочу оскорбить твою сестру. Я говорю только о странностях существования любящих. Портрет – это всего лишь ее вид в момент съемки, а изумруд... не кажется ли вам, что именно он сейчас передает ее душу? В моих воспоминаниях фотография и камень, ее тело и душа существовали отдельно, а теперь снова стали единым целым.

Мы настолько глупы, что воспринимаем отдельно тело и душу любимого человека, даже когда он рядом, вот и я, хотя сейчас очень далеко от Йинг Тьян, лучше вижу ее, вижу ее целым кристаллом. Если мучительно расставание, то и встреча может причинять страдание; если приносит радость встреча, то неразумно считать, что нет радости в расставании.

Ну как, Мацугаэ? Я хочу проникнуть в эту тайну: когда любовь, как по волшебству, сворачивает пространство и время. Даже когда любимая рядом, необязательно любишь ее реальную, хотя ее чудный облик воспринимается как необходимая форма реальности, вот почему, если между нами пространство и время, это, вместо того чтобы сбивать меня, может в два раза ближе подвести к реальности...

Непонятно было, куда заведут принца его рассуждения, да Киёаки не очень-то и слушал. Было в словах Паттанадида нечто, что вызвало у него поток мыслей. «Я верю, что сейчас стал вдвое ближе к реальной Сатоко, и точно знаю, что та, которую я люблю, не совпадает с реальной, а где тому доказательства? Может быть, я „вдвойне запутан“. И та, которую я люблю, в конце концов и есть реальная Сатоко, она...» Киёаки слегка, почти машинально потряс головой. И неожиданно вспомнил, как в том давнишнем сне из изумруда в перстне Тьяо Пи ему явилось удивительно прелестное женское лицо. Кто была та женщина? Сатоко? Йинг Тьян, которой он никогда не видел? Или еще кто-то?..

– И все-таки лето когда-то наступит. – Кридсада с надеждой всматривался в ночь, хоронящуюся в зарослях за окном. Там далеко мерцали огоньки других общежитий, около них было шумно: в столовых настало время ужина. Слышно было, как кто-то, идя по тропинке через чашу, во весь голос читает стихи. Эта небрежная, ерническая декламация сопровождалась взрывами хохота. Принцы нахмурились: они словно боялись чудищ, возникавших из ночного мрака.

Возвращение перстня вскоре стало причиной неприятного инцидента.

Спустя несколько дней позвонила Тадэсина. Служанка пришла доложить, но Киёаки не подошел к телефону.

На следующий день опять звонок. Киёаки не подошел.

Это слегка смутило его сердце, сердце же установило единственное правило: Сатоко – это другое дело, он зол только на беспардонность Тадэсины. Он полагал, что эта лживая старуха опять без зазрения совести обманывает его, и, сосредоточившись только на этой злости, прекрасно справился с той небольшой тревогой, которая возникла оттого, что он не брал трубку.

Прошло три дня. Настал сезон дождей, и целый день с неба лились потоки воды. Когда он вернулся из школы, Ямада почтительно принес ему на подносе письмо, и Киёаки, взглянув на обратный адрес, удивился, обнаружив, что там подчеркнуто имя Тадэсины. Конверт был тщательно заклеен, но на ощупь было понятно, что внутри довольно объемистого двухслойного пакета есть еще конверт с письмом. Киёаки, опасаясь, что, оставшись один, может не удержаться от искушения вскрыть конверт, специально в присутствии Ямады разорвал толстое письмо в клочки и приказал унести их. Он боялся, что если бросит клочки в корзину для бумаг в своей комнате, то может захотеть собрать письмо. У Ямады в глазах за стеклами очков возникло недоумение, но он ничего не сказал.

Прошло еще несколько дней. С каждым днем разорванное письмо все тяжелее давило на сердце, и это раздражало Киёаки. Не так страшно, если бы то была просто злость оттого, что письмо взбудоражило его, не имея к нему никакого отношения, но он не мог не заметить, что к этому примешивается сожаление: «Зря я не решился вскрыть конверт». Разорвать и выбросить – он сделал это, конечно, усилием воли, но со временем стал ощущать как трусость.

Когда он рвал белый двойной конверт, его пальцы чувствовали настойчивое сопротивление, как будто внутри было что-то из гибкой, прочной пеньки. Но там ничего такого быть не могло. Просто глубоко в душе он сознавал, что, если бы не сила воли, он не смог бы разорвать письмо. Это был скорее страх.

Он не хотел, чтобы Сатоко опять его тревожила. Ему было не по себе оттого, что жизнь его окутана туманом тревоги, где явно присутствует она. Вернуть бы самого себя... И все-таки, когда он рвал письмо, ему казалось, что он рвет белевшую из-под ворота кожу Сатоко.

В полдень очень жаркой субботы, когда в дождях выдался просвет, Киёаки, вернувшись из школы, застал переполох в парадном вестибюле: коляска стояла, готовая к выезду. Слуги грузили в нее какие-то свертки в пурпурной ткани, что выглядели как подарки. Лошадь пряла ушами, с грязно-желтых коренных зубов свисала слюна, на шее у нее под вороной, словно смазанной маслом гривой яркий солнечный свет обозначил натянутые жилы.

Киёаки, собираясь войти, столкнулся с матерью, которая как раз выходила, одетая в трехслойные парадные одежды с гербами.

– Вот и я.

– Ах, это ты. А я еду с поздравлениями к Аякуре.

– С чем поздравлять?

Мать не любила, чтобы слуги были в курсе событий, поэтому она потащила Киёаки в темный угол прихожей к подставке для зонтов и, понизив голос, сказала:

– Сегодня утром наконец получено высочайшее соизволение. Ты поедешь со мной?

Еще до того, как сын ей ответил, жена маркиза заметила промелькнувшую в его глазах вспышку мрачного удовлетворения. Но она торопилась, так что у нее не было времени искать этому объяснение.

Перешагнув через порог, она обернулась, и слова, которые она произнесла со своим обычным печальным выражением лица, свидетельствовали о том, что, по существу, она ничего не извлекла из этой встречи:

– Радостное событие есть радостное событие. Как бы вы ни поссорились, в такой момент тебе следовало бы самому их поздравить.

– Передай привет. Я не поеду.

Киёаки, стоя в прихожей, проводил глазами коляску матери. Копыта лошади разбрасывали гравий с шумом, напоминавшим дождь, золотой герб дома Мацугаэ удалялся, мелькая ярким пятном среди сосен, окружавших стоянку для экипажей. Киёаки спиной почувствовал, как после отъезда хозяйки расслабились слуги, казалось, будто бесшумно сползла снежная лавина. Он оглядел опустевшую в отсутствие хозяев усадьбу. Слуги, потупившись, нетерпеливо ждали, пока он поднимется в дом. Киёаки чудилось, что у него в руках семена той огромной тревоги, которой он сейчас в состоянии заполнить эту зияющую пустоту. Не глядя на слуг, он большими шагами вошел в дом и поспешил по коридору, чтобы закрыться у себя в комнате.

И потом, с горящим сердцем, чувствуя странные глухие удары в груди, он словно впился глазами в эти блистающие бесценные знаки, складывающиеся в слова «высочайшее соизволение». Оно получено только что. Частые звонки Тадэсины и то последнее толстое письмо, без всякого сомнения, говорили о том, что Сатоко хотела во что бы то ни стало предпринять последнюю попытку: просить у Киёаки прощения, вернуть сердечный долг. Оставшуюся часть дня Киёаки провел, отдавшись на волю летящего воображения. Внешний мир исчез: спокойное, четко отражающее зеркало разбилось вдребезги, сердце кричало, обжигаемое горячим ветром, в этом обжигающем чувстве не было и намек на ту грусть, что обычно сопутствовала его эмоциям. На что оно было похоже? – более всего на радость. Однако не было, наверное, среди человеческих чувств ничего более зловещего, чем эта иступленная радость.

Что же доставляло Киёаки такую радость? Осознание невозможности. Абсолютной невозможности. Нить между ним и Сатоко, как разрубленная острым мечом струна кото, была перерезана сверкающим мечом высочайшего соизволения. Вот оно – то состояние, о котором он с детских лет долгие годы, без конца колеблясь, втайне мечтал, которого втайне ждал. Источником его мечтаний, предопределением желаний была, конечно же, возвышающая, отвергающая, невиданная красота той белой, как вечный снег, кожи на шее принцессы Касуги, которую он сподобился узреть, неся шлейф ее платья. Абсолютная невозможность. Именно так определялось то состояние, которое Киёаки сам вызывал у себя сложными, запутанными чувствами.

Однако что же за вещь эта его радость? Он не мог отвести глаза от ее темной, страшной, зловещей фигуры.

Единственной истиной для себя он полагал жизнь без цели, без результата, жизнь исключительно ради чувств... И если такая жизнь привела к этому водовороту мрачных радостей, то ему остается только свергнуть себя в пучину.

Он опять смотрел на стихи, которые они с Сатоко по очереди переписывали для упражнений, приблизил к свитку лицо, с надеждой вдохнуть тот горьковатый аромат, который окружал Сатоко четырнадцать лет назад. Не чувствуя запаха плесени, он искал аромат, который воскресил бы те давние ощущения. Без всякой связи, не к месту, но свободно он вспоминал печенье, пожалованное императрицей за победу в игре сугороку, – красное печенье в форме хризантемы, ее лепестков и маленькие зубки, и рядом с ними красный цвет расплывается; вкус выпуклых уголков белых хризантем, которые от прикосновения языком превращаются в сладкое месиво... Темные комнаты, привезенная из Киото ширма-экран в осенних травах, совсем

как в старом императорском дворце, тихие ночи, легкий зевок Сатоко, скрытый черными волосами... и витающий над всем этим дух печальной утонченности.

И Киёаки ощутил, как он понемногу подводит себя к решению, о котором страшился даже думать.

25

...В сердце Киёаки звонко пропела труба.

«Я хочу Сатоко».

Впервые в жизни его охватило такое ясное, определенное чувство.

«Утонченность нарушает запреты. Пусть это и высочайшие запреты», – думал он. Его долго сдерживаемая чувственность наконец вылилась в эту мысль. Эта безотчетная чувственность втайне давно требовала рождения определенных идей. И Киёаки понадобилось время, чтобы найти подходящую для себя роль.

«Я хочу Сатоко именно теперь».

Для того чтобы удостовериться в подлинности этого чувства, достаточно оказалось ситуации, когда осуществление желания представлялось абсолютно невозможным.

Он беспокойно вскочил со стула, снова сел. Всегда наполненное тревогой и меланхолией его тело теперь было налито энергией. Все было не так: как же он заблуждался, считая, что подавлен печалью и растворился в страданиях!..

Он распахнул окно, посмотрел на сверкающий под солнцем пруд, сделал глубокий вдох, и в нос ему ударил запах молодой листвы росшего за окном вяза. Скучившиеся над Кленовой горой облака стали по-летнему прозрачными.

Щеки Киёаки пылали, глаза сверкали. Он стал другим человеком. Ему было всего девятнадцать лет.

26

...В страстных грезах о Сатоко он нетерпеливо ожидал возвращения матери. Пока мать у Аякуры, у него ничего не выйдет. В конце концов, не в силах больше дожидаться ее возвращения, он скинул школьную форму, надел дорогое синее кимоно на легкой подкладке и штаны хакама. Потом приказал слуге нанять рикшу.

В шестом квартале Аоямы он специально отпустил рикшу, сел на трамвай только что открытой линии, доходившей до Роппонги, и вышел на конечной станции. На углу – там, где сворачиваешь к холму Ториидзака, – росли три вяза, оставшиеся от тех, что дали название Роппонги, под ними и после пуска трамвайной линии по-прежнему была крупная вывеска «Стоянка рикш», и возницы в широких шляпах, одетые в синие куртки и узкие короткие штаны, ждали клиентов.

Киёаки подозвал одного, как-то неловко заплатил вперед и попросил побыстрее довезти до дома Аякуры, до которого отсюда было буквально рукой подать.

В ворота усадьбы Аякуры английской работы экипаж Мацугаэ не проедет. Следовательно, если коляска ждет у ворот и обе половинки их распахнуты, значит мать еще там. Если коляски нет и ворота закрыты, то это означает, что мать уже откланялась.

Ворота, мимо которых проехал рикша, были плотно закрыты, перед ними остались четыре колеи – следы приехавшего и уехавшего экипажа.

Киёаки сказал рикше, чтобы тот остановился поодаль от ворот, и послал его за Тадэсиной, сам же остался в коляске, которая служила ему укрытием.

Тадэсина долго не появлялась. Киёаки через щель в пологе наблюдал, как постепенно закатывающееся летнее солнце поливает яркими лучами, словно обильным соком, ветки деревьев, покрытых молодой листвой. Он смотрел, как за высокой стеной из красного кирпича у Ториидзаки молодая крона громадных каштанов покрывается белыми с незаметным переходом в красноту цветами, похожими на птичьи гнезда. У Киёаки воскрес в памяти тот пейзаж снежного утра, и его охватило странное непередаваемое ощущение. Было очень неблагоприятно сейчас добиваться здесь встречи с Сатоко. Но он пылал страстью, необходимость подхлестывать свои чувства исчезла. Вышедшая из калитки вслед за рикшей Тадэсина, увидав лицо Киёаки, поднявшего полог, в растерянности остановилась.

Киёаки, схватив ее за руку, насильно усадил в коляску.

– Я хочу поговорить. Поедем куда-нибудь, где нас никто не увидит.

– Вы так настаиваете на... Вдруг ни с того ни с сего поговорить... Госпожа Мацугаэ только что уехала... Да и занята я сегодня вечером, надо готовиться к торжествам...

– Ладно, ладно, быстро скажи рикше, куда ехать.

Киёаки не отпускал руки, поэтому Тадэсина была вынуждена сказать:

– Поезжай в сторону Касуми, где у третьего квартала дорога спускается к воротам военной части. Это там, внизу.

Рикша побежал. Тадэсина, нервно поправляя выбившиеся из прически пряди, упрямо смотрела вперед. Киёаки впервые сидел так близко, касаясь этой густо набеленной старухи, ему было неприятно, но он вдруг ощутил, какая она маленькая, прямо карлица.

Тадэсина в такт покачиванию коляски, волнуясь, несколько раз невнятно повторила:

– Поздно. Уже поздно.

Потом опять:

– Почему, хоть бы слово в ответ... Тогда, раньше. Почему же...

Киёаки молчал, и Тадэсина, еще до того, как они добрались до места, пояснила:

– Мой дальний родственник держит здесь пансион для военных. Грязновато, но пристройка всегда свободна. Думаю, там можно будет спокойно поговорить.

Завтра, в воскресенье, окрестности Роппонги разом оживут, окрасятся в цвет хаки, станут кварталом военных, которые будут прогуливаться с семьями, пришедшими повидаться, но в субботу здесь ничего такого не было. Когда Киёаки взглянул на дорогу, по которой катилась коляска, ему показалось, что они с Сатоко проезжали здесь в то снежное утро. Повозка скатилась с холма, и Тадэсина остановила рикшу.

Не было ни ворот, ни подъезда, весь второй этаж дома, стоящего у подножия холма в довольно большом дворе за дощатым забором, был перед глазами. Тадэсина посмотрела на дом, возвышавшийся за забором. Грубая постройка выглядела необитаемой. Стеклянные двери веранды были закрыты. Стекла шести дверей с овальными решетками были прозрачны, но сквозь них не было видно, что творится внутри, в шероховатом стекле криво отражалось вечернее небо. Фигура кровельщика, трудившегося на крыше дома напротив, выглядела отражением в воде. А темнеющее небо казалось в стекле вечерним приливом – исполненным печали, неровным и влажным.

– Если держать солдат, то будет очень шумно, здесь сдают только офицерам. – С этими словами Тадэсина открыла решетчатую, тщательно отделанную дверь, на которой сбоку была прикреплена табличка ассоциации Харити, и подала голос.

Появился еще не старый, седовласый мужчина высокого роста и скрипучим голосом пригласил:

– А-а, никак госпожа Тадэсина. Заходите.

– Можно нам в пристройку?

– Да, да.

Вместе они прошли по коридору и вошли в небольшую пристройку.

Сев, Тадэсина сразу обрушила на мужчин поток слов, кокетничая то ли с пожилым хозяином, то ли с Киёаки:

– Мне надо сейчас же уходить. Прямо не знаю, что будут говорить обо мне, – я здесь, и с таким красивым молодым человеком...

Комната была убрана с претензией на уют, в нише при входе висел сложенный пополам свиток, обычный для чайной комнаты. На раздвижных стенах-перегородках гравюры из «Гэндзи». Внешне все это не производило впечатления дешевого жилья, где квартируют военные.

– О чем вы хотите со мной поговорить? – сразу, как только ушел хозяин, спросила Тадэсина.

Киёаки молчал, и, не скрывая раздражения, она повторила:

– Так что же у вас ко мне за дело? Да еще выбрали такой день, как сегодня.

– Именно потому я и пришел. Хочу, чтобы ты устроила мне встречу с Сатоко.

– Молодой господин, да что вы такое говорите... Сейчас и речь заводить об этом нечего. Сегодня пришло решение его величества, теперь уж ничего не изменить. А ведь я постоянно звонила и писала вам, тогда вы не отвечали, а вот сегодня говорите такое. Шутите, наверное.

– Это все из-за тебя, – стараясь держаться с достоинством, сказал Киёаки, глядя Тадэсине куда-то в висок, где под толстым слоем белил пульсировала жилка.

Киёаки обвинял ее в том, что она подло обманула его и на самом деле дала Сатоко прочесть его письмо, что из-за ее длинного языка он потерял преданного Иинуму, и в конце концов она, может и притворно, прослезилась и стала просить прощения. Белила вокруг глаз, которые она вытирала вытащенной из-за пазухи бумажной салфеткой, размазались, на накрашенных скулах проступили морщины – явный признак старости, кожа выглядела как смятая бумага, которой вытерли блестящую ярко-красную губную помаду; Тадэсина заговорила, уставившись опухшими от слез глазами в пространство:

– Я действительно виновата. Сколько бы я ни просила прощения, я знаю, ничто не поможет. Но я должна скорее просить прощения не у вас, а у барышни. Это моя вина, что я не смогла передать вам все, что она чувствует. Задумали как лучше, а вышло все наоборот. Только пред-

ставьте... Как она страдала, прочитав то ваше письмо. И как мужественно держалась, чтобы не показать вам своих страданий. И я знаю, как она успокоилась, когда прямо и откровенно спросила обо всем у господина маркиза на той встрече родственников в Новый год. А потом день и ночь все думала о вас и в конце концов решила поступить так, как не пристало девушке: сама позвала вас снежным утром на свидание, долго во сне и наяву твердила ваше имя. Когда ж узнала, что стараниями маркиза ей делает предложение сын принца, то только и надеялась на ваше решение, все поставила на это, а вы молча закрыли глаза на ее тревоги. Уж ее муки и словами не передать. Прямо накануне высочайшего решения сказала, что хочет передать вам свое последнее желание, и сколько я ее ни останавливала, не послушалась, написала письмо, указав, что оно от меня. Как жаль, что вы заговорили о желании встретиться с ней именно тогда, когда и последняя надежда исчезла, а сегодня она уже и в мыслях со всем смирилась. Вы знаете, что барышня с детства воспитана в величайшем почтении к императору. Даже представить невозможно, что она передумает... Все, поздно. Если вы не можете успокоиться, то бейте меня, пинайте ногами – облегчите душу... Я уже сделать ничего не могу. Поздно.

Киёаки слушал этот монолог, и радость острым мечом разрывала его сердце, ему казалось, он уже слышал это, все было так очевидно, все это он ясно чувствовал сердцем. С острой, дотоле невиданной пронизательностью он ощутил в себе силы, способные резко изменить все, что его окружало. Молодые глаза зажглись огнем. «Она прочитала мое письмо, которое я просил порвать не читая, а мне теперь, наоборот, следует пустить в ход другое письмо, которое я разорвал в клочки».

Киёаки молча уставился на маленькую набеленную старушку. Тадэсина все еще прижимала к покрасневшим глазам бумажную салфетку. В наступавших сумерках ее сгорбившиеся плечи выглядели такими тщедушными, что, казалось, схватись за них, и они сразу сломаются, даже кости не хрустнут.

– Еще не поздно.

– Нет, поздно.

– А я говорю, не поздно. Подумай, что будет, если я покажу то последнее письмо от Сатоко семье принца. Можно представить дело так, будто оно было написано после того, как появилось высочайшее решение.

При этих словах с поднятого лица Тадэсины буквально на глазах схлынула кровь.

Последовало долгое молчание. В окно падал свет: это вернулись жильцы со второго этажа и зажгли лампы. Мелькнул краешек форменных брюк цвета хаки. За оградой раздавался призывный звук рожка продавца тофу, кожа ощущала, словно легкое прикосновение фланели, как разливаются сумерки.

Тадэсина что-то повторяла шепотом. Ему послышалось: «Я останавливала, я говорила: „Перестаньте...“» Это она вспоминала, как предупредила Сатоко не писать письма.

У хранившего молчание Киёаки были явные шансы на успех. Видно, невидимый зверь постепенно поднимал голову.

– Хорошо, – сказала Тадэсина. – Один раз я дам вам встретиться. За это вы вернете мне письмо, ладно?

– Ладно, ладно. Только мне недостаточно просто встретиться. Ты должна оставить нас вдвоем. После этого верну письмо, – сказал Киёаки.

27

Прошло три дня. После школы Киёаки в плаще, чтобы скрыть школьную форму, отправился на квартиру в Касуми. Он получил известие, что только сегодня, в отсутствие матери, Сатоко сможет выйти из дома.

Хозяин предложил чай и успокоил Киёаки, который даже в пристройке, опасаясь, что увидят школьную форму, сидел в плаще.

– Здесь вы можете чувствовать себя спокойно. Таких, как мы, людей простых, вам стесняться нечего. Отдыхайте.

Хозяин ушел. Осмотревшись, Киёаки заметил, что на окне, выходящем в сторону второго этажа дома, теперь висит бамбуковая штора. Окно закрыли, чтобы не заливал дождь, поэтому в комнате было душно. Даже крышка стоявшей на столе шкапулки, которую Киёаки от нечего делать открыл, с внутренней стороны была в капельках воды.

По шелесту одежды и неразборчивому шепоту там, за раздвижной перегородкой, он понял, что пришла Сатоко.

Перегорodka отодвинулась, появившаяся Тадэсина, упершись пальцами в пол, склонилась в поклоне. Чуть поднятые бесцветные глаза в молчании проводили Сатоко и сразу, блеснув как каракатицы, исчезли в темноте сырого дня за закрывшейся перегородкой.

Сатоко теперь сидела прямо перед Киёаки. Потупившись, она вытирала лицо носовым платком. Упираясь одной рукой в пол, она чуть наклонилась вперед, и белая кожа склоненной шеи напоминала озеро на горной вершине.

Киёаки безмолвно сидел напротив, чувствуя, как его окутывают звуки стучавшего по крыше дождя. Наконец-то настал этот долгожданный миг, а он все не мог поверить.

Это он загнал Сатоко в такое положение, когда она не может произнести ни слова. Такая, как сейчас, она была для него самой желанной – растерявшая все свои взрослые поучения и только молча роняющая слезы.

Эта красавица в так идущем ей кимоно с белыми глициниями стала для него не просто роскошной добычей, она олицетворяла единственную в своем роде красоту – красоту запретную, невозможную, недостижимую. Сатоко и должна была быть именно такой! Его страшили постоянно происходящие в ней перемены. Посмотрим. Ведь она всегда, стремясь выглядеть святой и неприкосновенной, жалея его, но не считаясь с ним, охотно продолжала играть роль якобы старшей сестры.

Совершенно очевидно, что Киёаки упрямо отклонял все попытки доступных женщин ввести его в науку наслаждений именно потому, что давно заметил и предчувствовал в Сатоко святость основы ее существования – это было все равно что наблюдать, как растет внутри кокона зеленоватая личинка. Именно с этим следовало связывать чистоту Киёаки, и именно сейчас должен был рухнуть его закрытый мир придуманных страданий и разлиться невиданный доселе свет.

Ему казалось, что выпестованная в детские годы в его душе графом Аякурой утонченность сейчас, превратившись в тонкий, но опасный шелковый шнурок, душит его невинность. Его невинность и святость Сатоко. Долгое время не находивший применения блестящий шелковый шнурок нужен был именно для этого.

Он желал ее, в этом не было никаких сомнений. Он подвинулся ближе и положил руку на плечо Сатоко. Плечо упрямо отстранилось. Как дорог был ему этот упрямый жест отказа. Этот полный, торжественный, сопоставимый по масштабам величия с миром, в котором мы живем, отказ. Сопrotивление этих нежных, чувственных плеч, на которые грузом легло высочайшее разрешение. Именно это наполнило жаром его руки, опалило огнем сердце. Там, где волосы в

прическе Сатоко были подхвачены гребнем, черно-лаковый, наполненный благоуханием глянец уходил вглубь, к корням волос, и, глядя на это, он ощущал себя заблудившимся лунной ночью в лесу.

Киёаки приблизил лицо к влажной щеке, выглянувшей из-под платка. Безмолвно сопротивляясь, щека поворачивалась то вправо, то влево, но это было произвольное движение, он понимал, что отказ шел не из сердца, а из чего-то еще более далекого.

Киёаки, отстранив платок, пытался поцеловать ее, но губы, которые он жаждал, как в то снежное утро, сейчас упрямо сопротивлялись, – в конце концов Сатоко, отвернувшись, прижала их к вороту кимоно и застыла, став похожей на спящую птичку.

Шум дождя усилился. Киёаки обнимал женское тело, глазами определяя его недоступность. Аккуратный шов воротника нижнего кимоно с вышитыми листьями осота перевернутым конусом ограничивал видимую полоску кожи; в центре холодного, жестко затягивающего грудь, запечатывающего ее, как дверь в синтоистский храм, широкого пояса оби, словно шляпки гвоздей, посверкивал поддерживающий его золотой шнур. Но чувствовалось, как из выреза на груди, из рукавов вырывается горячее дыхание плоти. Оно коснулось щеки Киёаки.

Разомкнув объятие, он крепко взял Сатоко рукой за подбородок, который лег на пальцы, как фигурка из слоновой кости. Трепетали влажные от слез крылья точеного носа. Теперь Киёаки смог накрыть губы Сатоко своими губами.

Вдруг, словно открылась дверца в печи – и огонь прибавил сил, Сатоко вспыхнула и обеими руками сжала щеки Киёаки. Ее руки собирались оттолкнуть его, а губы не отрывались от губ Киёаки, которого она отталкивала. Мокрые губы в последней попытке сопротивления двигались, и губы Киёаки пьянила их изумляющая нежность. Прочный мир растаял, будто брошенный в чай кусок сахара. И это стало началом неуголимой сладости и растворения.

Киёаки не знал, как развязать женский пояс. Упрямый бант сопротивлялся пальцам. Когда он хотел просто наугад дернуть за что-то, Сатоко отвела руки назад и, намереваясь отчаянно сопротивляться движениям Киёаки, стала еле заметно помогать ему. Их пальцы сталкивались на поясе, наконец шнурок развязался, и широкий пояс с тихим шелестом упал вперед. Пояс двигался, казалось, сам по себе. Это было началом неистового, сокрушающего натиска, а в одежде все словно взбунтовалось: пока Киёаки нетерпеливо старался освободить грудь Сатоко, какие-то шнурки затягивались, какие-то распускались. Перед ним открывалась благоухающая, сияющая белизна того прежде маленького, защищенного кимоно белого возвышения груди.

Сатоко ни словом не остановила его. Молчаливый отказ не отличить было от молчаливого искушения. Она без конца искушала и без конца отказывала. Было что-то, заставлявшее Киёаки чувствовать, что не он один борется против святого, невозможного.

Что это? Киёаки отчетливо видел, как по лицу закрывшей глаза Сатоко разливается румянец, на нем бушуют тени страстей. Ладонь Киёаки, поддерживающая ее спину, ощутила еле заметное, робкое давление, и Сатоко, словно не в состоянии дальше сопротивляться, опустилась на пол.

Киёаки распахнул полы ее кимоно, на полах шелкового нижнего кимоно сплетались разноцветные хвосты фантастических птиц, парящих над зигзагами облаков, под их слоями прятались бедра. Далеко, еще далеко. Плотные облака, через них еще нужно пробиться. Там, глубоко внутри, куда он постепенно приближался, было главное, что лукаво поддерживало эту преграду, – Киёаки затаил дыхание.

Наконец, когда Киёаки прижался телом к бедрам Сатоко, открывшимся взору линией ослепительного света, рука Сатоко, опустившись, нежно помогла ему. Эта милость обернулась врагом: извержение произошло до того, как он коснулся этой ослепительной линии.

Они лежали на полу, устремив глаза к потолку, где снова ожили звуки ливня. В груди не стихало учащенное биение. Киёаки был возбужден: легкая усталость, не хочется думать, что

что-то закончилось. Но было ясно, что в медленно погружающейся в сумерки комнате, словно постепенно сгущаясь, витает тень горечи. Киёаки послышалось слабое старческое бормотание за расписанной сюжетами из «Гэндзи» перегородкой, он приподнялся, но Сатоко остановила его, легонько потянув за плечо.

Она без слов развеяла горечь. Киёаки, увлекаемый движениями ее тела, познал наконец миг блаженства. После этого он простил ей все.

Молодость Киёаки сразу ожила, теперь он все воспринимал как Сатоко. И впервые осознал, что, направляемый женщиной, минует трудный путь и окунется в мирный пейзаж. Разгоряченный Киёаки сбросил одежду. Тело казалось лопастями корабля – косилкой водорослей, которая движется, преодолевая сопротивление воды и морской травы. Киёаки даже не ожидал, что лицо Сатоко, без тени боли, пошлет ему такую озаренную слабой вспышкой загадочную улыбку. Из сердца исчезли все сомнения.

Когда все кончилось, Киёаки обнял Сатоко в ее сбившихся одеждах, прижался щекой к ее щеке и ощутил на своей ее слезы.

Он верил, что она плачет от счастья, но и не было ничего, что могло бы печальнее, чем эти слезы, текущие с ее на его щеку, говорить о непоправимости свершившегося. Однако ощущение греха вызвало в душе Киёаки прилив мужества.

Сатоко, протягивая Киёаки рубашку, впервые за все время произнесла:

– Не простудись.

Он хотел резко схватить ее, но Сатоко, слегка уклонившись, приложила рубашку к своей щеке и, глубоко вздохнув, вернула. Белая рубашка была чуть влажной от женских слез.

Он надел форму и привел себя в порядок. Чуть вздрогнул, услышав, как Сатоко хлопнула в ладоши. Через какое-то, видно специально оговоренное, время перегородку раздвинули – и показалась Тадэсина.

– Вы меня звали?

Сатоко кивнула и показала глазами на сбившуюся в беспорядке на поясе одежду. Тадэсина, закрыв перегородку и не глядя в сторону Киёаки, стала молча ползать на коленях, помогая Сатоко запахнуть одежду и завязать пояс. Потом принесла из угла комнаты зеркало на подставке и привела в порядок прическу Сатоко. Все это время Киёаки казалось, что его не существует, что он умер. В комнате зажгли свет, и на все это долгое время, пока женщины занимались нарядом Сатоко, он стал ненужным.

Приготовления закончились. Сатоко сидела, прелестно потупившись.

– Молодой господин, нам надо прощаться, – заговорила вместо нее Тадэсина. – Я обещание выполнила. Вы ж наперед забудьте о барышне. И верните то письмо, о котором мы договаривались.

Киёаки молча сидел, скрестив ноги, и ничего не ответил.

– Мы ведь договорились. Пожалуйста, отдайте письмо, – настаивала Тадэсина.

Киёаки все так же молча посмотрел на Сатоко – она выглядела безупречно: прекрасно одета, ни один волосок не выбился из прически. Сатоко медленно подняла глаза. Встретилась взглядом с Киёаки. На мгновение в ее глазах мелькнул сильный ясный свет, и Киёаки понял ее решимость.

– Письмо не верну. Я хочу еще здесь встретиться, – сказал Киёаки с внезапно проснувшейся твердостью.

– Да что же это такое! – прорвался вдруг гнев Тадэсины. – Вы знаете, что будет? Говорите как упрямый ребенок. Разве не понимаете, что может случиться самое страшное? Погубите не меня одну.

Голос, которым Сатоко остановила Тадэсину, был безмятежен, словно доносился из другого мира, даже Киёаки, услышав его, почувствовал дрожь.

– Перестань, Тадэсина. Нам придется встречаться до того, как Киё сам с радостью вернет то письмо. Другого выхода для нас нет. Конечно, если ты собираешься помочь мне.

28

Киёаки редко бывал у Хонды, и, когда сказал, что придет на долгий разговор, Хонда попросил мать приготовить хороший ужин и решил пропустить в этот вечер занятия по подготовке к экзаменам. В их скромном, мрачноватом доме от одного известия о приходе Киёаки установилась какая-то праздничная атмосфера.

Днем солнце, окутанное облаками, полыхало серебром, стояла липкая жара, и вечером было так же жарко и душно. Молодые люди сидели в летних кимоно с закатанными рукавами.

Пока Хонда ждал друга, им овладело некое предчувствие, и, когда они сели рядом в кожаные кресла у стены и начали говорить, он увидел в Киёаки совсем другого человека, не похожего на прежнего. Хонда впервые видел, чтобы у того так сверкали глаза. Это, вне всякого сомнения, были по-настоящему молодые глаза, но Хонда испытал сожаление, вспоминая прежний взгляд приятеля – полный грусти и, как правило, потупленный.

И все-таки Хонда был счастлив тем, что товарищ доверил ему такую важную тайну. Хонда долго ждал, но никогда не принуждал Киёаки к этому.

В сущности, Киёаки, пока тайна касалась только сердечных проблем, скрывал ее даже от друга, а открыл лишь тогда, когда она стала действительно серьезной, связанной с вопросами чести и совершенным проступком; тот же, кому тайна была теперь открыта, не испытывал радости по поводу оказанного ему столь высокого доверия.

Неблагодарный Киёаки в глазах значительно повзрослевшего Хонды терял облик нерешительного, красивого подростка. Сейчас рассказ вел влюбленный, пылкий юноша, освободившийся от неуверенности и безволия, которые заметны были раньше в его словах и поступках.

Зардевшись, поблескивая белыми зубами, запинаясь, сначала стесняясь, а потом продолжая рассказ уже уверенным голосом, Киёаки с гордо вскинутыми бровями являл собой идеальный образ влюбленного. И, что уж совсем не похоже было на него, предавался самоанализу.

Это доконало Хонду и заставило, как только Киёаки окончательно замолк, разразиться нескладной тирадой:

– Слушая тебя, я почему-то совсем не к месту вспомнил одну вещь. Когда это было? Вроде бы после нашего разговора о японско-русской войне, мы пошли к тебе домой и ты показывал мне альбом с военными снимками. Там еще была удивительная фотография, похожая на хорошо поставленную массовую сцену, – «Заупокойная служба у храма Токурудзи», я помню, ты говорил, что она нравится тебе больше всех. Мне тогда еще странно было слышать это именно от тебя, ты ведь терпеть не мог сторонников крайних мер.

Но сейчас, когда я слушал рассказ о твоей удивительной страсти, в памяти всплыла та окутанная желтоватой пылью равнина.

Хонда, громоздя эти несвойственные ему туманные горячие слова, сам удивлялся, что смотрит с долей восхищения на то, что Киёаки нарушил запрет и фактически преступил закон. И это он, Хонда, который в душе давно решил, что станет человеком, блюдущим законы.

Слуга принес два столика и ужин. Мать позаботилась о том, чтобы друзья могли спокойно поговорить, и ужин им подали сюда, в комнату Хонды. На каждом столике стояло по бутылочке саке, и Хонда, наливая товарищу, откровенно сказал:

– Мама беспокоится, понравится ли тебе еда: ты ведь привык к роскоши.

Киёаки, впрочем, ел с удовольствием, и Хонда был рад этому. Некоторое время они ели молча, с аппетитом, присущим молодости.

Наслаждаясь наступившим после еды покоем, Хонда думал, почему признания его сверстника Киёаки об опыте в любви не вызвали у него ревности или зависти, а наполнили

его душу счастьем. Это ощущение счастья затопило сердце, подобно тому как вода в период дождей незаметно заполняет двор стоящего на берегу дома.

– Ну и что ты теперь будешь делать? – спросил Хонда.

– Да ничего. Я долго раскачиваюсь, но уж если за что-нибудь возьмусь, то не остановлюсь на полдороге.

Это был ответ из числа тех, какие до сих пор даже и в мечтах невозможно было ожидать от Киёаки, и это заставило Хонду широко распахнуть глаза.

– Так вы с Сатоко поженитесь?

– Нам нельзя. Уже есть высочайшее разрешение.

– А ты не хочешь нарушить его и жениться? Например, сбежать вдвоем за границу и там вступить в брак.

– ...Ты не понимаешь. – Внезапно осекшийся Киёаки впервые за сегодняшний день грустно нахмурился. И хотя Хонда хотел это увидеть – и увидел, теперь выражение лица друга бросило легкую тень на возникшее у него ощущение счастья.

«Чего же он ждет от будущего?» Хонда размышлял над этим, глядя на тонко очерченный, красивый, как произведение искусства, профиль Киёаки, и вдруг ощутил душевный трепет.

Когда после еды на десерт подали клубнику, Киёаки пересел к письменному столу Хонды, который всегда был в идеальном порядке, поставил на него локти и стал легонько поворачиваться на вертящемся стуле туда-сюда, изогнувшись так, что обнаженная грудь и лицо образовали странный угол; зубочисткой он отправлял в рот одну ягоду за другой, и эта поза говорила о том, что вне стен дома со строгими правилами поведения он свободно может пренебречь хорошими манерами. Упавшую на обнаженную грудь крупинку сахара он небрежно смахнул рукой, и когда Хонда воскликнул: «Муравьи набегут!» – только рассмеялся с набитым клубникой ртом.

Легкое опьянение окрасило тонкие, всегда очень белые веки Киёаки в красноватый цвет. Неожиданно вращающийся стул повернулся слишком далеко, его порозовевшие белые руки остались позади, и тело слегка искривилось. Это выглядело так, словно юношу вдруг поразила неосознаваемая им самим неясная боль.

Блестящие глаза Киёаки под гладкими бровями хранили мечтательность, но Хонда определенно чувствовал, что сияние этих глаз никак не обращено в будущее.

Хонде вдруг захотелось передать Киёаки свою страшную тревогу, но сам собственными руками он не в состоянии был разрушить испытанное только что ощущение счастья.

– Ну, что ты намерен делать? Ты думал о последствиях?

Киёаки, раскрыв глаза, внимательно посмотрел на друга. Хонда никогда еще не видел таких блестящих, таких темных глаз.

– А почему я должен об этом думать?

– Но ведь окружающие чем дальше, тем больше думают о последствиях. Вы не можете одни воспарить и застыть в воздухе как воплощение эфемерной страсти.

– Это мне понятно, – коротко бросил Киёаки и замолк.

Взгляд его был направлен куда-то в пространство, он смотрел на крошечные тени, лежащие в углах комнаты, кольцами свернувшиеся под книжной полкой и рядом с корзиной для бумаг, тени-чувства, к ночи незаметно проникшие в эту типично студенческую комнату и вившиеся вокруг. Даже плавная линия черных бровей Киёаки казалась одной из таких теней, принявшей дивную форму туго натянутого лука. Брови отражали движение чувств, управляли ими, удерживали их. Защищая временами темневшие тревожные глаза, брови преданно следовали за ними, постоянно сопровождали их, словно вышколенная свита.

Хонда хотел поделиться мыслями, которые еще раньше засели у него где-то в уголке мозга.

– Я тут сказал, наверное, странную вещь. Ну, что история о тебе и Сатоко вызвала у меня в памяти ту фотографию времен японско-русской войны. Я подумал, к чему бы это, и вот, с большой натяжкой, объяснение.

Вместе с периодом Мэйдзи закончилась эпоха той героической войны. Воспоминания о войне свелись к рассказам о собственных подвигах для тех, кто остался в живых, да к хвостовству у деревенской печки. Молодое поколение в подавляющем большинстве уже вряд ли отправится за героической смертью на поле боя.

Война действий закончилась, но на смену ей пришла война чувств. Этой невидимой глазу войны толстокожий человек не ощущает, да, должно быть, и не верит в такое. Но все равно эта война определенно началась, и в ней участвуют молодые, специально избранные для этой войны. Ты определенно один из них.

Я думаю, что, так же как на настоящей войне, в этой войне чувств будут погибать молодые. Может быть, ты будешь одним из них – такова судьба нашего поколения... И ты готов на смерть в этой новой войне. Ведь так?

Киёаки только чуть улыбнулся и ничего не ответил. Вдруг из окна предвестником дождя ворвался в комнату влажный тяжелый ветер и прохладной губкой прошелся по их покрытым бисеринками пота лицам. Хонда подумал, почему же Киёаки не ответил: то ли потому, что все было слишком очевидным, или потому, что все сказанное он сам предчувствовал, а он, Хонда, выразил это слишком откровенно.

29

Через три дня Хонда, редкий случай, мог в первой половине дня не идти в школу – там отменили занятия, и поэтому он вместе с секретарем отца отправился в местный суд послушать, как ведется процесс. В тот день с утра шел дождь.

Отец – судья Верховного суда – дома был достаточно строг, и, когда сыну исполнилось девятнадцать лет, он окончательно укрепился в решении сделать его в будущем своим преемником, полагаясь на то, что еще до поступления в университет сын станет усердно изучать право. До сих пор должность судьи была пожизненной, но в апреле этого года были осуществлены кардинальные изменения в законе о судебной системе и более двухсот судей получили приказы подать в отставку (полную или частичную); судья Хонда из чувства солидарности со старыми товарищами сам просил об отставке, но не получил ее.

Однако это изменило его настроения, он стал мягче, великодушнее относиться к сыну, у него появилось что-то похожее на любовь к будущему преемнику, который пойдет дальше него по службе. Этих чувств Хонда раньше никогда у отца не замечал и, чтобы ответить на них, продолжал заниматься еще усерднее.

Эти изменения проявились, например, в том, что отец разрешил еще не достигшему совершеннолетия сыну присутствовать при слушании дел. Конечно, это были дела не в его суде: он разрешил сыну с судебным секретарем, который жил у них в доме, посещать суды по гражданским и уголовным делам.

Внешне это выглядело как стремление дать Сигэкуни, знавшему судебное право только по книгам, соприкоснуться с реальностями японского суда и заставить его изучать законы на практике, но отец, несомненно, хотел проверить, что сын извлечет из этого опыта, когда скрытые от глаз стороны человеческой жизни ударят по еще нежным чувствам девятнадцатилетнего юноши.

Это была опасная система обучения. Но она играла по меньшей мере воспитательную роль: дать сыну реально почувствовать зорко следящие за всем глаза закона и с точки зрения знания техники судопроизводства позволить сыну увидеть кухню, где под руку бесстрастной системы права тут же, на глазах, попадают неприглядные, покрытые горячей слизью человеческие чувства. Куда опасней было бы допустить, чтобы молодой человек, усвоивший благодаря привычке к праздности и увеселениям только приятные стороны жизни, так и остался бы в их плену.

Пока Сигэкуни и секретарь спешили в зал заседаний суда восьмого участка, единственное, что чуть оживляло темный коридор судебного здания, был дождь, льющийся на зелень запущенного внутреннего дворика, и Сигэкуни казалось, что это здание, где словно замурованы души преступников, хотя и призвано представлять разум, переполнено мрачными эмоциями.

Гнетущее состояние он продолжал испытывать и тогда, когда сел на место в рядах для публики: Сигэкуни неприязненно смотрел, как порывистый, нетерпеливый секретарь торопливо проводил его сюда и, словно забыв о существовании сына своего патрона, уткнулся в сборник судебных решений; пустые стулья на местах судьи и прокурора, местах свидетелей и адвокатов казались мокрыми от дождя, словно отражая пустоту, которую он сейчас ощущал в душе.

По молодости – он всего лишь наблюдатель! С самого рождения это словно его миссия – наблюдать.

В сущности, по складу его характера Сигэкуни следовало бы обладать уверенностью в том, что он человек действия, но после признаний Киёаки в нем произошли странные перемены. Это были даже не перемены, а необъяснимый обмен чертами характера. Долгое время

друзья тщательно оберегали каждый свою индивидуальность и не собирались ничего передавать друг другу, но три дня назад Киёаки вдруг заронил в сердце друга вирус самоанализа, как человек, который, сам исцелившись, заражает своей болезнью окружающих.

И сейчас, когда этот вирус мгновенно размножился, оказалось, что самоанализ – это черта, куда более свойственная Хонде, чем Киёаки.

Симптомы этой болезни проявились прежде всего в форме какой-то непонятной тревоги: «И что теперь делать Киёаки? Могу ли я, как друг, просто наблюдать со стороны за тем, что произойдет?»

Пока он ждал открытия намеченного на половину второго заседания, его мысли были далеки от суда, который вот-вот должен был начаться, и следовали только за этой тревогой.

«Должен ли я предостеречь друга, отговорить его от его затей?..

До сих пор я делал вид, что не замечаю его мучительных страданий, и только любовался его утонченностью, верил, что в этом сила моей дружбы, но теперь, когда мне все открылось, разве не правильно было бы, используя право дружбы на вмешательство в жизнь друга, стремиться спасти его от надвигающейся опасности? Тогда мне не придется ни о чем сожалеть, даже если Киёаки разозлится или поссорится со мной.

Через десять, через двадцать лет Киёаки меня поймет, да пусть хоть и никогда не поймет...

Несомненно, Киёаки просто летит к трагической развязке. Это красиво, но примем ли мы в жертву человеческую жизнь ради мгновенной красоты, промелькнувшей в окне птичьей тенью?

Да. Я, закрывая глаза, склоняюсь к заурядной дружбе посредственностей, поэтому, как бы это ни тяготило меня, должен охладить его опасный пыл и всеми силами воспрепятствовать тому, чтобы он сломал свою жизнь».

От этих мыслей голова Хонды горела, он не в состоянии был ждать суда, не имеющего к нему никакого отношения. Ему хотелось вскочить, броситься домой к Киёаки и всеми силами отговаривать того от его намерений. И раздражение, вызванное тем, что он не может это сделать, лишь усиливало тревогу, жгло сердце.

Он заметил, что места для публики уже заполнились, и понял, почему секретарь пришел так рано и занял места.

Здесь были и молодые люди, с виду студенты-юристы, и незаметные мужчины и женщины среднего возраста, торопливо исчезающие и появляющиеся репортеры с нарукавными повязками. Глядя на эту толпу, где люди, пришедшие сюда из низменного любопытства, но рядившиеся в серьезных, подкручивали усы, многозначительно обмахивались веерами, скребли в ушах длинным, отращенным ногтем мизинца, извлекая оттуда серу, словом, убивали время, Хонда ощутил мерзость людей, убежденных, что «мы-то уж точно не совершим преступления». Надо постараться, сказал он себе, по меньшей мере ничем не походить на эту толпу. Сидящих на местах для публики освещал монотонный, пепельно-белый свет, падающий из закрытых по случаю дождя окон, монотонность оживлял лишь блеск козырька на черных фуражках судебных служащих.

Прибытие подсудимой вызвало шум. Обвиняемая в синей тюремной одежде и в сопровождении судебных служащих добралась до своего места; все стремились разглядеть ее лицо, и это мешало Хонде, поэтому он увидел только пухлую белую щеку с заметной ямочкой. И потом в его поле зрения были только волосы, по-женски завязанные сзади, и округлые полные плечи, сжавшиеся, но ничуть не напряженные.

Появился адвокат, ждали только судью и прокурора.

– Вот она. И не подумай, что это женщина, которая убила человека. Говорят, нельзя судить по внешности, и это совершенно верно, – прошептал его спутник.

Суд, согласно форме, начался с вопросов, обращенных председателем к обвиняемой: имя, адрес, возраст, социальное положение и место приписки. В зале стояла гробовая тишина, казалось, был слышен даже торопливый шорох кисти секретаря.

Обвиняемая встала и без запинки ответила:

– Токио, район Нихомбаси, квартал Хаматё, два-пять, из третьего сословия, Масуда Томи.

Но голос у нее был слишком тихим, слушать было трудно, и публика заволновалась, что не услышит следующих важных вопросов, – все стали вытягивать шеи, прикладывать руки к ушам. Обвиняемая, до сих пор отвечавшая гладко, на вопросе о возрасте, может быть, умышленно запнулась и, подбадриваемая адвокатом, словно очнувшись, ответила довольно громко:

– Тридцать один.

В этот момент мелькнула прядь волос, упавшая на обращенную в сторону адвоката щеку, и краешек холодно блеснувшего глаза.

Это маленькое женское тело было в глазах публики полупрозрачным шелковичным червем, из которого тянется неожиданно запутанная нить зла. Даже легкие движения тела заставляли воображать пятна пота под мышками на тюремной одежде, грудь с обозначившимися в тревожном биении сосками, пышные формы крутых бедер.

Это тело словно собиралось скрыться в коконе, свитом из бесконечно тянущейся из него нити бесконечного зла. Как полно, как точно тело отвечало преступлению!

...Люди хотят именно этого: если выразить их горячую мечту, то окажется, что все привычное, близкое человеку может быть воплощением зла; у худых женщин формой зла становится их худоба, у полных женщин – их пышность. Даже воображаемый пот, который расплывается сейчас под ее грудью... Публика радовалась, получая одно за другим подтверждения тому злу, воображать которое им давало возможность ее тело.

Хонда брезгливо отверг возможность разделить воображение публики, в котором нашлось бы место и его молодым фантазиям, и только следил за тем, насколько ответы обвиняемой отвечают сути события.

Объяснение женщины было растянутым, рассказ иногда путался, но сразу стало понятно, что убийство было совершено в состоянии аффекта – женщина поддалась влиянию чувств, и безрассудство привело к трагическому финалу.

– Когда вы стали сожительствовать с Хидзикатой Мацукити?

– Ну... В прошлом году, я этого не забуду, пятого июня.

«Я этого не забуду» вызвало невольный смех у публики, и служитель призвал к тишине.

Масуда Томи была подавальщицей в небольшом ресторанчике, сблизилась с поваром Хидзикатой Мацукити и стала буквально одолевать недавно овдовевшего Хидзикату своими заботами. С прошлого года они зажили семьей, но с самого начала Хидзиката не собирался официально оформлять их отношения и после того, как они стали жить вместе, все больше развлекался с женщинами, а с конца прошлого года стал тратиться на официантку из ресторана «Кисимото» в том же районе Хаматё.

Служанке Хидэ было двадцать, но она здорово умела вскружить голову, поэтому Мацукити частенько уходил из дома; этой весной Томи позвала Хидэ и умоляла ту вернуть «мужа». Хидэ начала издеваться над ней, и Томи, потеряв над собой контроль, убила ее.

Это были заурядные уличные страсти любовного треугольника, в них не было ничего особенного, но конкретное слушание касалось деталей, и появилось множество мелких фактов, которых никак не могло добавить воображение.

У женщины рос без отца восьмилетний ребенок, до этого он был на попечении родственников в деревне, теперь она взяла его к себе, чтобы он пошел в школу в Токио, это и укрепило

ее в намерении иметь семью, так что до убийства Томи довело скорее то, что она, безмужняя, имела сына.

Наконец началось изложение обстоятельств в ночь убийства.

– Нет, Хидэ не следовало бы там быть. Тогда, наверное, возможно, ничего бы и не случилось. Когда я пошла к «Кисимото» вызвать ее, уж лучше бы ей заболеть и лежать в постели.

Да, я воспользовалась ножом для разделки рыбы. Мацукити профессионал, и у него было несколько действительно хороших ножей, он говорил: «Это для меня как меч для самурая» – и не позволял женщинам до них дотрагиваться, сам точил и ухаживал за ними. Наверно, когда я начала ревновать его к Хидэ, он подумал, что опасно держать их на виду, и куда-то спрятал.

Мне было обидно, что он обо мне так думает, и иногда я в шутку его пугала: «Не нож, так ведь есть и другие острые предметы», после того же, как Мацукити надолго оставил дом, однажды, убирая в кухне в шкафу, я вдруг нашла сверток с ножами. Подумать только, они почти заржавели. Вот тогда я поняла, что Мацукити увлекся Хидэ. С ножом в руке, я вся дрожала. Тут ребенок вернулся из школы. Я немного успокоилась и, как жена, решила, что Мацукити, пожалуй, будет доволен, если я отнесу точильщику нож для разделки рыбы, за которым он больше всего следил. Завернула нож в платок и уже пошла, а ребенок: «Мам, ты куда?», я и говорю: «По делу, будь хорошим мальчиком, стереги дом», а он: «Можешь не возвращаться, я поеду в школу в деревню». «Что-то странное он говорит», – подумала я, стала расспрашивать, он и говорит, что соседский мальчишка смеялся над ним, мол, твоя мать дяде надоела, он ее бросил, – наверное, дети передавали родительские сплетни. Ребенок любит приемных родителей в деревне больше матери, которая стала посмешищем, – я, вне себя, отшлепала ребенка и под его плач выскочила из дома...

Томи сказала, что тогда у нее и в мыслях не было убивать Хидэ, а убежала она с желанием только наточить и привести в порядок нож.

Точильщик был занят другими заказами. Томи долго упрасивала, и через час ей наконец наточили нож. Выйдя от точильщика, она не захотела возвращаться домой и машинально направилась в сторону «Кисимото».

В «Кисимото» она попала как раз в тот момент, когда слегка улеглись бушевавшие там страсти: Хидэ с утра самовольно устроила себе выходной и прогуляла, а после обеда появилась как ни в чем не бывало, хозяйка ее ругала, Хидэ, кляня во всем Мацукити, плакала и просила прощения. Томи сказала, что хотела бы на улице перекинуться с ней парой слов, но вышедшая к ней Хидэ вела себя на удивление вызывающе.

Она уже переделалась в чистенький костюм для приема гостей и двигалась расслабленно, явно подражая походке гейши.

– Я сейчас пообещала хозяйке. Сказала, что порву с мужчиной, – кокетливо проговорила Хидэ.

У Томи сердце наполнилось было радостью, но Хидэ с веселым смехом сразу все переиначила:

– Ну, верно, дня три я смогу потерпеть.

Томи, изо всех сил сдерживаясь, пригласила Хидэ в ресторанчик суси и, угощая ее рюмочкой саке, постаралась поговорить с ней как старшая сестра, но Хидэ, вначале хранившая холодное молчание, опьянев, стала дерзить и, когда Томи просила ее, низко опустив в поклоне голову, откровенно отвернулась. Прошел час, на улице стемнело. Хидэ встала, сказав, что уходит, потому что не хочет, чтобы ругалась хозяйка.

У Томи в памяти не сохранилось, как они потом забрели в темноте на пустынный берег где-то в Хаматё. Томи кажется, что ноги сами занесли их туда, пока она старалась удержать порывавшуюся уйти Хидэ. Во всяком случае, это было не так, чтобы Томи с самого начала привела ее туда с целью убить.

Слово за слово, и в конце перебранки Хидэ, рассмеявшись так, что при слабо падающем на воду свете стали видны белые зубы, сказала:

– Зря вы все это мне говорите. Наверное, Мацукити и не любит вас оттого, что вы такая надоедливая.

– Эти слова все и решили, – излагала Томи и свое тогдашнее состояние передала следующим образом: —... Я как услышала это, кровь бросилась мне в голову, да что там говорить, уже и слов не было просить посочувствовать моим страданиям, то я была словно младенец в темноте, а тут будто огонь во мраке вспыхнул – я заплакала, в таком состоянии руки-ноги двигались сами собой, в беспомощности рука как-то развернула сверток, схватила нож, и на эту руку с ножом в темноте и наткнулась Хидэ – вот как все это было.

При этих словах публика и Хонда живо представили себе ребенка, печально сучащего в темноте ручками и ножками.

А Масуда Томи закрыла лицо руками и разразилась рыданиями; сзади было видно, как вздрагивают плечи под тюремной одеждой, и теперь в их спокойной округлости, напротив, воплотилось горе. Атмосфера среди зрителей, где первоначально присутствовало только любопытство, постепенно менялась.

Помутневшее от непрерывного дождя окно пропускало внутрь печальный свет, в этом свете, казалось, жила и дышала, печалью и стонами являла человеческие чувства одна Масуда Томи. Лишь она обладала правом чувствовать. Еще минуту назад люди видели пухлое, покрытое испариной женское тело, а сейчас они, затаив дыхание, напрягая зрение, смотрели, как из телесной оболочки вырывается чувство и корчится, подобно разделанной живой креветке.

Она вся была на виду. Преступление, совершенное втайне от людских глаз, теперь предстало всеобщему обозрению, приняв форму ее тела, и оно, это тело, раскрывало истинную суть преступления более очевидно, чем мораль или благочестие. Масуда Томи была более на виду, чем актриса, которая показывает на сцене лишь то, что намерена показать. Сделав свой мир достоянием смотревших на нее людей, она, по существу, вступила с ними в единоборство. Ее адвокат выглядел в защите довольно жалко. Маленькая Томи без гребней и шпилек, которыми украшают себя женщины, без драгоценностей, без роскошного, привлекающего взгляд кимоно вызывала интерес как женщина одним только своим преступлением.

– Будь в Японии суд присяжных, это тот случай, когда ее могли бы признать невиновной. Она кого хочешь уговорит, – опять прошептал секретарь на ухо Сигэкуни.

Сигэкуни задумался. Он думал о том, что раз человеческие страсти развиваются по своим законам, то ничто не может их остановить. Это была концепция, неприемлемая в современном праве, которое опиралось на человеческий разум и совесть.

«С другой стороны, – думал Сигэкуни, – суд, который слушает дело обвиняемого отстраненно, полагая себя с ним не связанным, сейчас уже определенно оказался с ним связанным, – и чувства, которые огненной лавой выплеснула Масуда Томи, позволили узнать то, с чем я сам никогда не соприкасался».

На посветлевшем, несмотря на дождь, небе кое-где разошлись облака, и все продолжающийся дождь стал падать уже в лучах солнца. От призрачно разлившегося света засверкали капли на оконном стекле.

Хонда мечтал, чтобы его разум всегда походил на такой свет, но он не мог отбросить и чувства, которые по-прежнему влекли его в жаркую тьму. Эта жаркая тьма таила очарование. Ничего, кроме очарования. Киёаки тоже был оттуда. Очарование, которое до самых глубин потрясло его жизнь, было на самом деле не жизнью, а судьбой. И Хонда решил на некоторое время воздержаться от советов, которые намеревался давать другу.

30

В преддверии летних каникул в школе Гакусюин случилось происшествие.

Исчез изумрудный перстень принца Паттанадида. Кридсада поднял шум, уверяя, что это кража, дело раздулось, Паттанадид же, успокаивая необдуманно высказывающегося двоюродного брата, хотел бы, чтобы случившееся не вышло за пределы узкого круга, но сам в душе тоже считал это кражей.

Школьное начальство в ответ на шум, поднятый Кридсадой, среагировало наилучшим образом. Ему сказали, что в Гакусюин воровства просто не может быть.

Эти нелады еще больше усилили ностальгию принцев, дошло до того, что они выразили желание вернуться на родину; открытый же конфликт их со школой начался со следующего события.

Комендант общежития внимательно выслушал объяснения принцев по поводу пропажи перстня, но в ходе этого объяснения отметил кое-какие противоречия.

После вечерней прогулки принцы зашли в общежитие, потом отправились на ужин, а когда вернулись в свою комнату, перстень исчез: Кридсада говорил, что двоюродный брат на прогулке был с перстнем, а когда пошел ужинать, оставил его в комнате, вот тогда-то его и украли, а сам принц Паттанадид помнил тот промежуток времени смутно: на прогулке точно перстень был у него на пальце, а оставил ли он его на время ужина в комнате или нет, он не помнил.

Это был очень важный момент: определить, потеря это или кража. Поэтому комендант уточнил маршрут их прогулки, и выяснилось, что в тот погожий вечер принцы зашли за ограду «императорской ложи», куда входило было запрещено, и там некоторое время лежали на травке.

Когда комендант до этого докопался, был душный день, дождь то шел, то переставал. Он сразу решил, что вместе с принцами поищет перстень, и предложил втроем прочесать место, где они были.

Императорской ложей называлось небольшое, окруженное газоном возвышение в одном из углов арены, на которой проходили тренировки и состязания в разных видах борьбы. Оно сохранялось в память об императоре Мэйдзи, который отсюда соизволил наблюдать тренировку учеников школы Гакусюин. В школе это было второе после священного дерева сакаки, посаженного руками императора, место поклонения.

В сопровождении коменданта принцы теперь уже официально вошли за ограду. Поднялись в «ложу», но мелкий дождь намочил траву, и искать что-то по всей этой площади в 150–200 квадратных метров было непросто.

Посчитав, что искать только там, где принцы лежали беседовали, недостаточно, они, разделившись, с трех сторон принялись за тщательные поиски, осматривая под усиливающимся, бьющим по спине дождем каждую травинку.

Кридсада, всем своим видом выражая несогласие, занял свое место, недовольно ворча, а мягкий Паттанадид – ведь это был его перстень! – послушно осматривал отведенную ему часть склона.

Принцам впервые пришлось заниматься такой работой – тщательно, по травинке перебирать газон. И сейчас, что и говорить, они надеялись на блеск золотых демонов, ведь зелень изумруда было легко спутать с зеленью травы.

Дождь по стоячему воротнику школьной формы пробирался за шиворот, тек по спине, и принцы страстно мечтали о родном теплом тропическом ливне. Бледная зелень травы у корней казалась освещенной солнцем, но в тучах не было просветов, и маленькие беленькие цветочки сорняков на мокром газоне, даже поникнув под каплями дождя, хранили сухой глянец своих

лепестков. Иногда попадались зубчатые листья высоких трав, под ними не мог прятаться перстень. Но их все-таки отворачивали, и там вдруг оказывался укрывающийся от дождя жучок.

Из-за того что Паттанадид близко наклонялся к траве, она постепенно стала казаться все крупнее и вызывала в памяти буйство джунглей там, на родине, в период тропических ливней. Мнилось, что между травинками вот-вот завихрятся кучевые облака, небо здесь засинеет, там потемнеет и через секунду грянет гром.

Принц с жаром искал сейчас вовсе не перстень с изумрудом. В этой постоянно обманывающей его зелени он с каким-то остервенением искал ускользающий, потерянный лик Йинг Тьян. Ему хотелось плакать.

В этот момент, набросив на плечи свитера поверх спортивной одежды, под зонтами мимо проходила группа спортсменов; они остановились посмотреть, что тут делается.

Слухи о пропаже перстня уже разошлись по школе. Однако мало кто сочувствовал потере и желал успеха этим усиленным поискам – поискам мужского перстня, который воспринимался как привычка к изнеженности, признак слабости. Проходившие мимо спортсмены поняли, что принц, склонившись, ищет именно этот перстень, тут еще добавилась враждебность к Кридсаде, распускавшему слухи о воровстве, и посыпались ядовитые замечания и насмешки. Но в их поле зрения еще не попала фигура коменданта. Они были поражены, когда тот, подняв голову, с пугающей любезностью предложил им помочь, тут все разом примолкли и разбежались.

Принцы и комендант уже сближались, двигаясь к центру террасы и чувствуя, как быстро улетучивается надежда. К тому времени дождь прекратился и проглянуло солнце. Его косые на склоне дня лучи заставили мокрый газон засверкать, он покрылся тенями от травинок.

Паттанадид увидел, как в тени одной из травинок пятнышком лежит зеленый огонек изумруда. Но когда принц мокрыми руками развел траву, то оказалось, что это по земле рассеялся свет и золотом блестят лишь обнажившиеся корни травы, а не кольцо.

Киёаки уже потом выслушал рассказ об этих бесплодных поисках. Действия коменданта по-своему были верными, но нельзя было отрицать, что они нанесли принцам незаслуженное оскорбление. Под этим предлогом принцы, собрав вещи, выехали из общежития и перебрались в лучшую гостиницу; Киёаки они сказали, что в любом случае в ближайшее время намерены вернуться в Сиам.

Маркиз Мацугаэ, услышав от сына эту историю, был очень расстроен. Если прямо так отпустить принцев домой, то у них в душе останется обида и на всю жизнь сохранятся неприятные воспоминания о Японии. Маркиз попробовал было уладить конфликт между принцами и школой. Но позиция принцев была твердой, и примирения не предвиделось. Поэтому маркиз решил, что он выждет время, прежде всего воспрепятствует немедленному возвращению принцев домой, а потом постарается придумать способ смягчить их сердце.

Приближались летние каникулы. Маркиз, посоветовавшись с Киёаки, принял решение в каникулы пригласить принцев на дачу Мацугаэ у моря и приставить к ним Киёаки.

31

Киёаки получил от отца разрешение пригласить с собой и Хонду. Поэтому в первый день лета четверо молодых людей на поезде выехали из Токио.

Когда отец приезжал на эту свою дачу в Камакуру, на станции его обычно встречали городской глава, начальник полиции и еще множество других официальных лиц, а дорога от станции Камакура до дачи в Хасэ посыпалась привезенным с морского берега белым песком. Сейчас маркиз заранее через секретаря предупредил власти, чтобы молодым людям, пусть это даже принцы, никаких встреч не устраивали, и они прекрасно добрались от станции на рикшах. В конце кружного пути, который пролегал через зеленые заросли, возникли сложенные из крупных камней ворота. На воротах было вырезано: «Приют на крайнем юге» – так называлось стихотворение китайского поэта Оу Макицу...

Японский «Приют на крайнем юге» полностью занимал лощину площадью больше трех гектаров. Построенный в свое время дедом дом с крышей из соломы и тростника несколько лет назад сгорел, и нынешний хозяин сразу же выстроил на этом месте загородный дом в смешанном японско-европейском стиле, где было двенадцать комнат для гостей, а территорию, которая тянулась к югу от террасы, всю превратил в европейский парк.

С обращенной на юг террасы вдаль был виден остров Осима, извергаемый вулканом огонь в ночном небе напоминал далекий костер. До песчаного берега Юигахама через парк можно было пешком добраться за несколько минут. Там обычно купалась в море мать, и маркиз, случалось, развлекался, наблюдая за ней с террасы в бинокль. Правда, между морем и парком были поля, и это несколько портило вид, поэтому, чтобы закрыть поля, южную оконечность парка начали засаживать соснами – когда они разрастутся, то вид на парк будет переходить в вид на море, но зато кончатся и развлечения с биноклем.

Великолепие этого летнего пейзажа было ни с чем не сравнимым. Лощина словно раскрывалась веером, поэтому нависшая скала Инамурагасаки справа и остров Иидзима слева казались продолжением гребня гор, закрывающих парк с востока и с запада, – а небо, земля и море между двумя мысами создавали ощущение, что территория виллы Мацугаэ простирается бесконечно. Нарушали это впечатление только тени облаков, плывущих куда им вздумается, редкие птицы да маленькие корабли далеко в море.

Летом, когда облака принимают самые причудливые формы, веерообразное подножие горы виделось зрительным залом, поверхность безбрежного моря – сценой, и на этой сцене облака исполняли свой бурный танец.

С открытой террасы, на которую архитектор не соглашался класть паркет, а маркиз ругался с ним, убеждая: «Разве корабельные палубы делают не из дерева?» – и заставил-таки выложить квадраты из особо прочного тикового дерева, с этой террасы Киёаки, бывало, днями напролет наблюдал за тем, как причудливо меняется море облаков.

Это было прошлым летом. Грустный свет падал куда-то очень глубоко в складки облаков, которые застыли над морем, словно взбитые сливки. Свет, вырезая какие-то фигуры, придавал этой массе еще большую прочность. Но в прогалинах между облаками, там, где свет тоскливо застывал, дремало, казалось, другое время, текущее куда более медленно, чем здесь. А там, где надутые щеки облаков попадали под этот свет, наоборот, оно летело – быстрое, печальное время. И это были абсолютно необитаемые пределы. Поэтому и сон, и печаль – все было игрой природы. Пока он смотрел в одну точку, форма облаков совсем не менялась, но стоило на миг отвести глаза, и она моментально преображалась. Гордые гривы незаметно превращались в растрепанные со сна волосы. Пока взгляд устремлен на них, они спокойны, не шелохнутся, так и застыли в беспорядке.

Что же там нарушилось? Словно ослаб дух, и в следующее мгновение наполненная светом, напряженно твердая, прочная белая форма уже производит впечатление абсурдной, нелепой, аморфной. Но это освобождение. Киёаки доводилось видеть, как разорванные облака, сбившись в кучу, странной тенью, неотвратимо, как судьба, надвигаются на парк. В такие моменты сначала заволакивало песчаный берег и поля, потом с южной границы парка тучи наплзали сюда, к террасе, и по мере того, как постепенно темнела искрящаяся мозаика листьев на склонах парка, где тесно были посажены подстриженные клены, священное деревце сакаки, чайное дерево, кипарисовик, дафна, азалия, камелия, сосна, самшит, разные виды криптомерии, – их стригли так же, как в уединенном дворце Сюгакуин, – даже стрекот цикад словно заволакивало трауром.

Особенно красивы были закаты. Когда подходило время заката, все облака сначала словно примеряли тот цвет – алый, пурпурный, оранжевый, бледно-зеленый, в какой они вскоре окрасятся. А перед тем как окончательно расцветиться, облака от напряжения непременно бледнели...

– Изумительный парк, я представить себе не мог, что японское лето так красиво, – сверкая глазами, проговорил Тьяо Пи.

Этому месту ничто так не шло, как смуглая кожа стоящих на террасе принцев. Сегодня у них на душе посветлело.

Киёаки и Хонда чувствовали, что солнце припекает, а принцам его лучи казались мягкими, в самый раз, они прекрасно чувствовали себя на солнцепеке.

– Умоюсь, чуть отдохнем, и я поведу вас в парк, – сказал Киёаки.

– Зачем это отдыхать, мы ж молодые и здоровые, – откликнулся Кридсада.

Киёаки подумал, что принцам больше всего нужно было лето, больше, чем перстень с изумрудом, Йинг Тьян, друзья, школа. Казалось, лето восполняет принцам недостаток чего угодно, смягчает любые печали, возмещает любые потери.

Киёаки, воображая палящий зной незнакомого Сиам, почувствовал, что его тоже пьянят внезапно заполонившие все вокруг тепло и солнце. Стрекот цикад заливал парк, и холодный рассудок исчез, словно испарился со лба холодный пот.

Все вместе они подошли к солнечным часам на широком газоне, расстилавшемся ниже террасы.

На старых солнечных часах, на которых было вырезано: 1716 Passing Shades, бронзовая, с орнаментом из причудливых арабесок стрелка, напоминающая по форме вытянувшую шею птицу, была установлена точно между северо-западом и северо-востоком на римской цифре XII, а тень уже приближалась к трем часам.

Хонда, водя пальцами по циферблату около буквы S, пытался выяснить у принцев, в какой же стороне находится Сиама, но потом прекратил свои шутки, побоявшись снова вызвать у них ностальгию. Машинально он повернулся спиной к солнцу, его тень накрыла солнечные часы и скрыла ту тень, что указывала на три часа.

– Да. Вот так и следует поступать, – заметив это, сказал Тьяо Пи. – Если простоять так весь день, то можно уничтожить время. Я, вернувшись домой, прикажу сделать в парке такие же часы. Когда выдастся чудесный счастливый день, я прикажу слугам закрыть часы своей тенью и заставлю время остановиться.

– Но слуги умрут от солнечного удара. – Хонда, отступив в сторону, пропустил яркие солнечные лучи на циферблат и дал вернуться указывающей на три часа тени.

– Да нет, у нас слуги спокойно выдерживают под солнцем целый день. Хотя солнце, наверное, раза в три жарче, чем здесь. – Это уже сказал Кридсада.

Киёаки представилось, что эта сияющая шоколадная кожа наверняка скрывает внутри темный прохладный мрак и обладатели его укрываются в собственной тени.

Киёаки вдруг загорелся желанием развлечь принцев прогулкой по горной дороге, и Хонде пришлось без передышки, не имея времени отереть пот, тащиться за ними в гору. Хонду изумляла энергия, с которой Киёаки, прежде ко всему равнодушный, сейчас шел впереди всех.

Однако когда подъем закончился и они достигли гребня горы, в тени сосен их встретил морской ветер, во всем блеске предстал песчаный пляж Юигахама, и пот, выступивший во время восхождения, мгновенно высох.

К молодым людям вернулась живость отрочества, и они двинулись под предводительством Киёаки узкой, почти скрытой бамбуком и папоротником тропинкой по гребню горы.

Киёаки, ступавший не глядя по прошлогодним листьям, вдруг остановился и, указывая на северо-запад, воскликнул:

– Смотрите. Только отсюда видно!

Юноши увидели сквозь деревья в расстилавшейся внизу соседней лощине кучку довольно убогих домишек и тут же заметили возвышающуюся над всем этим статую Большого Будды.

Отсюда были видны в общих чертах складки одеяния на круглой спине и профиль лица, что-то угадывалось там за обтекаемой формы рукавом, плавно спадающим с покатога плеча, но лучи солнца заставляли сиять округлость бронзовых плеч, ясный свет ровно падал на широкую грудь. В свете заходящего солнца вырисовывался каждый бронзовый завиток прически. Длинная, спускающаяся мочка уха казалась диковинным плодом, свисающим с тропического дерева.

Хонда и Киёаки были озадачены поведением принцев, которые, увидев Большого Будду, сразу пали на колени. Принцы, не жалея белых полотняных брюк с идеально заутюженными стрелками, опустили на мокрый ворох опавших бамбуковых листьев и молитвенно сложили ладони перед облитой летним солнцем статуей.

Киёаки и Хонда имели неосторожность переглянуться. Подобная вера была им далека, она отсутствовала в их жизни. Конечно, у них не было желания смеяться над религиозностью принцев, но им показалось, что те, кого они до сих пор считали школьными приятелями, вдруг улетели в мир других понятий и верований.

32

Спустившись с горы и обойдя все уголки парка, молодые люди наконец успокоились и, отдыхая в гостинице, продуваемой морским ветром, открыли бутылку привезенного из Иокотамы и остуженного в колодезной воде лимонада. Это сразу сняло усталость, и, объятые нетерпением засветло отправиться к морю, все кинулись переодеваться. Киёаки и Хонда обернули вокруг бедер повязки, как это было принято в школе Гакусюин, набросили купальные халаты из белого полотна, на голову надели соломенные шляпы и ждали, когда будут готовы принцы. Появившиеся вскоре принцы были в английских купальных костюмах в поперечную полоску, оголенные места были шоколадного цвета.

Хотя они давно дружили, но до сих пор Киёаки еще не приглашал Хонду на эту дачу летом. Хонда побывал здесь только однажды осенью, когда приезжал собирать каштаны. На море с Киёаки Хонда бывал в детстве на пляже школы Гакусюин в Катасэ, но в то время они еще не были такими близкими друзьями.

Вчетвером они стремительно промчались через парк, через еще молодую сосновую рощицу и между полосками полей выбежали на песчаный берег.

Принцы с улыбкой наблюдали, как Хонда и Киёаки перед купанием усердно делают гимнастику. В этой улыбке была легкая месть им, не преклонившим колени перед восседавшим вдалеке Буддой, и, конечно, в глазах принцев подобное современное самоистязание выглядело странным со всех сторон.

Однако именно эта улыбка лучше всего свидетельствовала о том, что они чувствуют себя свободно и непринужденно. Киёаки давно уже не видел у своих иноземных друзей таких веселых лиц. Они вволю порезвились в воде, а потом растянулись на песке: Киёаки даже забыл о своих обязанностях хозяина, и молодые люди расположились парами, чтобы общаться на родном языке.

Заходящее солнце было окутано легкими облаками и теряло недавнюю силу, для слишком белой кожи Киёаки оно сейчас было в самый раз. Он лег на спину, привольно раскинувшись в мокрой повязке на песке, и закрыл глаза.

Хонда сидел слева от него, скрестив ноги, и смотрел на море. Море было спокойным, легкое движение волн зачаровывало.

Глаза Хонды, казалось, были на одном уровне с морем, оно кончалось прямо перед ним, и странным представлялось, что он лежит на берегу.

Хонда пересыпал из ладони в ладонь сухой песок; когда рука пустела, сразу набирал новую горсть; и глазами, и сердцем его полностью завладело море.

Здесь море обрывалось. Всеобъемлющее, наполненное невиданной силой море кончалось прямо перед глазами. Ничто не дает возможности так почувствовать тайну пространства ли, времени ли, как положение на краю. Разве не кажется, что, расположившись на границе между морем и сушей, ты присутствуешь при решающем моменте истории – переходе от одного времени к другому. И нынешняя жизнь Хонды и Киёаки – всего лишь тот миг, когда волна нахлынула и отхлынула от берега.

...Море кончается сразу перед тобой. Когда смотришь на гребень волны, то думаешь, не здесь ли волна в конце долгих, бесконечных усилий печально завершает свой путь. Здесь обращается в ничто грандиознейший замысел, воплощенный в толще воды вселенского масштаба.

...И все-таки – это какой-то мирный, несущий добро крах.

На кромке – последних остатках волны – она, израсходовав смятение чувств, сливается с влажной ровной зеркальной поверхностью песка и, оставив лишь бледную пену, отступает обратно в море.

Пенящиеся волны начинают разрушаться далеко в море, и каждая большая волна всегда являет собой одновременно и взлет, и вершину, и падение, и растворение, и отступление.

Слабеющие, выставляющие свое оливкового цвета гладкое нутро волны еще волнуются и ревут, но их рев постепенно переходит просто в крик, а крик – в тихий шепот; огромные, несущиеся галопом белые кони становятся маленькими белыми лошадками, вскоре этот развернутый строй конских тел исчезнет, и на прибрежной полосе останутся, ударив в последний раз, только белые копыта.

Пока две теснящие одна другую волны, расходясь веером, незаметно растворяются слева и справа в зеркальной поверхности, по ней постоянно движутся тени. В зеркале отражаются резкой вертикалью вскипающие, поднявшиеся на цыпочки пенящиеся волны, они кажутся там искрящимися ледяными колоннами.

Там, куда волны откатываются, они превращаются в одну – многослойную, сложенную из подступающих сюда одна за другой волн, тут уже нет белых гладких спин. Все метят сюда, все скрежещут зубами. Но когда взгляд устремляется дальше в море, то оказывается, что валы, такие грозные здесь, у берега, там – всего лишь слабо колеблющийся слой воды.

Дальше, дальше от берега море сгущается, собирает воедино разбросанное по волнам, постепенно сжимается, и в густо-зеленой глади воды одним твердым кристаллом застывает безграничная синь. Расстояние, поверхность – это все видимость; именно этот кристалл и есть море, то, что застыло синим на раздвоенном краю этих беспокойных прозрачных волн, вот это и есть море...

В этой точке своих мыслей Хонда ощутил усталость в глазах, усталость в душе и перевел взгляд на лежащего Киёаки, который вроде бы и на самом деле уснул.

Его белое, красивое, гибкое тело составляло резкий контраст с красной повязкой вокруг бедер – единственной в данный момент одеждой; сверкающий высохший песок и мелкие осколки ракушек оттеняли полосу там, где белая, чуть вздымающаяся от дыхания грудь граничила с полоской материи. Киёаки закинул левую руку, подложив ее под затылок, и Хонда заметил у него на левом боку с внешней стороны от левого соска, там, где это обычно скрыто под рукой, три маленькие, похожие на почки сакуры родинки. Физические особенности – странная вещь: эти родинки, обнаруженные впервые за долгий период общения, представились Хонде тайной, которую беспечный друг невольно открыл ему, и он постеснялся рассматривать их.

Хонда закрыл глаза, и пятнышки отчетливо всплыли под веками, как далекие тени птиц в вечернем, испускающем яркий свет воздухе. Казалось, вот-вот послышится хлопанье крыльев и над головой пролетят три самые настоящие птицы.

Открыв глаза, он увидел, как у Киёаки из красиво вылепленных ноздрей вырывается сонное дыхание, как поблескивают между слегка приоткрытыми губами влажные белые зубы. Глаза Хонды опять вернулись к трем родинкам на боку. Теперь они казались песчинками, прилипшими к белому телу.

Сейчас прямо перед глазами Хонды кончался песчаный берег; ближе к волнам он, покрытый кое-где рисунком из сухого белого песка, натягивался чернеющим полотном, там были вырезаны узоры, оставленные волнами; мелкие камешки, ракушки, сухие листья, словно окаменелости, впечатались в песок, и любой, даже самый маленький камешек оставлял прочерченный схлынувшей водой извилистый след, ведущий к морю.

Здесь были не только мелкие камешки, ракушки, сухие листья. Выброшенные на берег бурые водоросли, щепки, стебли рисовой соломы, даже кожа созревающих летом мандаринов мозаикой украшали песок, и что-то такое могло прилипнуть крошечными черными зернышками к белой упругой коже Киёаки. Они были как-то не к месту, и Хонда задумался было, как бы смахнуть их, не разбудив друга, но, присмотревшись, увидел, что эти крошечные

крупинки движутся в такт дыханию, что это часть его тела, не что-то чужеродное, а именно родинки.

Родинки давали почувствовать в изяществе этого тела некий изъян.

Киёаки вдруг открыл глаза, будто кожей ощутил слишком пристальный взгляд, встретился с Хондой глазами и, оторвав от песка затылок, глядя в растерянное лицо друга, сказал:

– Ты мне поможешь?

– Чем?

– Я приехал в Камакуру вроде как сопровождать принцев, но на самом деле, чтобы прошел слух, будто меня нет в Токио, понимаешь?

– Думаю, что да.

– Я буду оставлять тебя с принцами, а сам иногда потихоньку ездить в Токио. Я не могу вытерпеть без нее и трех дней. Ты сможешь как-то скрыть мое отсутствие от принцев, а если вдруг что случится и позвонят из дома, то по-умному отвертеться. И сегодня я третьим классом с последним поездом уеду в Токио, а завтра первым утренним вернусь. Договорились?

– Хорошо.

Хонда решительно брал все на себя, и Киёаки со счастливым лицом пожал руку товарища. Затем заговорил снова:

– Твой отец, наверное, тоже будет на официальных похоронах принца Арисугавы.

– Да, наверное.

– В удачный момент тот скончался. Вчера я как раз слышал, что теперь празднование помолвки в доме принца Тоина отложат.

Слова друга заставили Хонду снова остро ощутить опасность: любовь Киёаки уже связывалась с государственными делами.

Тут их разговор прервали: подбежали оживившиеся принцы, и Кридсада, задыхаясь, на своем плохом японском прокричал:

– Знаете, о чем мы сейчас говорили с Тьяо Пи? Мы рассуждали о возрождении!

33

Киёаки и Хонда с недоумением переглянулись, но легкомысленному Кридсаде было не до того, чтобы следить за выражением их лиц. У Тьяо Пи, за эти полгода изрядно натерпевшегося в чужой стране, румянец смущения на щеках не был замечен из-за цвета кожи, но видно было, что он колеблется, стоит ли продолжать разговор. Посчитав, наверное, что это прозвучит подобающим образом, Паттанаид на хорошем английском начал рассказывать:

– Ну, мы с Кри сейчас говорили о джатаках, которые нам в детстве часто рассказывала кормилица: Будда в прошлых жизнях как бодхисатва – наделенный просветлением – возрождался по очереди: как золотой гусь, как перепел, как обезьяна фокусника, как король-олень, и нам было интересно гадать, кем мы были в прошлой жизни. Мне обидно, что Кри настаивает, будто бы в прежней жизни он был оленем, а я обезьяной, я считаю, что именно я был оленем, а уж он точно обезьяной, вот мы и поспорили. А вы как думаете?

Принять чью-либо сторону было бы невежливо, и Киёаки с Хондой просто молча улыбались. Чтобы сменить тему, Киёаки попросил рассказать какую-нибудь из джатак, ведь они с Хондой не знают ни одной.

– Ну что ж, я расскажу о золотом гусе, – сказал Тьяо Пи. – Это история о второй в цепи возрождений жизни Будды, когда он был бодхисатвой. Вы ведь знаете, что бодхисатва упорно проходит через необходимые ступени подготовки, прежде чем ему откроется истинная суть Будды. Будда тоже в предыдущих жизнях был бодхисатвой. Считается, что бодхисатва учится тому, как идти к высшему прозрению, как сострадать всему живому, как достичь нирваны, и у Будды в цепи его возрождений накапливались добродетели.

Давным-давно бодхисатва, родившийся в семье брахмана, взял в жены женщину из той же касты. У них родились три дочери, но брахман вскоре покинул этот мир, и осиротевшую семью заставили покинуть дом.

Умерший бодхисатва получил следующее рождение в теле гуся, но сохранил воспоминание о предыдущей жизни. Гусь вырос и превратился в дивное существо, покрытое золотыми перьями. Когда птица двигалась по воде, тень ее сияла подобно отражению луны. Когда она летала меж деревьев, то сквозь листву сияла, как золотая корзинка. Когда она отдыхала на ветке, то казалось – созрел невиданный золотой плод.

Птица знала, что была раньше человеком, и знала, что оставшиеся жена и дочери переселены в другой дом и еле-еле зарабатывают на жизнь случайной работой. Вот она и подумала: «Если расплющить мое перо, то выйдет золотая пластинка и ее можно продать. Буду-ка я давать по одному перу моей бедной, несчастной семье – той, что оставил в мире людей».

Гусь через окно взглянул на нищенскую обстановку дома, где жили жена и дочери, и его охватила жалость. А они были поражены, увидав на окне горевшую золотом птицу.

«Ах, какая красавица. Откуда же ты?»

«Я ваш муж и отец. После смерти возродился в теле золотого гуся; теперь вот прилетел повидаться с вами и облегчить вам тяжелую жизнь». И птица, отдав золотое перо, улетела.

Так птица стала иногда прилетать и оставлять золотое перо. Поэтому семья зажила в явном достатке.

Однажды мать сказала дочерям:

«Чужую душу не поймешь. И ваш отец-гусь когда-нибудь перестанет прилетать. На этот раз выщиплем у него все перья».

«Ах, мама, это жестоко», – запротестовали было дочери, но жадная мать заманила прилетевшего в очередной раз золотого гуся, схватила его обеими руками и выщипала все перья. Но, странное дело, вырванные золотые перья побелели, как у журавля. Птицу, которая не могла уже летать, бывшая жена посадила в большой горшок и кормила, надеясь, что у той опять

вырастут золотые перья. Но новые перья все были белыми, и когда они отросли, гусь взлетел и, превратившись в белую точку, смешался с облаками: больше он не возвращался.

Вот это одна из джатак, что нам рассказывала кормилица.

И Хонда, и Киёаки подивились тому, как похож этот рассказ на то, что слышали они в детстве, но разговор уже перешел в спор, верить или не верить в возрождение.

Ни Хонда, ни Киёаки прежде никогда не оказывались вовлеченными в подобный спор, поэтому несколько растерялись. Киёаки вопросительно поднял глаза на Хонду. Обычно независимый Киёаки в абстрактном споре обязательно с надеждой смотрел на товарища, и это, словно серебряной шпорой, легонько кольнуло сердце и подстегнуло его красноречие.

– Допустим, что возрождение существует, – несколько поспешно поддержал разговор Хонда. – Тогда могут быть случаи, как в рассказе об этом белом гусе, когда сохраняются знания о предыдущей жизни, но если это не так, то единожды невоплощенный дух, единожды потерянная мысль не оставят никакого следа в следующей человеческой жизни. Получается, что возникнет другая, новая душа, независимая мысль... Выходит, каждое воплощение вытянувшихся во времени предыдущих жизней, возрождений – всего лишь конкретный индивид из числа живущих в определенный отрезок времени... Не делает ли это бессмысленным понятие возрождения?

Если существует идея возрождения, то, наверное, существует и идея, объединяющая несколько других, не имеющих к первой никакого отношения. Мы не помним сейчас ничего из предыдущей жизни, похоже, отсюда и тщетность попыток доказать возможность возрождения. Ведь чтобы доказать это, необходима концептуальная точка, которая позволит взглянуть одновременно на прошлую и настоящую жизни и сравнить их, но человеческая мысль обязательно привязана к чему-то одному – прошлому, настоящему или будущему – и никак не может вырваться из пространства субъективной мысли, поместившейся в центре истории. Эта точка напоминает буддийское понятие «отстраненности», но я сомневаюсь, что вообще человеческой мысли может быть свойственна отстраненность.

И кстати, вот еще что: если задуматься над разного рода заблуждениями, свойственными человеку, то окажется, что необходима третья точка зрения, которая могла бы при возрождении разделить все заблуждения теперешней жизни на те, что были в прошлой, и те, что возникли в настоящей, но и сама эта третья точка зрения, доказав, что возрождение существует, станет вечной загадкой для попавших в цепь возрождений. И эта третья точка зрения есть, по видимому, точка зрения включенного сознания, поэтому идею возрождения смогут воспринять только те, кто поднялся выше ее, и вот тогда, когда они воспримут эту идею, возрождение как таковое перестанет существовать.

Мы, живые, в полной мере владеем представлением о смерти. На похоронах, на кладбище, в возлагаемых там цветах, в памяти об умерших, в смерти близких нам людей мы представляем себе собственную смерть.

В таком случае и умершие, очевидно, в полной мере и многообразии обладают представлением о жизни. Они видят ее из страны мертвых в наших городах, школах, в дыму заводов, в людях, постоянно умирающих и постоянно рождающихся.

Так, может быть, возрождение означает всего лишь наш взгляд на жизнь с позиций смерти в противоположность взгляду на смерть с позиций жизни? Разве это не попытка по-другому взглянуть на мир – и только?

– Ну а почему же тогда мысль и дух попадают в мир и после смерти? – спокойно возразил Тьяо Пи.

Хонда на подъеме заключил небрежным тоном:

– Это уже не проблема возрождения.

– Почему же? – мягко сказал Тьяо Пи. – Ты ведь признаешь, что некая мысль может через какое-то время переселиться в другое тело. Тогда, пожалуй, нет ничего странного в том, что одинаково телесные оболочки наследуют через определенное время многообразие мысли.

– Человек и кошка – это одинаково телесные оболочки? Или, как в этих сказках, человек, белый гусь, перепел, олень?

– В концепции их называют одинаково телесным воплощением. Пусть конкретное воплощение меняется, если дхарма непрерывна, то не возбраняется считать это одинаково телесным воплощением. Может, это стоит называть не воплощением, а течением одной жизни?

Вот я потерял изумрудный перстень, с которым связано столько воспоминаний. Перстень – неживой предмет, поэтому его возрождения не случится. Но что такое утрата? Она представляется мне основанием для возникновения. Перстень явится когда-нибудь изумрудной звездочкой на ночном небе...

Тут принц поник и, казалось, потерял интерес к беседе.

– Тьяо Пи, а вдруг перстень – это некое существо, тайком обернувшееся перстнем? – простодушно добавил Кридсада. – Может, оно убежало куда-нибудь на собственных лапках?

– Ну, тогда и перстень тоже сейчас, быть может, воплотился в красавицу, похожую на Йинг Тьян. – Тьяо Пи вдруг вспомнил свою любовь. – Все говорят мне, что она здорова. Но почему же от нее самой нет известий? Меня просто утешают.

Хонда теперь слушал вполуха: он погрузился в размышления по поводу удивительного парадокса, изложенного Тьяо Пи. Действительно, человека можно рассматривать не как физическую особь, а как течение жизни. Возможна точка зрения, при которой человек являет не статическое, а динамическое существование. Тогда, как сказал принц, безразлично, наследуется ли одна и та же мысль различными «жизнями» или одна «жизнь» служит прибежищем разнообразию мыслей. Ведь жизнь и мысль оказываются тождественными. Если в широком смысле принимать тождество мысли и жизни, тогда огромную цепь жизни, которая вбирает бесконечно много жизней, называемую круговоротом человеческого существования, можно свести к одной мысли.

Пока Хонда был погружен в раздумья, Киёаки, сгребая песок, в свете заходящего дня вместе с Кридсадой сосредоточенно строил храм. Песку трудно было придать форму сиамских остроконечных башен и украшений на крыше. Кридсада, ловко набрасывая смешанный с водой песок, возводил миниатюрную остроконечную башню и прилежно выводил узор, который тянулся по крыше из мокрого песка, словно извлекал из женского рукава темные тонкие пальцы. Но вытянутые на мгновение, судорожно стремящиеся спрятаться пальцы из темного песка, стоило им чуть подсохнуть, морщились и рассыпались.

Хонда и Тьяо Пи, прекратив дискуссию, стали смотреть на детскую возню с песком, которой два других приятеля предавались с видимым удовольствием. Песчаному храму уже требовалось освещение. Вечерний мрак сровнял затейливо изукрашенный фасад и вытянутые окна, превратил его в темную глыбу с расплывчатыми контурами, храм стал неясной тенью на белом, как белки глаз в предсмертный час, фоне, куда разбивающиеся пенящиеся волны будто собрали весь медленно тающий свет.

Над головой незаметно появилось звездное небо. Там повис Млечный Путь; Хонда плохо знал звезды, но все-таки определил разделенных серебряной рекой Ткачиху и Волопаса, а также крест Лебеда, раскинувшего огромные крылья, чтобы соединить влюбленных.

Юношам казалось, что они заключены в невиданно огромный музыкальный инструмент, похожий на кото: вокруг был грохот волн, сейчас звучащий громче, чем днем, море с песчаным берегом, разделяемые светом, но слившиеся воедино во мраке, звезды, нескончаемой толпой высыпавшие на небе.

Это точно кото! Они – четыре песчинки, попавшие под деку, где мир безграничного мрака, но снаружи блистающий мир, и когда натянутых струн случайно касаются белые пальцы,

музыка неторопливого вращения звезд заставляет греметь инструмент и сотрясает четыре песчинки, прилипшие ко дну.

Ночь принесла с моря легкий бриз. Аромат прилива, запах выброшенных на берег водорослей будоражили чувства, овеявая подставленные прохладе обнаженные тела. Влажный ветер остужал тело, а изнутри навстречу ему рвался огонь.

– Ну, пошли, – неожиданно сказал Киёаки.

Конечно, это означало приглашение к ужину. Но Хонда знал, что тот думает только о последнем поезде.

34

Киёаки раз в три дня обязательно тайком ездил в Токио и, вернувшись, рассказывал Хонде подробности происходящих там событий: было объявлено, что церемония помолвки в доме принца Тоина определенно откладывается. Однако это, конечно, не означало, что появились какие-то препятствия к замужеству Сатоко. Ее часто приглашали туда, и отец, принц Тоин, был с ней очень сердечен.

Киёаки все чего-то не хватало. Теперь он задумал каким-нибудь образом привезти Сатоко сюда, на дачу, чтобы провести с нею ночь, и собирался воспользоваться для осуществления этого опасного плана способностями Хонды. Однако даже при размышлении об этом сразу обнаруживалось множество сложностей.

Как-то раз душным вечером, когда трудно было заснуть, Киёаки, ненадолго забывшись, увидел сон, который прежде к нему не приходил. Этот неглубокий сон был похож на мелководье, где ноги колют стывшая вода и принесенный с моря и скопившийся на берегу мусор.

...Киёаки почему-то в непривычной для себя одежде – белом полотняном кимоно и белых штанах хакама – стоит с ружьем на дороге посреди поля. Это довольно холмистая долина, вдалеке видны крыши домов, по дороге едут машины, и все наполняет странный печальный свет. Он напоминает потерявшие силу последние лучи заходящего солнца, но непонятно, откуда он исходит – то ли с неба, то ли с земли. Покрывающая долину трава тоже испускает зеленый свет, и удаляющиеся машины сами по себе светятся серебром. Взглянув на ноги, он видит, как необыкновенно ясно и четко выступают и толстые белые ремешки гэта, и вены на подъеме ноги.

Тут свет померк, стая птиц, появившаяся откуда-то издалека, пронеслась над головой, оглушительно хлопая крыльями, и Киёаки, вскинув ружье к небу, спустил курок. Это был не просто выстрел. Непонятный гнев и печаль переполняли его, и стрелял он не в птиц, а прямо в огромное синее око небосвода.

Разом на землю обрушились подстреленные птицы, смерч из стонов и крови связал небо и землю: тысячи птиц с криком, роняя капли крови, сбились в один толстый столб и все падали и падали... Это нескончаемое падение, смерч из крови и стонов все длились и длились.

Вдруг смерч на глазах застыл и превратился в огромное дерево, вытянувшееся до самого неба. Оно состояло из мертвых тушек птиц, и его ствол был необычного красно-бурого цвета, без веток и листьев. Когда формы дерева-великана застыли, крики разом смолкли; все вокруг снова наполнилось печальным светом, а по дороге среди долины, покачиваясь, катилась новая серебряная машина без людей.

Киёаки наполнила гордость: ведь это он сорвал пелену, заволакивавшую небо.

Потом вдали на дороге показалась группа людей в таких же, как у него, белых одеяниях. Они торжественно приближались и остановились перед ним в нескольких метрах. Присмотревшись, он увидел, что в руках они держали глянцевые ветви священного деревца сакаки.

Прошуршали листья: это они помахали ветвями перед Киёаки, чтобы очистить его.

В одном из них Киёаки с удивлением узнал своего секретаря Иинуму. Тот неожиданно произнес:

– Ты бог беды. Точно.

Услышав это, Киёаки оглядел себя. В мгновение его шею украсило священное ожерелье из бледно-лиловых и пурпурных камней, он ощутил на груди их холодное прикосновение. Сама грудь была гладкой, как скала.

Оглянувшись туда, куда показывал человек в белом, он увидел, как на огромном дереве из птичьих трупиков ярко зазеленела листва, все оно до нижних ветвей покрылось сочной зеленью.

...Здесь Киёаки проснулся.

Это был необычный сон, поэтому, открыв дневник, к которому давно не прикасался, он начал подробно записывать сновидения, но и сейчас наяву все еще ощущал в теле жар удовлетворения содеянным. Ему казалось, что он только что вернулся с поля битвы.

Чтобы глубокой ночью привезти Сатоко в Камакуру и тайно вернуть обратно в Токио, экипаж не годился. Поезд тоже. Тем более это было не по силам рикше. Во что бы то ни стало был нужен автомобиль. И такой, чтобы не принадлежал кому-нибудь из знакомых семьи Киёаки или Сатоко. Нужен был автомобиль с водителем, который не знал бы их в лицо, не знал бы обстоятельств дела.

Нельзя допустить также, чтобы на даче Сатоко столкнулась с принцами. Неизвестно, знают ли принцы о помолвке, но если они узнают Сатоко, то могут возникнуть осложнения.

Хонда, чтобы преодолеть все эти трудности, должен был постараться и сыграть непривычную для себя роль. Он обещал другу привезти Сатоко на дачу и доставить ее обратно домой.

Он вспомнил о своем однокласснике, старшем сыне богатого торговца из дома Ицуи: из школьных приятелей только у него одного был автомобиль, которым он мог свободно распоряжаться; Хонда специально отправился в Токио, поехал в район Кодзимати домой к Ицуи и попросил на одну ночь его «форд» с шофером.

С великим трудом вытягивающий экзамены, большой любитель развлечений, тот был несказанно удивлен просьбе известного в классе моралиста и отличника. Он не упустил также случая сунуть нос в чужие дела и сказал, отчего ж не дать, если ему откроют причину подобной просьбы.

Это было так не похоже на Хонду, но он испытывал радость оттого, что робко плел что-то этому глупцу. Ему было интересно наблюдать за выражением лица собеседника, который уверовал, что Хонда запинается от смущения, потому что увлечен женщиной, а не потому, что лжет, как это было на самом деле. С горькой радостью Хонда обнаружил, как трудно заставить человека поверить во что-то с помощью логики и как легко это сделать, ссылаясь на чувства, пусть и мнимые. Киёаки, должно быть, считал Хонду способным на такое.

– А ты изменился. Уж никак не думал, что у тебя кто-то есть. Да еще таинственность всякую напускаешь. Может, хоть скажешь, как ее зовут?

– Фусако.

Хонда машинально назвал имя троюродной сестры, с которой уже давно не виделся.

– Значит, Мацугаэ предоставляет тебе на ночь крышу над головой, а я на одну ночь даю автомобиль. А за это прошу тебя помочь на экзаменах. – Ицуи наполовину всерьез склонил голову. Его глаза сейчас были полны дружелюбия. Ведь он в некотором смысле сравнился с Хондой в интеллекте. Подтверждался его прозаический взгляд на мир. – В конце концов, люди все одинаковы, – произнес он спокойно-уверенным голосом.

Этого-то Хонда с самого начала и добивался. Да еще благодаря Киёаки Хонда приобрел теперь репутацию романтика, которой добивается в девятнадцать лет каждый юноша. По существу, это была сделка между Киёаки, Хондой и Ицуи, которая всем оказалась выгодной.

Принадлежащая Ицуи новая модель «форда» выпуска 1912 года представляла собой машину, из которой благодаря изобретению стартера водителю уже не надо было выходить, чтобы завести ее. В машине была установлена коробка передач, позволяющая переключать скорости. Тонкие красные линии обрамляли окрашенные в черный цвет дверцы, и только отгораживающий задние сиденья полог напоминал о конном экипаже. Когда нужно было сказать что-то водителю, то это делали по переговорной трубке, открывавшейся у уха водителя. На крыше находилось запасное колесо и место для багажа, так что машина могла выдержать долгое путешествие.

Шофер Мори сначала был в доме Ицуи кучером, он обучался водить машину у знаменитого мастера своего дела и, когда получал права в полиции, посадил своего учителя в вестибюле здания: сталкиваясь с непонятным теоретическим вопросом, выходил к нему на консультацию, а потом возвращался и продолжал писать ответы на вопросы.

План был такой: Хонда поздно вечером отправляется к Ицуи за машиной, потом, чтобы Сатоко не узнали, едет на машине к дому, где квартируют военные, и ждет там Сатоко, которая втайне приедет с Тадэсиной на рикше. Киёаки не хотел, чтобы Тадэсина приезжала на дачу, да она никак и не могла приехать, потому что в отсутствие Сатоко должна была выполнять важную роль – создавать видимость того, что та спит у себя в спальне.

Тадэсина, волнуясь, со всяческими наставлениями наконец вверила Сатоко Хонде.

– При водителе я буду называть вас Фусако, – прошептал Хонда на ухо Сатоко.

«Форд» с ревом тронулся по ночным улицам, погруженным в тишину.

Хонду поразило безразличие Сатоко, казалось ничего не воспринимавшей вокруг себя. Она была в белом платье, и это еще больше усиливало ощущение ее эфемерности.

...Хонда испытывал странное чувство, находясь глубокой ночью в машине вдвоем с женщиной друга. Во имя дружбы он бок о бок сидел рядом с ней за пологом автомобиля, где в летней ночи разливался аромат женских духов.

Это была «чужая женщина». И при этом женщина в полном смысле слова.

Хонда, как никогда прежде, остро почувствовал в том доверии, какое Киёаки оказывал ему, холодный яд, всегда связывающий их странными узами. Доверие и презрение, плотно прилегающие друг к другу, как тонкая кожаная перчатка к руке. И Хонда все прощал Киёаки за его красоту.

Вынести презрение можно было единственным способом – уверовать в собственное благородство, и Хонда верил в это, но не безрассудно, как юноши в прежние времена, а опираясь на разум. Он вовсе не считал себя безобразным, как Иинума. Считай он себя безобразным, ему в конце концов... пришлось бы стать слугой Киёаки.

Прохладный ветер и мчащийся на бешеной скорости автомобиль, конечно, слегка растрепали волосы Сатоко, но все-таки не испортили ей прическу. Они сами запретили себе произносить имя Киёаки, Фусако – вот что стало маленьким мостиком, знаком близости.

На обратном пути все было по-другому.

– Ах, я забыла сказать Киё, – произнесла Сатоко вскоре после того, как машина тронулась. Но возвращаться было нельзя. Если они не поспешат прямо в Токио, то вряд ли успеют добраться домой до раннего летнего рассвета.

– Давайте я передам, – предложил Хонда.

– Ну... – Сатоко заколебалась. Наконец, словно решившись, сказала: – Тогда передайте ему: Тадэсина недавно виделась с Ямадой, который служит у Мацугаэ, и узнала, что Киё ее обманывает. Он притворяется, что письмо у него, а Тадэсина выяснила, что на самом деле он его тогда еще разорвал и выбросил на глазах у Ямады... Но не стоит беспокоиться. Тадэсина уже смирилась и на все закрыла глаза... Вот, передайте, пожалуйста, это Киё.

Хонда повторил все слово в слово, не задавая вопросов по поводу содержания этого тайного послания. Сатоко, тронутая, по-видимому, его тактом, изменила поведение и разговорилась.

– Вы идете на все ради близкого друга. Киё должен считать себя самым счастливым человеком на свете, имея такого друга. У нас, женщин, не бывает настоящих друзей.

В глазах Сатоко еще оставался огонь любовных наслаждений, но ни одна прядка волос не выбивалась из прически.

Хонда молчал, и Сатоко вскоре, потупившись, прошептала:

– Вы, наверно, считаете меня распушенной.

– Ну что вы говорите! – неожиданно горячо возразил Хонда.

Слова Сатоко, хоть и не в таком грубом смысле, удивительным образом соответствовали изредка возникавшим у него в душе чувствам.

Хонда не спал всю ночь и добросовестно выполнил свою задачу – встретить и проводить Сатоко; он гордился тем, что у него ни разу не дрогнуло сердце – ни тогда, когда, прибыв в Камакуру, он вручил Сатоко Киёаки, ни тогда, когда, приняв ее из рук Киёаки, вез обратно домой. А ведь оно было у него – это душевное смятение. Разве не вовлек он сейчас себя своим поведением в серьезные неприятности?

Но когда Хонда провожал глазами Киёаки и Сатоко, которые, взявшись за руки, бежали в тени деревьев по залитому лунным светом парку к морю, он понимал, что своими руками помог свершиться греху, и смотрел, как тот улетает в виде двух прелестных фигур.

– Да, я не должна так говорить. Я совсем не считаю себя распущенной. Почему? Мы с Киё совершаем страшный грех, но я чувствую совсем не грязь, а чистоту собственного тела. Когда я только что смотрела на сосновую рощу у моря, мне показалось, что я никогда в жизни больше не увижу этой рощи, не услышу шума гуляющего в соснах ветра. Я остро ощущала каждое мгновение и ни об одном из них не жалею. – Говоря это, Сатоко страстно желала, чтобы Хонда понял ее состояние: она должна выговориться, совершив такой вызывающий поступок – последнее, как ей представлялось, любовное свидание с Киёаки сегодняшней ночью в окружении девственной природы, когда страсть достигла ослепительного, пугающего предела. Рассказать другому человеку об этом было так же трудно, как передать, что такое смерть, сияние драгоценного камня или величие заходящего солнца.

Киёаки и Сатоко бродили по берегу, стараясь не попадать в полосы лунного света. Глубокой ночью здесь не было ни души, но надежной казалась только черная тень вытащенной на песок рыбацкой лодки с высоко задраннным носом.

Она вся была облита лунным светом, доски палубы походили на побелевшие кости. Чудилось: протяни туда руку – и лунный свет просочится сквозь нее.

Морской ветер нес прохладу, и в тени они сразу прижались друг к другу. Сатоко не любила ослепительно-белый цвет платья, которое она редко носила, и сразу сбросила его, надеясь спрятать свое тело в темноте и совсем забыв о белизне собственной кожи.

Никто не мог их увидеть, но разбросанные по морю блики лунного света мнились миллионами глаз.

Сатоко вглядывалась в облака, повисшие в небе, в звезды, чуть мерцающие по краям этих облаков. Твердые небольшие соски на груди Киёаки касались ее груди, возбуждая ее, потом она почувствовала, как они, буквально сокрушая все, проникают в ее налившуюся грудь, в ее набухшие соски. В этом сильнее, чем в слиянии губ, чувствовалась какая-то щемяще-неутолимая сладость, сладость касаний крошечного существа, которого кормишь грудью, сладость, которая отключает сознание. Это неожиданное, возникшее не в теле, а где-то на его границе чувство близости напомнило закрывшей глаза Сатоко мерцание сияющих меж облаками звезд.

Отсюда была теперь одна дорога – к радости, всепоглощающей, как море. Сатоко, стремящаяся раствориться во мраке, содрогнулась, представив себе этот мрак: он был всего лишь тенью, услужливо простершейся у рыбацкой лодки. И не вечной тенью здания или скалы, а сиюминутной тенью предмета, который скоро удалится в море. Ему не пристало быть на суше, и его тень напоминает призрак. Сатоко и сейчас боялась, что старая большая лодка, вдруг бесшумно скользнув по песку, скроется в море. Тогда она сама должна стать морем, чтобы догнать ее тень, навсегда укрыться в ней. И Сатоко, до краев налитая этими ощущениями, стала морем. Все, что их окружало – небо с повисшей луной, свечение моря, пробегающий по песку ветер, далекий шум сосен, – все сулило гибель. За тончайшей гранью времени скрежетало громадное «нет». Может, об этом и возвещал шум сосен? Сатоко казалось, что их окружает, охраняет, защищает все бесконечно чужое. Их можно было сравнить с обреченной на

водную гладь капелькой масла, которую некому охранять, кроме воды вокруг. Но вода черна, необъятна, безмолвна, и капелька душистого масла всплыла на ней почти невидимой точкой. Какое всепоглощающее «нет»! Они не сознавали, в чем оно – в самой ли ночи или в надвигающемся рассвете. Оно просто подступило вплотную, но еще не набросилось на них.

...Приподнявшись, чуть выставив из тени голову, они смотрели прямо на заходящую луну. Круглая луна представлялась Сатоко знаком их вины, который приколотили к небу гвоздями.

Вокруг не было ни души. Они встали с песка, чтобы достать спрятанную на дне суденышка одежду. Взгляды их скользнули к темным впадинам внизу белеющего в лунном свете живота, где словно остался глянцево-черный кусочек тьмы. Это было очень недолго, но смотрели они пристально и серьезно.

Одевшись, Киёаки присел на борт лодки и, качая ногой, сказал:

– Мы, наверное, не были бы такими смелыми, если бы нам можно было встречаться.

– Ты ужасен. Вечно ты... – укорила его Сатоко.

В ничего не значащих словах, которыми они перебрасывались, был, однако, не поддающийся описанию горький привкус: отчаяние было совсем рядом. Нога Киёаки, свесившаяся с борта, белела под луной, и Сатоко, все еще укутанная тенью лодки, прижалась губами к ее пальцам.

– Я, наверное, не должна была говорить это. Но, кроме вас, некому меня выслушать. Я знаю, что совершаю ужасное. Но меня не остановить. Ведь ясно, что когда-то наступит конец... А до тех пор я буду делать то же самое. Другого пути нет.

– И вы узнаете это? – вырвалось у Хонды с невольным трагизмом.

– Да, вполне.

– Думаю, Мацугаэ тоже.

– Тем более нельзя было ставить вас в такое положение.

Хонда испытал своего рода потрясение: ему хотелось понять эту женщину. Это был тонкий ход: если она намеревалась обращаться с Хондой как со «все понимающим другом», то у него должно быть право понимать, а не просто сочувствовать или сопереживать. Но каков труд – понять эту изящную, переполненную страстью женщину, женщину, которая совсем рядом, но сердце которой так далеко... В Хонде проявилась врожденная привычка к логическому анализу.

Покачивание машины несколько раз сдвигало колени Сатоко в его сторону, и ловкость, с которой она, выпрямляя тело, заботилась о том, чтобы их колени не соприкоснулись, раздражала Хонду, напоминая ему головокружительное движение белки в колесе. Уж с Киёаки Сатоко, наверное, не была так проворна.

– Вот вы сказали, что узнаете... – проговорил Хонда, не глядя на Сатоко, – как это связано с тем, что «когда-то наступит конец». Наверное, тогда будет поздно? Или, может быть, конец наступит сразу, как только вы все осознаете? Я понимаю, что жестоко спрашивать вас об этом.

– Вы меня хорошо слушали, – спокойно отозвалась Сатоко.

Хонда безотчетно следил за ее профилем, но на красивом правильном лице не было ни тени волнения. В этот момент Сатоко вдруг закрыла глаза, и тусклый свет под потолком удлинил и без того длинные тени ее ресниц. Заросли ждущих рассвета деревьев, словно плотные облака, царапали окна.

Шофер Мори, как и положено, не поворачивался и аккуратно вел машину. Окошко из толстого стекла, отделяющее место шофера, было закрыто, и если не говорить прямо в переговорную трубу, то шофер не услышит их разговор.

– Вы сказали, что я когда-то положу этому конец. Разумно, что так говорит близкий друг Киё. Если я не смогу положить этому конец другим способом, я умру...

Может быть, Сатоко ждала, что Хонда станет поспешно возражать против таких слов, но Хонда упорно хранил молчание и ждал продолжения.

– ...Когда-то наступит момент. И это «когда-то» не так уж далеко. Тогда, я могу это обещать, я не струшу. Я ценю жизнь, но не намерена вечно за нее цепляться. Любые иллюзии кончаются, нет ничего вечного, и разве не глупо считать, что ты имеешь на них право? Я не из этих «новых женщин»... Но если вечное существует, то только сейчас... Вы когда-нибудь это поймете.

Хонде показалось, что он понимает, почему еще совсем недавно Киёаки так боялся Сатоко.

– Вот вы сказали, что нельзя было поручать это мне. Что вы имели в виду?

– Потому что вы успешно идете по жизни правильным путем. Нельзя допустить, чтобы он пересекался с такими вещами. Киё не должен был делать это с самого начала.

– Я не хочу, чтобы вы считали меня таким праведником. Действительно, наша семья – люди очень нравственные. Но сегодня ночью я уже оказался причастен к греху.

– Не говорите так, – сердито прервала его Сатоко. – Грех касается только меня и Киё. Виноваты тут только мы.

Эти слова были сказаны для того, чтобы как-то выгородить Хонду, но в них сверкнула холодная гордость, отталкивающая чужого, и Хонда понял, что Сатоко рисует себе эту вину небольшим хрустальным дворцом, где живет только вдвоем с Киёаки. Этот дворец умещается на ладони, и кто бы ни собирался туда войти, не может этого сделать, так как он слишком мал. Кроме них двоих, которые, изменив облик, смогут мгновение пробыть там. И они, живущие там, так четко, так ясно видны снаружи.

Сатоко вдруг резко наклонилась вперед, и Хонда, собираясь поддержать ее, протянул руку, которая коснулась волос.

– Извините. Я только сейчас заметила, кажется, у меня в туфлях остался песок. Боюсь, если я его не вытряхну, то служанка, которая следит за обувью, заподозрит что-то и доложит родителям.

Хонда не знал, как женщины справляются с обувью, поэтому сосредоточенно повернулся к окну, стараясь не смотреть в сторону Сатоко.

Машина уже въехала в Токио, небо было яркого пурпурно-алого цвета. Гряда утренних облаков протянулась над крышами улиц.

Мечтая о том, чтобы машина прибыла на место как можно скорее, Хонда в то же время жалел, что кончается удивительная ночь, какой в его жизни больше не будет. Позади послышался слабый, почти неразличимый звук – наверное, это сыпался на пол песок из снятой Сатоко туфельки. Хонде он казался звуком самых удивительных в мире песочных часов.

35

Сиамские принцы выглядели вполне довольными жизнью, протекавшей в «южном приюте».

Однажды вечером все четверо, расположившись в вынесенных на лужайку плетеных креслах, наслаждались перед ужином вечерней прохладой. Принцы переговаривались на родном языке, Киёаки погрузился в свои мысли, Хонда сидел с раскрытой книгой на коленях.

– Ну, по закрутке. – Кридсада, сказав это по-японски, предложил всем сигареты «Вест-минт старс» с золотым мундштуком.

Из жаргона Гакусюин принцы сразу же запомнили слово «закрутка». Курение в школе было запрещено, и только в выпускных классах на это смотрели сквозь пальцы, если ученики не курили уж прямо в открытую. И местом, где собирались курильщики, было полуподвальное помещение котельной, которую так и называли – «закруточная».

Даже у этих сигарет, которые они курили здесь под ясным небом, не стесняясь ничьих глаз, был слабый привкус «закруточной», восхитительный вкус тайны.

Запах английского табака напоминал о запахе угля в котельной, о поблескивающих в темноте белках беспокойно озирающихся глаз, о заботе, как бы, затягиваясь, не дать потухнуть огоньку, и это усиливало его вкус.

Киёаки, повернувшись к остальным спиной, следил за дымком, который, колеблясь, тянулся к вечернему небу, и видел, как высокие облака опадают, теряют форму и с одной стороны приобретают цвет чайной розы. Он чувствовал там присутствие Сатоко. Ею, ее запахом были пропитаны различные предметы, любое незначительное изменение в природе оказывалось как-то связанным с ней. Вот стих ветер, теплый воздух летнего вечера коснулся кожи, и Киёаки ощутил ее прикосновение. Даже в тени окутываемых наступающими сумерками акаций, в перьях их зелени витала тень Сатоко.

Хонда чувствовал себя спокойно только тогда, когда у него под рукой была книга. Вот и сейчас на коленях у него лежала запрещенная книга Кита Тэрудзиро «Государственный строй и чистый социализм», которую ему тайком дал почитать секретарь отца; возраст автора – ему было двадцать три года – давал основание считать его японским Отто Вайнингером, но чересчур увлекательно изложенные радикальные идеи этой книги насторожили разумно мыслящего Хонду. Не то чтобы он не принимал крайние политические взгляды. Просто сам он не испытывал ненависти. А книга, как тяжелую заразную болезнь, несла чужую ненависть. Совесть не позволяла ему с увлечением читать об этом.

И еще, чтобы как-то укрепить свою позицию в дискуссии о возрождении, он в то утро, проводив Сатоко в Токио, заехал домой и взял из отцовской библиотеки «Очерки буддизма» Сайто Таданобу; вспыхнувший интерес к концепции обусловленного деянием существования напоминал прошлую зиму, когда он был увлечен «Законами Ману», но тогда Хонда, заботясь о том, чтобы это увлечение не помешало готовиться к экзаменам, воздержался от дальнейшего чтения.

Несколько книг лежало у него на подлокотниках кресла, и он перелистывал их, наконец отвел взгляд от раскрытой на коленях книги и, сощуриль близорукие глаза, стал смотреть на холмы, окружавшие сад с западной стороны.

Небо было светлым, холмы, постепенно наполняясь тенями, сдерживали темноту. В про светах густых зарослей, покрывавших гребни гор, мозаикой мелькало по-прежнему яркое небо. Прозрачная слюда небосвода рисовалась длинной полоской бумаги, в которую завернули красочный живой летний день.

...Курение – ему с нескрываемым удовольствием предавались юноши... Столб москитов в углу сумеречного газона. Золотая лень после купания... Ровный загар...

Хонда ничего не сказал, но подумал, что сегодняшний день можно считать несомненно счастливым днем их юности.

Для принцев это тоже было так.

Они явно видели, что Киёаки поглощен своей страстью, но делали вид, что не замечают этого, – с другой стороны, и Хонда с Киёаки делали вид, что не знают про забавы принцев с дочками окрестных рыбаков, за что Киёаки щедро, как полагается, вознаграждал отцов деньгами – «платой за слезы». Принцев хранил Большой Будда, которому они каждое утро молились с горы, и лето неторопливо и красиво катилось к закату.

Слугу, появившегося на террасе с письмом на сверкающем серебряном подносе (слуга очень жалел, что, в отличие от тех, кто работает в усадьбе, ему редко выпадает случай использовать этот поднос, и все свободное время полировал его) и направлявшегося в сторону газона, первым заметил Кридсада.

Он подскочил, взял письмо, но, поняв, что оно от вдовствующей королевы и адресовано Тьяо Пи, с дурашливой вежливостью прижал его к груди и вручил сидящему на стуле Тьяо Пи.

И Хонда, и Киёаки, конечно, обратили на это внимание. Но, сдерживая любопытство, ждали, когда до них докатится переполняющая принцев то ли радость, то ли тоска по родине. Отчетливый шорох разворачиваемой толстой белой бумаги, ясно различимый среди вечерних теней лист, похожий на белое оперение стрелы, и вдруг – Хонда и Киёаки растерянно вскочили, увидав, как, пронзительно вскрикнув, буквально рухнул на землю Тьяо Пи. Он был в обмороке. Кридсада растерянно смотрел на двоюродного брата, вокруг которого хлопотали Киёаки с Хондой, потом подобрал упавшее на газон письмо, прочел несколько строк и с рыданиями повалился на землю.

Смысл возгласов Кридсады – он что-то кричал на родном языке – и содержание написанного незнакомыми знаками письма, на которое смотрел Хонда, были непонятны. Только в верхней части листа блестела золотом гербовая печать, и Хонда разглядел сложный узор, где вокруг трех белых слонов расположились буддийская башня, страшные звери, роза, меч, королевский скипетр.

Тьяо Пи на руках поскорее перенесли на постель. Когда его несли, он уже приоткрыл глаза. Кридсада, рыдая, шел следом.

Ничего не понимавшие Хонда и Киёаки предполагали, что произошло какое-то несчастье.

Тьяо Пи только коснулся головой подушки, и сразу его затуманенные зрачки, выглядевшие парой жемчужин на смуглом, слившемся с вечерним мраком лице, неподвижно усталились в потолок – он молчал. В конце концов первым по-английски смог заговорить Кридсада:

– Йинг Тьян умерла. Йинг Тьян – любовь Тьяо Пи и моя сестра... Если б сообщили об этом только мне, я бы нашел, как передать это Тьяо Пи, не нанося ему такого удара, но королева-мать сообщила это Тьяо Пи, скорее опасаясь нанести удар мне. Ее величество ошиблась в своих расчетах. Или, может, ее величество из каких-то более глубоких соображений стремилась внушить ему мужество перед лицом такой тяжелой утраты.

Он рассуждал благоразумно, что так не походило на его обычное поведение, но и Хонду, и Киёаки в самое сердце поразили напоминавшие тропический ливень глубокие стенания принцев. Можно было представить, как после обильного, с громом и молниями дождя поникшие заросли печали быстро оживут и примутся буйно расти.

Ужин принцам в этот день принесли в комнату, но ни один не притронулся к еде. Однако через некоторое время Кридсада, осознав, что долг гостя и приличия обязывают его к этому, позвал Киёаки и Хонду и перевел им на английский язык содержание длинного письма.

Йинг Тьян заболела этой весной, ей было так плохо, что она не могла писать сама, и она просила других ни в коем случае не сообщать ни брату, ни кузену о своей болезни.

Прекрасные белые руки Йинг Тьян постепенно немели и перестали двигаться. Они напоминали проникший в окошко холодный лунный свет.

Главный королевский врач-англичанин приложил все свое умение, но не сумел остановить паралич, который распространялся по всему телу: в конце концов Йинг Тьян не могла даже говорить. И все равно она хотела остаться в памяти Тьяо Пи такой, какой была в момент их расставания, непослушными губами и языком повторяла: «Не пишите о болезни...», вызывая слезы у окружающих.

Королева-мать часто навещала больную и не могла без слез смотреть на лицо принцессы. Узнав о ее смерти, королева сразу заявила всем:

– Паттанадиду я сообщу сама.

«У меня печальное известие. Соберись с силами и читай. – Так начиналось это письмо. – Принцесса Тьянтрапа, которую ты любишь, умерла. Я потом подробно опишу тебе, как она, даже прикованная к постели, трогательно заботилась о тебе. Но прежде, как мать, скажу тебе, что молюсь о том, чтобы ты, смирившись с Божьей волей, принял это печальное известие с мужеством и достоинством, как подобает принцу. Представляю, каково получить это известие в чужой стране, и скорблю, что не могу быть рядом и утешить. Прошу тебя, как старшего брата, сообщить эту горькую весть Кридсаде. Посылаю тебе эту трагическую весть, потому что верю в твою стойкость, которую не сломить горю. Пусть тебя хоть немного утешит, что принцесса до последней минуты думала о тебе. Ты, наверное, в отчаянии, что не мог увидеться с ней перед ее смертью, но должен понять ее чувства – она навсегда хотела остаться в твоём сердце здоровой...»

Тьяо Пи, выслушавший до конца перевод письма, приподнялся в постели и обратился к Киёаки:

– Мне стыдно, что, убитый известием, я не дошел до наставлений матери. Но подумайте сами: загадка, которую я пытался разрешить, – не сама смерть Йинг Тьян. Я не могу понять, как в течение того времени, что она болела, да нет – даже в те двадцать дней, что прошли после ее смерти, я, конечно, испытывал тревогу, но как же я мог, не зная правды, спокойно жить в этом призрачном мире.

Почему мои глаза, так отчетливо видевшие блеск моря, песка, не смогли ухватить крошечных изменений, происходивших в глубине этого мира. Мир незаметно менялся, как меняется вино в бутылки, мои глаза сквозь стекло очаровывал только его яркий пурпурный цвет. Почему я не хотел, хотя бы раз в день, проверить, не изменился ли его вкус. Я не вслушивался в утренний ветерок, в шелест деревьев, в голоса птиц, не всматривался в росчерк их крыльев при полете, воспринимал все это как радость жизни и не замечал того, что заставляло где-то из глубины тускнеть красоту этого мира. Если бы я однажды утром обнаружил, что вкус вина изменился... Случись такое, я бы сразу уловил, что мир стал другим, превратился в «мир без Йинг Тьян». – При этих словах Тьяо Пи опять разрыдался, в слезах он уже не мог говорить.

Киёаки с Хондой, поручив Тьяо Пи заботам брата, вернулись в свою комнату. Но оба так и не смогли уснуть.

– Принцы, наверное, скоро вернуться домой. Кто бы что ни говорил, вряд ли они пожелают продолжать у нас учебу, – сказал Хонда, как только они остались вдвоем.

– Я тоже так думаю, – печально отозвался Киёаки. Он был под впечатлением горя, обрушившегося на принцев, и сам погрузился в печальные мысли. – Это будет выглядеть странным, если мы, когда принцы уедут, останемся тут вдвоем. Или же приедут отец с матерью – и получится, что лето придется провести вместе с ними. Во всяком случае, наше счастливое время закончилось, – словно рассуждая сам с собой, произнес Киёаки.

Хонда понимал, что сердце влюбленного не может вместить еще что-нибудь, кроме своей страсти, и теряет способность сострадать чужому горю, но вынужден был признать, что холод-

ное кристальное сердце Киёаки было идеальным сосудом, предназначенным исключительно для страсти.

Через неделю принцы на английском корабле отплывали на родину, и Киёаки с Хондой поехали провожать их в Иокогаму. Дело было в разгар летних каникул, поэтому, кроме них, из школы больше провожающих не было. Принц Тоин, памятуя о связях с Сиамом, прислал на проводы своего управителя, Киёаки холодно обменялся с ним несколькими фразами.

Огромный товарно-пассажирский корабль отвалил от причала, рвались ленты серпантина, соединяющие уезжающих и остающихся, их уносил ветер, а принцы, стоявшие на корме рядом с развевающимся английским флагом, все махали белыми платками.

Корабль скрылся в открытом море, провожающие разошлись, а Киёаки все неподвижно стоял на залитом лучами заходящего летнего солнца причале до тех пор, пока Хонда наконец не заставил его уйти. Киёаки провожал не принцев из Сиам. Ему казалось, что именно сейчас в морской дали исчезает лучшая пора его юности.

36

Пришла осень, начались занятия в школе. Киёаки с Сатоко приходилось теперь встречаться реже – даже если они, прячась от людских глаз, гуляли в темноте, с ними всегда ходила Тадэсина, которая должна была убедиться, что сзади и спереди никого нет.

Она боялась даже фонарщиков. Только когда те, одетые в наглухо застегнутую форму газовой компании, заканчивали свою важную, хлопотную процедуру зажигания газовых фонарей, сохранившихся в уголке Ториидзаки, а прохожие почти все исчезали, только тогда Киёаки и Сатоко могли пройти по извилистым переулкам. Вовсю стрекотали цикады, огоньки в домах были едва заметны. В окнах, выходящих прямо на улицу, стихали шаги вернувшихся хозяев, доносился скрип дверей.

– Еще месяц-два – и наступит конец. Вряд ли семья принца будет бесконечно переносить церемонию помолвки, – спокойно сказала Сатоко, словно к ней это не имело отношения. – Каждый день, каждый день я ложусь спать с мыслью: «Завтра все кончится, случится что-то непоправимое», но сплю на удивление спокойно. Я уже совершила непоправимое.

– Ну, пусть будет помолвка, ведь потом-то...

– Что ты говоришь, Киё! Слишком тяжок грех, он просто разорвет сердце. Пока этого не произошло, лучше посчитаем, сколько раз мы еще сможем встретиться.

– Ты решила потом все забыть?

– Да, пока я не знаю, как это удастся сделать, но решила. Мы ведь идем с тобой не по бесконечной дороге, а по причалу, где-то он неизбежно оборвется в море.

Так начались разговоры о конце.

И к этому концу они относились беспечно, как дети. У них не было приготовлено каких-либо вариантов, решений, уверток, и это лучше всего свидетельствовало об их чистоте. Однако высказанная вслух мысль о близящемся конце их отношений неожиданно разбередила душу и никак не уходила.

Киёаки уже перестал понимать, бросился ли он к Сатоко, не думая о том, что все когда-то кончится, или именно тогда, когда осознал конец. Их должен был бы поразить гром, но что делать, если кара их не настигает. Киёаки испытывал тревогу. «Смогу ли я и тогда так же горячо, как теперь, любить Сатоко?»

Подобная тревога для Киёаки была внове. Именно она заставила его сжать руку Сатоко. Та в ответ обхватила его руки пальцами, но Киёаки стиснул ладонь Сатоко так сильно, словно хотел сломать. Сатоко никак не показала, что ей больно. Но это не остановило грубую силу. Когда в свете, падающем из далеких окон второго этажа, стали видны выступившие у Сатоко слезы, сердце Киёаки наполнило мрачное удовлетворение.

Он знал, что издавна усвоенная утонченность прячет жестокую реальность. Несомненно, лучшим решением проблемы была бы их одновременная смерть, но для этого нужны были еще большие страдания, а Киёаки в каждое мгновение этих тайных свиданий был, будто звуками далекого золотого колокольчика, заморожен тем запретом, который с каждым нарушением становился намного страшнее. Ему мнилось, что чем больше он грешит, тем дальше уходит от греха... Все кончится грандиозным обманом. Одна мысль об этом заставила его содрогнуться.

– Даже когда мы вот так вместе, ты не кажешься счастливым. Я же сейчас каждое мгновение чувствую себя бесконечно счастливой... Может быть, ты пресытился? – упрекнула его Сатоко.

– Я слишком люблю, вот и проскочил мимо счастья, – серьезно произнес Киёаки. И, произнося эту своего рода отговорку, Киёаки знал: не страшно, что его слова звучат по-детски.

Дорога привела их к магазинчикам на Роппонги. Под крышей лавки хлопало выцветшее полотнище с надписью «лед», столь неуместной в море жужжания и стрекота, наполнявших воздух.

Дальше на темной дороге расстилались широкие полосы света. Полковой музыкант Танабэ работал ночью: видно, было какое-то срочное дело.

Киёаки и Сатоко обошли стороной эту полосу света, но глаза ухватили яркий блеск меди за оконным стеклом. Новые трубы висели в ряд и под неожиданно сильным светом лампы сверкали как на плацу в разгар лета. Похоже, инструменты опробовались: звук трубы после печального рыка сразу же рассыпался.

– Поворачивайте назад. Там дальше слишком много глаз. – Это прошептала Тадэсина, неожиданно возникшая за спиной Киёаки.

37

В семье принца Тоина никак не вмешивались в жизнь Сатоко: Харунорио был занят на военной службе, окружающие не пытались предоставить ему случай увидеться с Сатоко, незаметно было, чтобы и сам он упорно стремился к встрече, но это вовсе не означало, что семья принца холодна к ней: все было в традициях обручения.

Окружающие полагали, что если вопрос о браке уже решен, то часто встречаться будущим супругам скорее вредно, чем полезно.

С другой стороны, семья девушки, которой предстояло стать леди, в том случае, когда она чего-то недополучила дома, должна была теперь восполнить это, но традиционное воспитание в доме графа Аякуры предполагало такую подготовку, при которой не возникало никаких проблем при переходе дочери в положение жены принца. Ее вкус был так развит, что всегда, в любых обстоятельствах можно было поручить Сатоко сложить подходящие ее будущему положению стихи, создать образец каллиграфии, составить достойную принцессы композицию из цветов. Даже если бы ей предстояло стать женой принца в двенадцать лет, не было бы никаких оснований волноваться по этому поводу.

Были только три пробела в воспитании Сатоко, на которые теперь граф и его супруга обратили внимание и которые намеревались в ближайшее время восполнить. Это были увлечения ее высочества, будущей свекрови Сатоко, – музыкальные сказы и маджан, а также пластинки с записями европейской музыки – пристрастие самого принца Харунорио. Маркиз Мацугаэ, услышав об этом от графа, сразу же направил к ним в дом для уроков мастера музыкальных сказов нагаута, приказал отослать туда же граммофон и все, что только были у Мацугаэ, европейские пластинки, и только найти учителя игры в маджан оказалось чрезвычайно сложно. Сам-то маркиз всегда увлекался английским бильярдом и сетовал, что в семье принца питают пристрастие к таким вульгарным играм.

Маркиз все-таки нашел выход: он стал присылать в дом Аякуры пожилую гейшу и хозяйку чайного домика из Янагибаси, которые хорошо играли в маджан; вместе с присоединившейся к ним Тадэсиной они садились за стол и учили Сатоко азам игры, уроки, конечно, оплачивал маркиз.

Эти женские сборища, на которых присутствовали мастера своего дела, должны были бы оживить обычно скучную атмосферу дома Аякуры. Однако Тадэсина их очень не любила. Она объясняла это тем, что якобы хозяйка чайного домика и гейша наносят вред достоинству дома, но на самом деле боялась, как бы зоркие глаза профессионалок не обнаружили тайну Сатоко. И не только это: встречи для игры в маджан означали для семьи графа появление в доме шпионов маркиза Мацугаэ. Надменная, замкнутая поза Тадэсины сразу уязвила гордость хозяйки чайного домика и пожилой гейши: не прошло и трех дней, как они пожаловались маркизу. Маркиз при случае очень мягко обратился к графу:

– Это хорошо, что старушка так заботится о репутации вашего дома. Но ведь речь о том, чтобы научиться разделять увлечения, распространенные в доме принца, и хотелось бы, чтобы все, по крайней мере, ладили. Эти женщины из Янагибаси обслуживают очень почетных гостей. Я потому и попросил их уделить нам время.

Граф передал это замечание Тадэсине, и та оказалась в довольно сложном положении. И хозяйка чайного домика, и пожилая гейша уже встречались с Сатоко. Во время праздника цветения сакуры в саду у маркиза Мацугаэ хозяйка руководила нанятыми для развлечения гейшами. А пожилая гейша была наряжена поэтом. Когда состоялась первая встреча для игры в маджан, хозяйка чайного домика поздравила графа Аякуру и его жену с обручением дочери, преподнесла роскошные подарки.

– Какая у вас красивая дочь! И такого благородного происхождения. Вы, господин, наверное, довольны предстоящим браком. Конечно, наши встречи – это секрет, но мы будем всю жизнь вспоминать, что нам посчастливилось общаться с ней. Так и хочется всем рассказать об этом, – рассыпалась она в комплиментах.

Но как только женщины вчетвером оказывались в другой комнате за столом для игры в маджан, она не в состоянии была хранить на лице официальное выражение: в ее глазах, с почтением взирающих на Сатоко, временами пропадал влажный блеск восхищения и они становились сухо оценивающими. Тадэсине было неприятно, когда она чувствовала такой же критический взгляд, останавливающийся на ее немодной серебряной пряжке, которой крепился шнурок поверх широкого пояса оби.

А уж когда гейша, двигая фишку, ненароком обронила: «А что же не придет молодой Мацугаэ? Я не встречала другого такого красавца», – Тадэсина буквально похолодела, поняв, как та же хозяйка умело переменяла тему разговора. Может быть, она сделала это специально, чтобы подчеркнуть скользкость темы...

Сатоко, предупрежденная на этот счет Тадэсиной, старалась в присутствии этих двух женщин пореже открывать рот. Она боялась, как бы профессионалки, лучше всех замечают, что вообще может происходить с женщиной, не заглянули ей в душу, но тут возникла другая забота. Ведь если Сатоко будет слишком молчалива и грустна, то это даст почву сплетням, что она выходит замуж против желания. Вот и получалось: обманешь телом – проникнут в душу, обманешь душой – выдаст тело.

В конце концов Тадэсина, мобилизовав всю свою сообразительность, сумела-таки положить конец сборищам для игры в маджан. Она обратилась к графу со словами:

– Я думаю, что-то не похоже на маркиза Мацугаэ так уж прислушиваться к женским сплетням. Они жалуются на меня, потому что барышня никак не научится играть. Сами виноваты – надо было ее заинтересовать, а они доносят, что это я высокомерна. Негоже, что в дом стала вхожа гейша, пусть даже это просто знак внимания маркиза. Барышня уже постигла азы игры, а после замужества, когда в семье супруга она станет участвовать в игре, будет даже мило, если она станет проигрывать. С вашего позволения, я решила положить конец играм у нас в доме, и если вы меня не поддержите, то я просто оставлю службу.

И граф, конечно, не мог не принять предложения, содержащего подобную угрозу.

Тадэсина, когда узнала от Ямады – управляющего в доме Мацугаэ, что Киёаки обманул ее с письмом, оказалась перед выбором: то ли ей стать врагом Киёаки, то ли, зная обо всем, действовать так, как хотят Киёаки и Сатоко. В конце концов она выбрала последнее.

Можно сказать, что Тадэсина делала это из любви к Сатоко, но в то же время она боялась, как бы разлука влюбленных при нынешнем положении дел не привела Сатоко к мысли о самоубийстве. Сейчас Тадэсине казалось выгодным, храня, как хотели влюбленные, тайну, ждать того решающего момента, когда они естественным образом примирятся с необходимостью расставания; с другой стороны, ей следовало всячески оберегать тайну.

Тадэсина самонадеянно считала, что имеет полное представление о законах чувств, ее философией было: «О чем не говорят, того и нет». Это значило, что она никого не обманывает – ни своего хозяина, ни семью принца. Получалось совсем как в химическом опыте: с одной стороны, Тадэсина собственными руками помогала любовному роману и способствовала его продолжению, с другой стороны, храня тайну и заметая следы, она вынуждена была отрицать его существование. Конечно, она шла по зыбкому мостику, но твердо верила, что родилась в этом мире исключительно для того, чтобы за ней всегда оставалось последнее слово.

А если твоя цель – заслужить благодарность, то в конце концов можно заставить плясать под свою дудку тех, кто тебе обязан.

Тадэсина, которая устраивала частые свидания влюбленных с надеждой, что пылкость их чувств немного охладет, не заметила, как это стало ее собственной страстью. Она могла бы за все отплатить Киёаки, если бы он теперь попросил: «Я хочу расстаться с Сатоко, передай ей как-нибудь осторожно мое желание», если бы он осознал крушение собственной страсти, – и Тадэсина уже наполовину поверила в свои мечты. Но тогда в первую очередь пострадала бы Сатоко.

Самосохранение – вот какой должна, наверно, быть философия этой хладнокровной пожилой женщины, считавшей, что мир полон опасностей. Так что же заставило ее отбросить собственную безопасность, манипулировать своей философией? Все дело в том, что Тадэсина незаметно оказалась в плену небывалых ощущений. Она с удовлетворением сознавала, что устраивает свидания молодых прекрасных влюбленных, наблюдала, как разгорается их обреченная страсть, – ради этого можно было пойти на любой риск.

Она была словно в экстазе: слияние молодых прекрасных тел представлялось ей священным и в высшей степени справедливым.

Блеск глаз влюбленных при встрече, учащенное биение сердец, когда они приближались друг к другу, – все это согревало остывшую душу Тадэсины, поэтому она и ради себя не давала огню угаснуть. Ввалившиеся от горя щеки влюбленных сразу же, полнее, чем июльский колос пшеницы, наливались соком, едва они угадывали очертания друг друга... Эти мгновения казались таким же чудом, как если бы, отбросив костыли, зашагал хромым или прозрел слепой.

Роль, отведенная Тадэсине в доме, состояла в том, чтобы спасти Сатоко от порока, но разве унаследованная домом Аякуры утонченность не утверждала, что гореть страстью – не порок, что воспетое в стихах не может быть пороком?

И Тадэсина терпеливо ждала. Ждала, можно сказать, случая схватить птичку, выпущенную полетать, и вернуть ее в клетку – в этом ожидании было что-то жестокое. Каждое утро Тадэсина заботливо наносила на лицо толстый слой косметики, как это принято в Киото, прятала под белилами глубокие складки у глаз, скрывала радужным блеском помады сморщившиеся губы. Занимаясь туалетом, она избегала смотреть на собственное лицо в зеркале, отводила вопрошающий черный взгляд в пространство. Свет далекого осеннего неба ронял в глаза прозрачные капли. Потом можно будет взглянуть на увядшее лицо... Чтобы проверить, как наложена косметика, Тадэсина доставала очки для пожилых, которые обычно не носила, цепляла тонкие золотые дужки за уши. И от укола их острых концов поблекшие мучнисто-белые мочки вдруг начинали рдеть.

Наступил октябрь, и маркиз Мацугаэ получил приглашение на церемонию официальной помолвки Сатоко, которая должна была состояться в декабре. Неофициально прилагался список пожеланий по поводу подарков: ткань европейская – 5 штук, sake – 2 бочонка, свежая рыба – 1 коробка.

Sake и свежая рыба не были проблемой, а хлопоты по поводу ткани маркиз Мацугаэ взял на себя: он отправил длинную телеграмму директору лондонского филиала фирмы «Гонои», с тем чтобы ему незамедлительно прислали сделанную по особому заказу английскую ткань высшего качества.

Как-то утром, когда Тадэсина разбудила Сатоко, та с побледневшим лицом вдруг поднялась, оттолкнула Тадэсину и выскочила в коридор; она еле добежала до уборной: ее вырвало, да так, что намокли даже рукава ночного кимоно.

Тадэсина проводила Сатоко обратно в спальню, удостоверилась, что поблизости за сдвинутыми перегородками никого нет.

В доме Аякуры на заднем дворе держали кур, их было более десятка. Крики, возвещавшие о наступлении утра, буквально разрывали начинающие пропускать свет окна и всегда знаменовали приход нового дня... Даже когда солнце стояло уже высоко, куры все не унимались. И сегодня Сатоко под их крики снова уронила побелевшее лицо на подушку и закрыла глаза.

Тадэсина приблизила губы к ее уху и проговорила:

– Барышня, об этом никому нельзя говорить. Я потихоньку все улажу, скажу, что это от еды, но никак нельзя, чтобы это пошло дальше. Я теперь буду следить за тем, как вы едите. Я о вас беспокоюсь, главное, чтобы вы поступали так, как я скажу.

Сатоко с отсутствующим видом кивнула, и по ее красивому лицу потекли слезы.

Тадэсина была полностью удовлетворена. Во-первых, начальные признаки углядела только она. Во-вторых, это был именно тот момент, когда нужно незамедлительно принимать решение, – момент, которого Тадэсина так ждала. Сатоко полностью у нее в руках!

Вообще-то, Тадэсина куда лучше ориентировалась в реальном мире, нежели в любовных страстях. Когда-то она раньше всех узнала о первых менструациях Сатоко и дала ей ряд советов – словом, Тадэсина была мастером в женских проблемах такого рода. Жена графа настолько мало интересовалась реальностью, что узнала о созревании дочери от Тадэсины года через два.

После той утренней тошноты Тадэсина внимательно присмотрелась к Сатоко: словно припудренная кожа на лице, брови, будто таящие предчувствие надвигающейся беды, неожиданные пристрастия в еде, томительная вялость движений... Собрав эти явные приметы и приняв единственное решение, Тадэсина стала незамедлительно действовать.

– Для здоровья вредно затворяться дома. Пойдемте погуляем.

Для Сатоко эта фраза обычно имела тайный смысл – они могут встретиться с Киёаки, поэтому она вопросительно подняла глаза, сомневаясь, возможна ли эта встреча среди бела дня.

Лицо Тадэсины, вопреки обыкновению, хранило неприступное выражение. Она сознавала, что в ее руках честь государства.

Тадэсина и Сатоко вышли через черный ход на задний двор и столкнулись здесь с госпожой Аякура, которая, пряча руки в рукава, наблюдала, как служанка кормит кур. Осеннее солнце навело глянец на перья томившихся птиц, облагородило белизну сохнувшего на веревках белья.

Сатоко, пробираясь вслед за Тадэсиной между птицами, слегка улыбнулась матери. Куриные лапы, выступающие из облака перьев, казались очень цепкими. У Сатоко было такое ощущение, словно она впервые столкнулась с враждебностью живых существ, враждебностью, основанной на родстве с другими живыми существами, – ощущение было не из приятных. У земли кружилось несколько перышек. Тадэсина, поздоровавшись с хозяйкой, пояснила:

– Мы идем прогуляться.

– Прогуляться? Ну, счастливо, – ответила мать.

По мере того как приближалось радостное событие в жизни дочери, она, как и следовало ожидать, стала выказывать о ней большую заботу, но, с другой стороны, все чаще переходила на уровень официально вежливых отношений. Это было вполне в духе аристократии: не делать дочери, которая вскоре войдет в императорскую семью, никаких замечаний.

Сатоко и Тадэсина добрались до небольшого храма в квартале Рюдо, вошли за гранитную ограду, где расположился храмовый комплекс, посвященный императору Тэммэй: осенние праздники завершились, сейчас здесь было тихо, безлюдно. Они склонили голову у первого храма с пурпурными занавесями, а потом Сатоко последовала за Тадэсиной к небольшому помосту, где в храмовые праздники устраивали ритуальные танцы и пантомиму.

– Киё придет сюда? – робко спросила Сатоко, которую Тадэсина сегодня как-то угнетала.

– Нет. Я, барышня, привела вас сюда, потому что у меня есть к вам просьба. Здесь можно не беспокоиться, что нас кто-то услышит.

Сбоку лежали камни, которые во время представления служили местами для зрителей. Тадэсина постелила на эти поросшие мхом камни свою сложенную в несколько раз накидку и со словами: «Это чтобы не застудить поясницу», – усадила Сатоко, а потом начала:

– Ну, барышня, нечего и говорить, что сейчас самое важное для нас – его величество император! Семья Аякура из поколения в поколение, а вы – это уже двадцать седьмое поколение, была в милости у императоров, поэтому я вам скажу то, что вы и так знаете: на ваш брак было пожаловано высочайшее соизволение, которое никак нельзя отменить. Быть против брака – все равно что идти против милости его величества. В мире нет более тяжкого греха...

Наставления Тадэсины вовсе не означали, что она собирается упрекать Сатоко в ее прошлом поведении: она говорила спокойно, без эмоций. Говорила о том, что и сама виновата, что невидный грех для нее не грех, но и ему есть предел, и, если дошло до беременности, настало время положить всему конец, что до сих пор она молчала, но в такой ситуации обязана сказать: эту любовную связь нельзя продолжать вечно, что именно сейчас Сатоко следует решительно объявить Киёаки о разрыве и во всем следовать указаниям Тадэсины.

Тадэсина считала, что все это Сатоко и сама понимает, что это совпадает с ее собственными мыслями; здесь она прервала монолог и приложила к повлажневшему лбу сложенный в несколько раз носовой платок. Тадэсина, пытаясь вразумить Сатоко, все равно сочувствовала ее горестям и смягчила голос, стараясь не повергнуть в отчаяние девушку, которая была ей дороже собственной дочери. И чем больше она сочувствовала Сатоко, тем больше желала, чтобы Сатоко разделила с ней пугающую радость того решения, которого Тадэсина сама страшилась. Единственный выход состоял в том, чтобы спастись от одного жуткого греха, совершив другой. Эти два греха взаимно уничтожат друг друга и оба перестанут существовать. Смешав мрак с мраком, вызвать оттуда грозно пламенеющий рассвет. И все втайне!

Сатоко молчала слишком долго, и Тадэсина с тревогой спросила:

– Вы ведь сделаете то, что я посоветую?

На отсутствующем лице Сатоко не мелькнуло и тени удивления. Она просто ничего не поняла из напыщенной речи Тадэсины.

– И что же я должна делать? Я не понимаю.

Тадэсина оглянулась вокруг, убедилась, что слабый звук храмового гонга вызвал ветер, а не человек. Под помостом чуть слышно стрекотал сверчок.

– Избавиться от ребенка. И как можно скорее.

У Сатоко перехватило дыхание.

– Что ты! Это же прямой путь на каторгу.

– Ну о чем вы, перестаньте! Доверьте это мне. Даже если что-то и всплывет, ни вас, ни меня полиция обвинить не сможет. После помолвки в декабре мы будем недосыгаемы. И полиция это понимает. Барышня, подумайте хорошенько. Будете медлить – вырастет живот, тогда и император, и все узнают. Свадьба, конечно, расстроится, вашему отцу придется затвориться от мира, господин Киёаки окажется в трудном положении, по правде говоря, и у семьи маркиза будет сломано будущее, поэтому надо притвориться. Иначе вы потеряете все. Так что у нас теперь только один-единственный путь.

– Пусть даже полиция промолчит, если что-то всплывет, но это дойдет до ушей в семье принца... С каким лицом я войду в дом жениха и как мне потом быть женой?!

– Не стоит бояться пустых слухов. А что будут думать в семье принца, так это зависит от вас. Вы умеете вести себя как благородная дама. Слухи моментально прекратятся.

– И ты гарантируешь, что я не пойду на каторгу, не попаду в тюрьму?

– Ну как вас еще убедить. Во-первых, полиция побоится принца, почти невероятно, что возбудят дело. Но если вы все-таки беспокоитесь, то есть способ привлечь на свою сторону маркиза Мацугаэ. При посредничестве маркиза можно замаять что угодно, ведь он будет улаживать дела молодого господина.

– Нет, так нельзя, – вскрикнула Сатоко. – На это я не пойду. Мне никак нельзя просить помощи ни у маркиза, ни у Киё. Иначе я окончательно превращусь в падшую женщину.

– Ну, это я так сказала, для примера. Во-вторых, я буду защищать вас и перед законом. Можно сделать так: барышня поддалась на мои уловки, не зная, что это, вдохнула наркоз, и с ней все сделали. В таком случае, что бы ни всплыло, я возьму всю вину на себя.

– Так, значит, я не попаду в тюрьму?

– По этому поводу можете не волноваться.

Но Сатоко не успокаивалась. Неожиданно она произнесла:

– А я хочу попасть в тюрьму.

Тадэсина, снимая напряжение, рассмеялась:

– Ну прямо ребенок! Это еще почему?

– А какую одежду носят женщины-заключенные? Я хочу знать, будет ли Киё любить меня в ней.

Тадэсина содрогнулась, заметив, что при этих нелепых словах в глазах Сатоко мелькнула не слезинка, нет, а отчаянная, безумная радость.

Эти две женщины, несмотря на разницу в положении, явно обладали в душе мужеством одинаковой силы. Не было времени выяснять, сколько и какого мужества требуется для лжи, а сколько и какого – для правды.

Тадэсина чувствовала: сейчас с каждым мгновением ее и Сатоко связывают все более тесные узы, она чувствовала себя как корабль, который, двигаясь против течения и преодолев его силу, теперь мог остановиться. И еще, обе испытывали одну и ту же радость. Казалось, стая птиц, хлопая крыльями, пролетела над головой, спасаясь от надвигающейся бури. Ощущение было сродни печали, страху, тревоге и чем-то отличалось от них, это сильное чувство можно было назвать только радостью.

– Во всяком случае, поступайте, как я вам скажу, – выговорила Тадэсина, уставясь на щеки Сатоко, на которых лучи осеннего солнца вызвали румянец.

– Нельзя ничего сообщать Киё. Это все касается только меня. Будет или не будет так, как ты сказала, успокойся, думаю, для меня действительно самое лучшее – никого не посвящать в свои дела и советоваться только с тобой.

В словах Сатоко уже звучало достоинство леди.

38

О том, что помолвка состоится в декабре, Киёаки узнал в начале ноября из разговора родителей.

– У Аякуры должны быть приготовлены покои для принца, интересно, какую комнату он ответит.

– Для приема лучше всего подошел бы парадный европейский зал, но у них зал в глубине дома – придется, наверное, закрыть циновки в японской гостиной и весь пол от прихожей до нее. Принц прибудет в коляске, сопровождаемый двумя чиновниками; Аякура должен на особой бумаге сделать опись подарков, завернуть ее в такую же бумагу и перевить двумя бумажными шнурами. Принц будет в парадной одежде. Поэтому и граф тоже должен быть в придворном костюме. Во всех этих тонкостях Аякура – дока, советовать ему что-то незачем. Нам следует позаботиться только о деньгах.

В этот вечер Киёаки ощутил, как его любовь все больше опутывает железная цепь; ему чудился мрачный скрежет этой ползущей к нему цепи. И он терял радость, наполнявшую его тогда, когда пришло высочайшее разрешение на брак Сатоко. Сознание того, что их любовь с Сатоко «абсолютно невозможна», прежде дававшее силы, теперь покрылось мелкими, как на поверхности фарфора, трещинками. Вместо безумной радости, вылившейся тогда в решимость, теперь его одолевала печаль человека, осознающего конец одного из этапов жизни.

Он спрашивал себя, намерен ли он смириться. Нет. Императорский эдикт действовал как слепая сила, бросившая их с Сатоко друг к другу, но слишком затянувшееся официальное объявление о помолвке стало той силой, которая вознамерилась оторвать их друг от друга. С первой можно было справиться, просто следуя велению сердца, но Киёаки не знал, как справиться с другой.

На следующий день Киёаки позвонил, как он это обычно делал, когда хотел связаться с Сатоко, хозяину пансиона для военных и просил передать Тадэсине, что ему нужно немедленно встретиться с Сатоко. Ответа нужно было ждать до вечера, и он отправился в школу, хотя не слышал ничего из того, что было на занятиях. После уроков он позвонил снова, и ему передали от Тадэсины следующее: в силу известных обстоятельств в ближайшие десять дней она не может устроить ему встречу с Сатоко, но сразу же сообщит, когда это станет возможным, а потому просит подождать.

Киёаки провел эти десять дней, сгорая от нетерпения. Он сознавал, что расплачивается теперь за то время, когда демонстрировал Сатоко свое равнодушие. Все больше чувствовалась осень, хотя листья кленов еще не наполнили пейзаж буйством красок, и только сакура сбрасывала темно-красные листья. Особенно тяжким было воскресенье, которое он, не имея настроения пригласить друга, провел в одиночестве: смотрел на отражения облаков в пруду. Потом рассеянно взирал на дальний водопад, удивляясь, почему не истощается падающий без устали поток, размышляя о загадке плотной массы воды. Она казалась ему воплощением собственных чувств.

Его наполняло ощущение пустоты, безысходности, бросало то в жар, то в холод; пришли тягучая вялость в движениях и раздражение – все признаки болезни. Он прошелся один по обширной усадьбе, вышел к аллейке позади главного дома. На глаза ему попался старый садовник, копавший батат с пожелтевшей ботвой.

С голубого, глядящего сквозь ветки неба на щеку Киёаки упала капелька вчерашнего дождя. Она буквально пронзила кожу, показалась ясной ошеломляющей вестью, посланной избавить Киёаки от тревоги. Он не забыт, не отброшен, надо только ждать – ведь ничего не

случилось, но тревога и подозрения по-прежнему накатывались на него, словно глухие звуки шагов толпы на перекрестке, он был весь поглощен ими. И совсем забыл о своей красоте.

Десять дней прошли. Тадэсина сдержала обещание. Но обстоятельства свидания были для Киёаки мучительны. Сатоко пойдет в универмаг «Мицукоси» заказывать кимоно. С ней должна была пойти мать, но она простудилась, и Сатоко отправится вдвоем с Тадэсиной. Они могут встретиться с Киёаки, но делать это на глазах приказчиков в отделе тканей опасно. Так что пусть он в три часа ждет у входа, где стоит каменный лев. Увидев Сатоко, сделает отсутствующий вид и отправится за ними. Женщины зайдут в неприметную закусочную неподалеку, и там Киёаки с Сатоко смогут какое-то время поговорить. Коляска рикши будет ждать у универмага: это создаст впечатление, что Сатоко еще там.

Киёаки ушел раньше из школы: надел поверх форменного кителя плащ, закрыв эмблему школы Гакусюин, положил в портфель фуражку и смешался с толпой у входа в «Мицукоси». Показалась Сатоко, скользнула по нему печальным, жгучим взглядом и вышла на улицу. Киёаки сделал, как ему было сказано, и наконец оказался лицом к лицу с Сатоко в углу почти пустой закусочной.

Сатоко и Тадэсина выглядели заметно озабоченными. На лице Сатоко косметика против обыкновения бросалась в глаза, и было очевидно, что сделано это затем, чтобы она лучше выглядела. Она говорила с усилием, прическа, казалось, давила на нее своей тяжестью. Киёаки почудилось, что сияющая прежде сочными красками картинка на глазах поблекла. Чем-то эта Сатоко отличалась от той, которую он страстно желал видеть.

– Встретимся сегодня вечером? – с бешено стучащим сердцем спросил Киёаки, уже предчувствуя отказ.

– Не говори ерунды.

– Почему ерунды? – Слова Киёаки прозвучали резко и холодно.

Сатоко опустила голову – у нее потекли слезы. Боясь посетителей, Тадэсина достала белый носовой платок и сжала плечо Сатоко. В том, как она это сделала, чувствовалась какая-то жестокость, и Киёаки посмотрел на нее злыми глазами.

– Ну что вы на меня уставились? – в сердцах, почти грубо проговорила Тадэсина. – Разве вы не понимаете, что я ради вас с барышней чего только не натерпелась? Не только вы, но и барышня этого не представляет. Лучше б уж мне не быть на этом свете.

На стол перед ними поставили три чашки с супом, но они до него даже не дотронулись. На краю маленьких лакированных крышек, как выступившая на поверхность весенняя земля, постепенно засыхала горячая, лилового цвета фасолевая паста. Свидание было коротким, они расстались после данного Тадэсиной неопределенного обещания встретиться дней через десять.

Отчаяние Киёаки в этот вечер было безграничным. Стоило представить, сколько Сатоко будет еще отказываться от близости с ним, как ему начинало казаться, что весь мир против него; это безудержное отчаяние уже не оставляло никаких сомнений в том, что он безумно любит Сатоко.

Сегодняшние слезы Сатоко определенно говорили о том, что сердце ее принадлежит Киёаки, но было ясно, что это всего лишь движение души, в нем не было осязаемой силы.

Вот теперь его охватило настоящее чувство. Грубое и бессмысленное, темное, опустошающее, далекое от утонченности, совсем не похожее на то, как он прежде представлял себе любовь. Такое чувство никак не могло вылиться в изящные стихи. Киёаки впервые ощутил грубость материи, из которой родилась поэзия.

Он провел ночь без сна, и, когда с бледным лицом появился в школе, Хонда сразу заметил его состояние и спросил, что случилось. Эти осторожные, участливые вопросы едва не вызвали у Киёаки слезы.

– Слушай, она больше не хочет спать со мной.

На лице Хонды, не знакомого с физическими наслаждениями, появилось выражение растерянности.

– Почему это?

– Наверное, из-за помолвки в декабре.

– Из-за этого она себя блюдет?

– Может, и так.

У Хонды не было нужных слов, чтобы утешить друга. Как он жалел, что не может сделать это, опираясь на собственный опыт, и вынужден, как всегда, изрекать общие фразы. Ему придется, пусть и с усилием, приподняться вместо друга над фактами, взглянуть на них со стороны, провести психологический анализ.

– Ты, наверно, говорил тогда, когда вы встречались в Камакуре, что порой представляешь, как она тебе вдруг надоест.

– Но ведь это было не по-настоящему!

– Ты ведь думал так потому, что Сатоко любила глубже и сильнее, чем ты?

Но Хонда ошибался, рассчитывая, что это успокоит самолюбие Киёаки. Того уже ни в малейшей степени не занимала собственная красота. И даже чувства Сатоко.

Единственно важным для него были сейчас только время и место, где они вдвоем могли бы свободно, не таясь людей, встретиться. Он подозревал, что место это, скорее всего, находится в другом мире. И встретиться они смогут только в момент крушения нынешнего мира.

Значение имели не чувства, а условия встречи. Уставшие, покрасневшие, лихорадочные глаза Киёаки словно видели крушение мира, вызванное ради них двоих.

– Хорошо бы землетрясение. Тогда я отправлюсь спасать... Или война... тогда... нет, пусть лучше произойдет нечто – и зашатаются основы государства.

– Вот ты говоришь: события, но кто-то же должен их совершить. – Хонда с жалостью смотрел на своего изящного друга. Он надеялся, что сейчас ирония, насмешка придадут тому силы. – Тебе, наверно, следует самому сделать это.

На лице Киёаки отразилась растерянность. У него, занятого любовью, на это не было времени.

Но Хонда был заморожен искрой разрушения, сверкнувшей после его слов во взоре Киёаки. Словно стая волков с горящими глазами промчалась во тьме мимо храма.

Мгновенная, легучая тень неистовой души, мелькнувшая и пропавшая в зрачках, не вылившаяся в действие, не замеченная самим Киёаки...

– Какой силой разорвать эту безысходность? Властью? Деньгами? – вслух думал Киёаки, но даже из уст сына маркиза Мацугаэ звучало это довольно смешно, и Хонда отозвался холодно:

– Ну власть, и что ты будешь делать?

– Чтобы получить власть, сделаю что угодно. Но на это потребуется время.

– Ни власть, ни деньги сами по себе не помогут. Не надо забывать, что ты с самого начала нацелился на невозможное, с чем не совладаешь ни с помощью власти, ни с помощью денег. Тебя влекла именно невозможность. Будь ваша любовь возможна, она для тебя ничего бы не значила.

– Но она ведь стала возможной.

– Это тебе показалось. Ты видел радугу. Чего тебе еще надо?

– Еще... – Киёаки запнулся.

Хонда с содроганием услышал в этой оборвавшейся фразе признак безоговорочного нигилизма, которого он никак не ожидал. Хонда подумал: «Слова, которыми мы обмениваемся, – это груда строительного камня, в беспорядке сброшенного темной ночью на стройке. Так бормочут камни, заметив огромное, в молчании простершееся над ними звездное небо».

Окончилась первая лекция – логика; Киёаки и Хонда вели разговор, бродя по тропинкам роши, окружавшей Пруд очищения, приближалось начало второго урока, и они возвращались к зданию той же дорогой. На дорожке в осеннем лесу лежали груды опавших мокрых бурых листьев с заметными прожилками, желуди, гнилые, полопавшиеся еще зелеными каштаны, валялись окурки... Хонда остановился и напряг зрение, заметив съежившийся болезненно-белый бархатистый комочек. Это был трупик молодого крота. Киёаки тоже присел на корточки и стал молча разглядывать его. Белым он казался потому, что мертвое тельце лежало вверх брюшком. Все остальное отдавало влажной чернотой бархата, в складочки крохотных, жеманно растопыренных белых лапок набилась грязь. Ясно было, что грязь въелась в лапки, когда крот уже не мог передвигаться обычным образом. Похожее на клюв острое рыльце было задрано вверх, за крохотными передними зубками открывалась нежная розовая щель.

Оба одновременно вспомнили труп черной собаки в водопаде там, в усадьбе Мацугаэ. Та мертвая собака еще удостоилась неожиданно торжественного погребения.

Киёаки ухватился за покрытый редкой шерстью хвост и положил мертвое тельце себе на ладонь. Высохшее, оно не производило впечатления мертвого. Было только ощущение злого рока, по воле которого остановилась жизнь в жалком тельце, да неприятный вид крошечных раскрытых лапок.

Он поднялся, взял крота за хвост и там, где тропинка подходила к пруду, беспечно швырнул трупик в воду.

– Что ты делаешь! – Хонда нахмурился. В этом грубом на первый взгляд, типичном для подростка поступке он прочитал непривычную опустошенность души.

39

Прошло семь дней, прошло восемь, а от Тадэсины так и не было никаких известий. На десятый день Киёаки позвонил хозяину пансиона, тот ответил, что Тадэсина, похоже, заболела и слегла. Прошло еще несколько дней. Когда ему снова сказали, что Тадэсина еще не поправилась, Киёаки заподозрил увертку. Обуреваемый подозрениями, он вечером один отправился в Адзабу и бродил у дома Аякуры. Когда он проходил под газовыми фонарями Ториидзаки, его руки выглядели мертвенно-белыми, и это неприятно кольнуло сердце. Ему вспомнилась примета: больной часто смотрит на свои руки на пороге смерти.

Ворота в усадьбе Аякуры были плотно закрыты, слабый свет фонаря с трудом позволял прочесть табличку, на которой, поблескивая, выступали черные знаки. Во всей усадьбе почти не было огней. Он знал, что отсюда, из-за ограды, ему не разглядеть, есть ли свет в комнате Сатоко.

На решетчатых окнах нежилой привратницей, жадно поглощая уличный свет, лежала пыль, и Киёаки вспомнил, как они с Сатоко пробирались туда, как страшно было в темных, наполненных запахом плесени комнатах. Тогда стоял май – дом напротив караульной был окутан яркой зеленью. Мелкий переплет окон не скрадывал буйства листвы, и их детские лица казались такими маленькими. Мимо прошел продавец рассады. Они еще смеялись, подражая его крику: «Рассада, рассада... баклажаны, вьюнки...»

Он многому научился в этом доме. Запах туши всегда вызывал у него какую-то грусть, а ощущение грусти было неразрывно связано с утонченностью. Золото и пурпур на свитках переписанных сутр, которые ему показывал граф, ширмы с осенней травой, такие же, как во дворце в Киото... Все эти вещи должны были бы хранить отпечаток заблуждений и страданий их прежних владельцев, но в доме Аякуры их окутывал только запах плесени и туши. И сейчас он стоял перед домом, куда вход ему был заказан, воскрешая в памяти эту очаровывавшую его когда-то утонченность, к которой теперь не мог прикоснуться.

Еле видный с улицы слабый свет в окнах второго этажа погас – граф с женой, наверное, легли спать. Граф ложился рано. Может, Сатоко еще не спит? Но огня в ее комнате не видно. Киёаки вдоль ограды дошел до задних ворот, удержал себя от того, чтобы не раздумывая нажать пожелтевшую, в трещинках кнопку звонка, и вернулся домой, страдая от собственного малодушия.

Прошло несколько страшных пустых дней. Потом еще несколько. Он ходил в школу, просто чтобы убить время, а дома совсем забросил занятия.

В школе всегда были заметны те, кто, подобно Хонде, усиленно занимался, собираясь будущей весной сдавать экзамены в университет; теперь зашевелились и те, кто стремился попасть в университеты, куда было не нужно сдавать экзамены. Киёаки интересы и тех и других были одинаково безразличны, он все больше отдалялся от одноклассников. Он зачастую просто не отвечал, когда к нему обращались, и оказался как-то всеми забыт.

В один из дней, когда Киёаки вернулся из школы, он обнаружил, что в вестибюле его ждет управляющий Ямада.

– Сегодня господин маркиз вернулся рано, сказал, что хочет поиграть с вами в бильярд, и ждет вас в бильярдной.

Это был необычный приказ, и Киёаки занервничал. Маркиз очень редко, под настроение, приглашал Киёаки поиграть, обычно это бывало после выпитого дома за ужином вина. Отец, у которого такое желание возникло в середине дня, должен был быть или в очень хорошем, или в очень плохом настроении.

Сам Киёаки тоже почти не бывал в бильярдной днем.

Когда он, толкнув тяжелые створки двери, вошел туда и увидел развешанные по стенам зеркала в дубовых рамах, которые сияли в лучах солнца, проникавшего сквозь волнистое стекло закрытых окон, ему показалось, что он попал в незнакомое место.

Маркиз, склонившись над столом, нацелился кием на бильярдный шар. Резко выделялись пальцы левой руки, на которые опирался кий.

Когда фигура Киёаки в школьной форме появилась за приоткрывшейся дверью, маркиз промолвил, не разгибаясь:

– Закрой дверь.

Зелень сукна бросала отсветы на лицо отца, поэтому Киёаки не мог разглядеть его выражение.

– Вот, прочти. Это предсмертная записка Тадэсины. – Маркиз наконец выпрямился и указал кончиком кия на письмо, лежавшее на столике у окна.

– Тадэсина умерла? – Киёаки почувствовал дрожь в пальцах, взявших письмо.

– Не умерла. Обошлось. Не умерла... еще больше позор.

Маркиз явно сдерживался, чтобы не подойти к сыну.

Киёаки колебался.

– Я тебе говорю, читай скорей. – Маркиз впервые повысил голос. И Киёаки стоя начал читать написанные на длинном свитке прощальные слова...

Я надеюсь, что уже покину мир, когда господин маркиз увидит это письмо. Прежде чем оборвать свою жалкую жизнь во искупление поистине тяжкого греха, позвольте мне облегчить душу раскаянием. Я недоглядела, и барышня Сатоко Аякура забеременела. Я жила в постоянном страхе и прошу Вас немедленно что-то предпринять. Если упустить время, это обернется страшной бедой: я на свою ответственность открыла все господину Аякуре, но господин граф только твердил: «Что делать? Что делать?» – и ничего не мог решить; еще чуть-чуть времени пройдет, и уладить все будет трудно, а ведь дело государственной важности. И все из-за того, что я пренебрегла своими обязанностями, теперь Вы, господин маркиз, моя единственная надежда.

Вы наверняка придете в ярость, но беременность барышни касается обеих наших семей, пожалуйста, умоляю, проявите Вашу обычную осмотрительность и мудрость. На коленях взываю к Вашей милости: пожалейте спешащую к смерти старуху, позаботьтесь о Сатоко.

Преданная Вам

Тадэсина

Киёаки, прочитав письмо, отбросил трусливое чувство облегчения, которое он на миг испытал, заметив, что в письме не упомянуто его имя, он не хотел, чтобы в его глазах отец разглядел притворство. Но губы пересохли, а в висках жарко стучала кровь.

– Прочитал? «Беременность барышни касается обеих наших семей... проявите Вашу осмотрительность и мудрость», ты это прочитал? Как бы мы ни были близки, не скажешь, что у нас общие семейные дела. А Тадэсина упорно считает их общими... Если у тебя есть что рассказать, лучше расскажи. Здесь, перед портретом деда... Прошу прощения, если я ошибаюсь в своих предположениях. Как отцу, мне совсем не хотелось бы строить подобные догадки. Это отвратительно. Даже как предположение. Экая мерзость!

Обычно легкомысленный и жизнерадостный маркиз сейчас выглядел грозным, даже величественным. Он стоял, гневно постукивая кием по ладони, а за спиной у него висели портрет предка и картина морского сражения времен японско-русской войны.

Картина маслом изображала японский флот, готовый к встрече с врагом в Японском море: больше половины картины занимало мрачное, бушующее море. Вечером, в свете ламп, волны сливались с темной поверхностью стены и были лишь пятнами мрака, но днем густо

насыщенный лиловый цвет создавал впечатление, что они возвышаются прямо над тобой; среди темной зелени местами попадались светлые пятна – это рассыпались белыми брызгами гребни, и с поразительной ясностью угадывалось, как неистовое море расширяет фарватер готовящейся к сражению флотилии. Дым кораблей, создающий вертикаль картины, тянулся вправо. Небо было холодно-зеленым и напоминало бледную зелень майской травы, растущей где-нибудь на севере.

По контрасту с этим портрет одетого в парадную форму деда давал почувствовать обаяние твердой воли, и сейчас казалось, что дед не осуждает Киёаки, а, особенно не упирая на свою власть, чему-то учит. Такому деду, почудилось Киёаки, можно рассказать обо всем. Мягкий, нерешительный характер внука будто мигом отвердел в присутствии этого лица с набрякшими веками, бородавкой на щеке и толстой нижней губой.

– Мне нечего рассказывать. Все так, как вы предположили. Это мой ребенок. – Киёаки смог выговорить это, не опуская глаз.

Маркиз Мацугаэ, несмотря на весь свой грозный вид, пришел в крайнее замешательство. Оказаться в подобном положении было совсем ему не свойственно. И вместо того, чтобы сразу обрушиться на Киёаки с грубой бранью, он произнес всего лишь несколько слов:

– Эта бабка Тадэсина уже второй раз приносит мне неприятные вести. Раньше речь шла о распутстве слуги, теперь – собственного сына... И еще собиралась умереть, чтобы спрятать концы. Только на это и способна!

Маркиз, всегда разрешавший тонкие душевные проблемы раскатистым хохотом, не знал, что делать, когда на деликатность следовало бы отреагировать яростью.

Этого краснолицего, плотного мужчину разительно отличало от его отца – деда Киёаки – то, что он даже перед собственным сыном старался выглядеть бесчувственным, грубым мужланом. Маркиз боялся, как бы гнев не сделал его старомодным, – и понял, что в результате ярость теряет силу. С другой стороны, он также сознавал, что в подобной ситуации у кого-кого, а у него меньше всего оснований для праведного гнева.

Некоторое замешательство отца придало Киёаки храбрости. И словно чистая вода хлынула из трещины – юноша произнес самые естественные в жизни слова:

– В любом случае Сатоко – моя.

– Ты сказал «моя»?! Ну-ка, повтори! Ты сказал «моя»?!

Маркиз был доволен, что сын подлил масла в огонь его гнева. Теперь он мог изобразить слепую ярость.

– Что ж ты говоришь об этом теперь?! Разве, когда Сатоко получила предложение от принца, я не допытывался, нет ли у тебя возражений? Разве я не говорил: «Сейчас еще можно повернуть назад, скажи, если это как-то тебя касается»?

Маркиз в гневе повышал голос не там, где нужно, и получалось, что брань звучала мягко, а обычные слова – бранно. Когда он двинулся к подставке с шарами, заметно было, как дрожит рука, держащая кий. И тут Киёаки впервые испугался.

– Ты тогда что сказал? А? Что ты сказал? «Меня это абсолютно не трогает». Это были слова мужчины. Ведь ты, в конце концов, мужчина? Я жалел, что воспитывал тебя слишком мягко, но чтобы дошло до такого... Ты не просто коснулся невесты принца, когда уже получено высочайшее разрешение на брак, ты ей ребенка сделал. Оскорбил имя принца, запятнал собственных родителей. Нет на свете большего вероломства, большего неуважения. Раньше я, как отец, обязан был бы сделать харакири, вымаливая прощение у императора. Отвратительно, просто животн... это твое поведение. Ты сам-то что думаешь? Отвечай. Не хочешь говорить?!

Конвульсивные вздохи прервали речь отца, Киёаки отшатнулся, пытаясь избежать занесенного над ним кия, но получил сильнейший удар по спине, потом, когда увернулся, защищая спину, – по правой руке; рука онемела. Направленный в голову удар пришелся по переносице,

когда Киёаки уже устремился к двери. Он налетел на стоявший рядом стул и упал вместе с ним. Из носа сразу хлынула кровь, но кий больше его не преследовал.

Киёаки, наверное, вскрикивал при каждом ударе, потому что открылась дверь и появились мать с бабушкой. Супруга маркиза дрожала, спрятавшись за спину свекрови.

Маркиз, все еще сжимая в руках кий, судорожно задыхаясь, буквально остолбенел.

– Что тут у вас? – спросила бабушка.

И только тогда маркиз заметил мать, но вид у него был такой, словно он не мог поверить своим глазам. Он даже не предполагал, что жена, почуяв неладное, кинулась звать свекровь. Чтобы пожилая женщина хоть на шаг двинулась из своего дома – такого еще не бывало.

– Киёаки такое натворил... Да сами поймете, прочтите предсмертную записку Тадэсины, вон она на столе.

– Что, Тадэсина покончила с собой?

– Я получил ее по почте и позвонил Аякуре...

– Ну и что дальше? – Мать села на стул рядом со столиком, не спеша достала из-за пояса очки. Внимательно, словно кошелек, открыла футляр из черного бархата.

Жена маркиза в первый раз видела, чтобы свекровь не удостоила взглядом лежавшего на полу внука. Своим видом она выражала готовность принять на себя гнев маркиза. Убедившись в этом, жена маркиза поспешила к Киёаки. Тот уже вытащил платок и прижал его к окровавленному носу. Заметных царапин на нем не было.

– Ну и что дальше? – снова спросила пожилая женщина, разворачивая бумажный свиток. У маркиза словно что-то сломалось внутри.

– Я позвонил и узнал, что ее спасли, она поправляется, но граф недоумевал: как это мне стало известно? Он, видно, не знал, что она послала мне письмо. Я же заметил графу, что надо постараться, чтобы разговоры о попытке Тадэсины отравиться не просочились в общество... Но что ни говори, а виноват во всем наш Киёаки, нельзя упрекать только их, – вот разговор и вышел какой-то неопределенный. Я сказал графу, что хочу с ним поскорее встретиться и все обсудить, но я не могу действовать, пока мы не решили между собой, как быть.

– Да. Да, – куда-то в пространство говорила бабушка, пробегая глазами письмо.

Ее мясистое, лоснящееся лицо, загар, который до сих пор сохранился на этом будто одним движением резца сотворенном лице; просто постриженные седые волосы, небрежно окрашенные в черный цвет... – весь ее типично деревенский облик как нельзя лучше подходил к этой викторианской бильярдной.

– Но в этом письме Киёаки ведь нигде не назван?

– Посмотрите, там написано про наши общие семейные дела. Сразу видно, на что она намекает... И Киёаки сам сознался, что это его ребенок. Это значит, что у вас, матушка, будет правнук. Незаконнорожденный правнук.

– Может, Киёаки кого-нибудь покрывает и сам на себя наговорил.

– Не знаете, так не говорите. Можете сами его спросить.

Она наконец повернулась к внуку и доброжелательно, словно обращаясь к пятилетнему ребенку, сказала:

– Ну, Киёаки. Посмотри на бабушку. Отвечай, глядя мне в глаза, тогда ты не соврешь. Это правда, что сейчас сказал отец?!

Киёаки повернулся, пересиливая боль в спине, сжимая окровавленный платок, которым он промокал не перестающую течь из носа кровь. На идеальном лице с влажными глазами нос с кое-как вытертыми пятнышками крови походил на влажный нос щенка и выглядел очень по-детски.

– Правда, – бросил Киёаки гнусаво и опять поспешно зажал его новым носовым платком, который достала мать.

И тут бабушка сказала нечто такое, что, как топот копыт свободно несущихся коней, разбросало все, что было выстроено в таком безупречном порядке.

– Наградить ребенком невесту принца – вот здорово! Ваши трусливые нынешние мужчины этого не могут. Вот это да! Киёаки – настоящий внук своего деда! Ну, посадят в тюрьму. Не казнят же!

Бабушка явно радовалась. Жесткая линия губ смягчилась, исчезла копившаяся в течение долгих лет тоска, она была так довольна, что смогла своими словами возмутить болото, в котором погрязло при нынешнем маркизе все имение. И в этом была вина не только его, ее сына. Голос бабушки определенно прозвучал из мятежного, сейчас уже забытого прошлого, когда никто не боялся тюрьмы и казни, – прозвучал в ответ врагам, окружившим усадьбу и собиравшимся раздавить бредущую к концу жизни женщину. Когда-то призраки смерти и тюрьмы бродили рядом с жизнью. Так или иначе, бабушка принадлежала к тому времени, когда женщины спокойно мыли посуду в реке, которая несла трупы. Вот была жизнь! И теперь этот на первый взгляд изнеженный внук чудесным образом воскресил призраки тех времен. На лице бабушки некоторое время держалось выражение восторга, и жена маркиза, не зная, какими словами вернуть ее к происходящему, издали ошеломленно смотрела на торжественное, грозное лицо старой женщины с явными признаками простой сельской жизни, которые она, как мать маркиза, не хотела выставлять на всеобщее обозрение.

– О чем вы говорите?! – Маркиз, словно очнувшись, возразил лишенным сил голосом. – Это конец дому Мацугаэ. Отец не простил бы нам этого.

– Да, – сразу отозвалась старая мать. – Ты сейчас должен думать не о наказании Киёаки, а о том, как спасти дом Мацугаэ. Нужно думать о государстве, но и о себе тоже. Государство – это важно, но дом Мацугаэ – не менее важно. Мы ведь не то что семья Аякура, которые двадцать семь поколений получают от императора жалованье... Что ты собираешься делать?

– Остается сделать вид, что ничего не было, и довести дело до свадьбы.

– Это замечательная идея, но нужно как можно скорее уладить дело с ребенком Сатоко. Делать это где-то в Токио... Ужасно будет, если пронюхают газетчики. Нет ли у тебя чего-нибудь на этот случай?

– Можно в Осаке, – после некоторого раздумья выдал из себя маркиз. – Доктор Мори сделает все в строжайшей тайне. Но нужен предлог, чтобы отвезти Сатоко в Осаку.

– Ну, у Аякуры там полно родственников, послать ее с визитами по случаю помолвки – это уже повод.

– Но заставлять ее встречаться с родственниками... Кто-нибудь да заметит ее положение, это никуда не годится... А-а, у меня есть мысль. Лучше всего, пожалуй, послать ее с прощальным визитом к настоятельнице храма Гэссюдзи в Нарэ. Настоятелями там когда-то были члены императорской семьи, так что визит вполне по правилам. С любой точки зрения это выглядит естественно. И настоятельница знает и любит Сатоко с детства... Итак, сначала послать ее в Осаку, там доктор Мори сделает что нужно, пару дней она отдохнет, а потом можно ехать в Нарэ. Мать Сатоко, наверное, тоже с ней поедет...

– Вдвоем им ехать нельзя, – строго заметила мать маркиза. – Госпожа Аякура всегда на виду. Нельзя, чтобы кто-то за ней проследил и обнаружил, чем занимается доктор. Нужна еще какая-то женщина... А, Цудзико, вот ты и поезжай. – Она повернулась к невестке.

– Хорошо.

– Ты едешь присматривать. В Нарэ тебе ехать незачем. Убедишься, что нужное сделано, и сразу возвращайся в Токио, расскажешь тут нам все.

– Делай, как говорит мать. Я посоветуюсь с графом по поводу дня отъезда, нужно ничего не упустить.

Киёаки отодвинули на задний план, его поведение, любовь – с ними обращались как с уже мертвыми вещами: казалось, бабушка и отец с матерью подробно обсуждают похороны, не

заботясь о том, что умирающий еще их слышит. Нет, что-то было погребено еще до похорон. И Киёаки, с одной стороны, был умирающим, а с другой – растерянным ребенком.

Все решалось независимо от воли виновника события, с полным игнорированием воли семейства Аякура. Даже бабушка с ее опасными речами влилась в это упоительное занятие по улаживанию чрезвычайного конфликта. Характер бабушки никогда не имел ничего общего с деликатностью Киёаки, первобытная мораль, оправдывающая подлинное проявление чувств, сочеталась у нее со способностью скрывать эти чувства во имя спасения чести дома – это она не впитала с солнцем Кагосимы, этому она научилась от мужа и благодаря мужу.

Маркиз посмотрел на Киёаки впервые после того, как избил его кием.

– С сегодняшнего дня ты должен вести себя осмотрительно, вернуться к школьным обязанностям и отдаться занятиям, чтобы сдавать экзамены в университет. Ну, договорились?! Я больше ничего не скажу. Ты перед выбором – либо стать мужчиной, либо не стать им. С Сатоко, конечно, больше не встречаться.

– Как говорили когда-то, ты под домашним арестом. Надоест заниматься – можешь зайти ко мне в гости, – добавила бабушка.

И Киёаки понял, что теперь отец оказался в таком положении, когда, опасаясь за свою репутацию, не может даже отречься от сына.

40

Граф Аякура очень боялся ран, болезней, смерти.

Утром, когда поднялся шум по поводу того, что Тадэсина не встает с постели, предсмертную записку, обнаруженную у изголовья, сразу принесли госпоже Аякура, а та отправила ее графу; граф взял записку кончиками пальцев, как заразную, и распечатал. В ней было написано, что Тадэсина просит прощения у господина и госпожи, а также у Сатоко за свой поступок и благодарит за то, что в течение долгих лет они были к ней так добры, – такую записку можно было показать кому угодно.

Супруга графа сразу вызвала врача; граф сам, конечно, ни в чем не участвовал, а только выслушал потом подробное сообщение жены.

– Похоже, она проглотила калмотин, таблеток сто двадцать. Это врач так предположил, сама она была еще без сознания. И откуда у старой женщины такая сила: размахивает руками и ногами, выгибается дугой, шумит, – наконец все навалились, ей сделали укол, промыли желудок (промывание желудка – унижительная процедура, я этого не видела). Но врач поручился, что жизнь ей спасет.

Специалисты, конечно, разные бывают. Этот ничего не сказал, только принялся к ее дыханию и сразу определил: «А-а, пахнет чесноком. Это калмотин».

– Когда она поправится?

– Врач сказал, дней десять ей нужно провести в покое.

– Никак нельзя, чтобы это вышло наружу. Нужно сказать служанкам, чтобы попридержали язык, и врача попросить. Как Сатоко?

– Закрылась у себя в комнате. Не хочет заходить к Тадэсине. Может, в ее положении это ей неприятно, да еще, когда Тадэсина открыла нам, что произошло, Сатоко перестала с ней разговаривать – теперь-то, наверное, проявит желание навестить Тадэсину, но хорошо бы, чтоб сделала это неприметно.

Когда пять дней назад Тадэсина, передумав обо всем на свете, открыла графу и графине, что Сатоко беременна, она, в общем-то, предполагала, что граф, скорее всего, растеряется, но не станет бранить ее, хотя равнодушие, с которым было встречено это известие, заставило Тадэсину занервничать – и она, послав маркизу Мацугаэ предсмертную записку, выпила калмотин.

Сатоко с самого начала не хотела следовать советам Тадэсины и, хотя опасность нарастала с каждым днем, только приказывала: «Никому не говори», сама же никаких решений не принимала. Тадэсина после долгих раздумий, нарушив приказ Сатоко, рассказала о ее беременности отцу с матерью, но те, видимо оттого, что были ошеломлены, выглядели так, словно слушают историю о том, как кошка утащила курицу из курятника на заднем дворе.

На следующий день после этого неприятного сообщения и позже граф, встречаясь с Тадэсиной, не обнаруживал никакого желания касаться этой темы.

Он был в очень трудном положении. Будь это возможно, граф просто бы выбросил из головы дело, уладить которое одному ему было не по силам, а с кем-то советоваться было стыдно. Супруги договорились не обсуждать это с Сатоко, пока не найдут какой-нибудь выход, но Сатоко, ставшая чрезвычайно подозрительной, учинила Тадэсине допрос и, узнав, что та проболталась, перестала с ней разговаривать и затворилась у себя в комнате. В доме повисло странное молчание. Тадэсина не отвечала на телефонные звонки, приказав говорить, что она больна.

Граф даже в разговорах с женой не касался неприятной темы. Положение действительно было отчаянным, дело не терпело отлагательств, а он, хотя и не верил в чудо, все откладывал решение со дня на день.

В этой медлительности, однако, была своего рода утонченность. Решить ничего нельзя: ясно, что каждое из возможных решений может быть неверным, но он не был скептиком в обычном смысле этого слова. Граф Аякура, хотя его и одолевали тяжелые мысли, не желал полагаться только на эмоции, не хотел принимать единственно возможное решение. Его размышления походили на расчеты предков – игроков в футбол. Они знали: как высоко ни брось мяч, он все равно вскоре упадет на землю. Вот, например, Намба Мунэтакэ, поймав, послал высоко вверх белый с пурпуром мяч из оленьей кожи, тот, под восхищенные возгласы зрителей, перелетел через крышу дворца в Киото, но тут же упал у стен малого дворца.

В любом решении есть свои просчеты, и лучше подождать, пока они скажутся на ком-нибудь еще. Упавший мяч должен принять другой игрок. Мяч, даже подброшенный тобой, в воздухе может сам по себе развернуться и полететь в неожиданном направлении.

Графу отнюдь не рисовались картины разорения или крушения всей его жизни. Если его не потрясло то, что его дочь, по императорскому соизволению невеста принца, носит в себе дитя другого мужчины, следовательно, в этом мире для него ничто не имело значения: ни один мяч не будет вечно в твоих руках. Появится кто-то, кому придется его принять.

В силу своего характера граф был не в состоянии осуждать себя, поэтому получалось, что он всегда осуждал других.

На следующий день после неудавшегося самоубийства Тадэсины граф по телефону поговорил с маркизом Мацугаэ.

Было невероятно, что маркиз в курсе их семейных дел. Граф теперь уже не удивлялся, что у него в доме есть соглядатай, но Тадэсина, которую он подозревал в этом, вчера целый день была без сознания, и это давало пищу самым разным предположениям.

Поэтому граф, услышав от жены, что состояние Тадэсины намного лучше – она может говорить, и аппетит появился, – собрав все свое мужество, вознамерился один навестить больную.

– Тебе лучше не ходить. Если я приду один, она скорее скажет правду.

– Там комната в беспорядке, ей будет неловко от вашего неожиданного прихода. Я предупреду ее и прикажу прибрать.

– Ну хорошо, пусть так.

После этого графа заставили прождать два дня: больная должна была начать пользоваться косметикой.

Тадэсине специально выделили комнату в главном доме, но она была темной и крошечной: почти всю ее занимала постель. Графу не приходилось бывать здесь. Когда наконец настал момент посещения, то для него поставили стул, постель убрали, и Тадэсина в стеганом ночном кимоно встретила хозяина, облокотившись на несколько положенных друг на друга подушек и стараясь при поклоне прижаться к ним лбом.

Граф заметил, что она была еще слишком слаба для того, чтобы тщательно до самого края волос наложить густые белила, да и при поклоне между подушкой и лбом оставалась крошечная щель.

– Ужасное событие. Хорошо, что тебя спасли. Теперь можно не беспокоиться, – произнес граф, не задумываясь над тем, насколько это странно – вот так сидеть на стуле и смотреть на больную сверху, стараясь не обнаружить своих эмоций.

– Я так виновата. Доставила вам столько неприятностей. Если б вы могли простить меня...

Тадэсина с опущенной головой достала бумажную салфетку и приложила ее к уголкам глаз, но граф понял, что это она все еще пудрится.

– Врач сказал, что через десять дней ты окончательно поправишься. Не думай ни о чем, только о своем здоровье.

– Спасибо. Не пришлось умереть. Мне так стыдно.

В ее скорчившейся фигуре, накрытой стеганым ночным кимоно с мелкими хризантемами по красному полю, чувствовалось что-то зловещее, отделившее ее от людей, пометившее как человека, возвращенного с пути в обитель мрака. Граф нервничал: ему казалось, что в этой крошечной комнате даже к шкафчику с чайной посудой пристала какая-то скверна, странно отвратительными выглядели у склонившей голову Тадэсины и старательно набеленная сзади шея, и тщательно причесанная, без единого выбившегося волоска голова.

– Сегодня звонил маркиз Мацугаэ, я удивился, что он в курсе наших дел. Хочу спросить, не причастна ли ты к этому... – Вопрос вылетел у графа случайно, на него он мог ответить сам: заговорив об этом, он вздрогнул, заранее предчувствуя ответ, и в тот же момент Тадэсина подняла голову.

Лицо Тадэсины больше, чем обычно, было покрыто гримом, типичным для Киото. Губы накрашены пурпурного цвета помадой, поверх тщательно растертых по лицу, скрывающих морщины белил положены еще белила – они были так не к месту на этой нечистой после принятого яда коже, вся косметика выглядела как покрывшая лицо плесень. Граф отвел взгляд и продолжил:

– Ты ведь заранее послала маркизу предсмертное письмо?

– Да. – Тадэсина, глядя на графа, ответила недрогнувшим голосом. – Я действительно хотела умереть, поэтому послала записку, чтобы все было улажено.

– И ты все написала?

– Нет.

– Так есть еще что-то, о чем ты не написала?

– Да. Много чего, – безмятежно отозвалась Тадэсина.

41

Графа, в общем-то, не очень занимало, что реально известно маркизу, но когда он услышал, что есть еще немало, о чем Тадэсина умолчала, то вдруг забеспокоился:

– Что ж это такое, о чем ты не написала?

– О чем вы? Вы только что спросили: «И ты все написала?» – я вам на это ответила; если ж вы меня расспрашиваете, значит у вас что-то есть на сердце.

– Не морочь мне голову. Я пришел к тебе один, думал, мы сможем поговорить, никого не стеснясь. Скажи прямо.

– Ну, много есть того, о чем я не написала. Восемь лет назад в доме Китадзаки узнала я от вас одну вещь и думала умереть, сохранив ее в своем сердце.

– Китадзаки...

Граф содрогнулся, услышав это имя, оно было предвестием несчастья. Он сразу понял, что Тадэсина имеет в виду. Понял, но тревога все росла, и ему захотелось еще раз уточнить:

– Что же я сказал там, у Китадзаки?

– Еще вечером дождь шел. Может быть, вы и забыли. Барышня выросла, тогда ей было тринадцать. В тот день приезжал маркиз Мацугаэ, который у нас бывал редко; когда он уехал, вам было не по себе, и вы пошли развлечься к Китадзаки. Вы мне в тот вечер кое-что сказали...

Он уже понял, о чем будет говорить Тадэсина. Восприняв тогдашние слова графа как наказ, она собиралась свалить теперь вину на него, и у графа сразу возникли сомнения, действительно ли Тадэсина, принимая яд, намеревалась умереть. Сейчас ее глаза поверх положенных друг на друга подушек выглядели на густо набеленном лице как две пробитые в белой стене бойницы.

За этой стеной во мраке пряталось прошлое, оттуда, из глубокой тьмы, сюда, где он был весь на свету, были нацелены стрелы.

– Что теперь говорить. Я ведь тогда сказал это в шутку.

– Действительно в шутку?

Глаза-бойницы сузились, и графа словно обдало выплеснувшимся изнутри мраком.

– Но ведь в тот вечер у Китадзаки...

Китадзаки, Китадзаки. Губы Тадэсины упорно повторяли это имя, которое граф хотел бы забыть, но оно прочно засело в памяти. Дом Китадзаки, куда он не ступал ногой уже лет восемь, во всех деталях встал перед глазами. Дом у подножия холма, обнесенный деревянным забором, без ворот, без привратничкой. Сырую, темную, чуть ли не со слизьяками на стенах прихожую заполняют несколько пар черных сапог, мелькают и желтые пятна кожи: внутри сапоги сопрели от пота и жира; на грязной широкой полоске бумаги, вывешенной из прихожей наружу, написано имя хозяина. Уже в прихожей слышно громкое пение, чтение стихов. Достаточно приличный вид, который придает этому дому безопасное в разгар японско-русской войны занятие – пансион для офицеров, и еще запах конюшни. Граф, пока его вели по дому, все боялся коснуться рукавом стены, словно шел по коридору больничного изолятора, где лежат заразные больные. Он просто ненавидел запах человеческого пота.

В тот дождливый вечер восемь лет назад, проводив гостя – маркиза Мацугаэ, граф был в каком-то взвинченном настроении. Тадэсина, заметив это по его лицу, предложила:

– Китадзаки заполучил что-то интересное и говорит, что обязательно хочет показать это вам. Может быть, выйдете сегодня вечером развеяться?

Тадэсина после того, как уложила спать Сатоко, была вольна отправиться, по ее словам, в гости к родственнику, и ей было несложно встретиться вечером с графом на улице. Китадзаки

принял графа учтиво, подал саке, потом принес старый свиток и почтительно положил его на столик.

– Извините, что так шумно. Сегодня вечером устраивают проводы на фронт. Жарко, но, наверное, лучше закрыть ставни.

Китадзаки, видно, было неудобно за шумные аплодисменты и военные песни, доносившиеся со второго этажа дома. Граф закрыл ставни. И тогда ему показалось, что шум дождя, наоборот, стал еще отчетливее. Цвета на картинах из жизни принца Гэндзи, украшавших внутренние перегородки, словно душили, они придавали комнате нарочито обольстительный вид. Она сама выглядела как тайная книга.

Морщинистые услужливые руки Китадзаки развязали лиловый шнурок на свитке, и перед глазами графа возник красочно оформленный текст. Это было что-то из поучительных историй «Мумонкан», сборника, который использовала в своей практике секта Дзэн.

«Достиг отшельник Китая и спрашивает:

– Есть тут кто-нибудь?

Хозяин поднимает кулак:

– Тут неглубоко, и кораблю пристать негде... значит, пойдет дальше».

Духота. Даже ветерок от веера, которым его сзади обмахивала Тадэсина, был горячим, словно валил пар от кипящей на огне кастрюли. Саке ударило в голову, шум дождя будто стучал в затылок, а там, где-то, была победа в ненужной войне. Граф рассматривал эротические картинки в свитке. Китадзаки прихлопнул комара. Извинился за то, что напугал хлопком. Граф, увидав на его сухой белой ладони черную точку раздавленного комара и пятнышко крови, почувствовал отвращение. Почему этот комар не укусил его? Выходит, он защищен от любой напасти?

Картинки в свитке начинались с той, где были изображены настоятель в оранжевом одеянии, сидящий перед ширмой, и зрелая красотка. Рисунок был выполнен с откровенным юмором: лицо настоятеля очень напоминало пенис.

На следующей картинке настоятель навалился на красотку, та сопротивляется, но уже с задраным подолом. Дальше они голые сплелись в объятиях, у женщины на лице написано явное удовольствие. Член настоятеля извивается, как корень сосны, коричневый язык сладострастно высунут. Пальцы ног зрелой красотки, припудренные белой известкой, согнуты, как того требуют каноны традиционной живописи. По белым бедрам до пальцев ног пробегает дрожь, напряжение поджатых пальцев выдает желание не упустить наслаждение, заставить его длиться бесконечно. Графу женщина показалась достойной внимания.

С другой стороны ширмы мальчишки-послушники облепили гонг и подставку для сутр, катают друг друга на плечах, с интересом заглядывают за ширму и уже не могут сдерживаться. В конце концов ширма падает. Обнаженная женщина, прикрывая стыд, пытается убежать, у настоятеля нет сил ругаться, начинается оргия. Мужские члены послушников изображены величиной почти с них самих. Художник, очевидно, намеревался выразить накал плотских страстей, который невозможно передать обычными мерками. Когда послушники все вместе преследуют женщину, на их лицах отчаянные гримасы, они буквально пошатываются под тяжестью своих закинутых на плечи мужских достоинств.

Женщина, изможденная соитиями с ног до головы, умирает. Ее душа отлетает в тень ивы, которую раскачивает ветер.

С этого момента юмор на картинках свитка исчезает, они наполняются мрачным духом: призраки женщин, уже не одной, а нескольких, со спутанными волосами, разинув кроваво-красные рты, преследуют мужчин. Мечущиеся в поисках спасения мужчины не в силах

сопротивляться налетающему на них урагану: призраки у всех, даже у настоятеля, отгрызают члены.

Последняя сцена происходит на морском берегу. Здесь рыдают и стонут, лишившись своего мужского достоинства, окровавленные голые мужчины. Во тьму открытого моря уходит корабль, груженный отгрызенными органами, на нем, с развевающимися волосами и повисшими, мертвенного цвета руками, стоят призраки и смеются над рыдающими на берегу мужчинами. И нос корабля, правящего в открытое море, вырезан в форме женской фигуры, по ветру летят пряди длинных волос...

Граф закончил смотреть рисунки, и им овладела невыразимая тоска. Саке кружило голову, мрачное настроение не проходило, но он приказал подать новую порцию саке и молча продолжал пить.

Перед глазами неотрывно стояли подогнутые пальцы ног той женщины из свитка, почти непристойная белизна известки, которой они были покрыты.

Нечего и говорить, что последовавшую за этим близость с Тадэсиной вызвали всего лишь душливая жара, унылый дождь и дурное настроение графа.

Лет четырнадцать тому назад, когда жена была беременна Сатоко, граф как-то переспал с Тадэсиной. Той тогда уже перевалило за сорок, поэтому назвать это можно было только явным капризом со стороны графа, и скоро отношения прекратились. Сам граф и в мыслях не мог допустить, что через четырнадцать лет у него с Тадэсиной, давно уже перешагнувшей шестой десяток, опять что-то будет. И после случившегося в тот вечер он больше не переступал порога дома Китадзаки.

Визит маркиза Мацугаэ, уязвленная гордость, дождливый вечер, уединенность жилища Китадзаки, саке, мрачные картинки... – все, навалившись, обостряло отвращение графа, и он, словно во что бы то ни стало желая запачкаться, опять потянулся к Тадэсине.

В поведении Тадэсины не ощущалось и намек на отказ, и это вызывало у графа чувство гадливости. «Эта женщина будет дожидаться своего хоть четырнадцать, хоть двадцать, да хоть сто лет. Только позови, и она всегда, в любой момент к твоим услугам...» Граф, копаясь в своем отвращении, словно увидел притаившихся в темной тени качающихся деревьев призраков с тех рисунков в свитке.

И так же, как и четырнадцать лет назад, на графа определенно подействовала бросающаяся в глаза уверенность Тадэсины в том, что она лучше всех – в своем спокойствии, поведении, в скромном кокетстве – в постели.

Было или не было условлено, но Китадзаки больше не появлялся. После того, что произошло, они не обменялись ни словом, дождь пронзал ночную темень, его шум разорвали голоса, горляющие военные песни, сейчас уже явственно долетали слова:

В огне сражений судьба родины.
От тебя ждут:
Иди, мой доблестный, мой верный друг,
Иди, за императора и славную отчизну.

Граф вдруг сразу превратился в ребенка. Ему захотелось излить переполнявший его гнев, он раскрывал то, что подобает говорить другу, а не служанке. Наверное, потому, что в собственной ярости граф ощущал ярость предков.

Приехавший в тот далекий день маркиз Мацугаэ, глядя по голове Сатоко, которая пришла с ним поздороваться, скорее всего, под влиянием выпитого неожиданно произнес в присутствии ребенка следующую речь:

– А девочка стала красавицей. И представить невозможно, какой же ты будешь, когда вырастешь, – не волнуйся, дядя найдет тебе хорошего жениха. Положись на меня, я отыщу самого лучшего. Мне это ничего не стоит. И приданое я тебе приготовлю все сплошь из шелка и парчи. Огромное приданое, какого еще не было в роду Аякура.

Жена свела было брови, но граф в этот момент легко рассмеялся. Его предки, вместо того чтобы смеяться, воспротивились бы унижению, продемонстрировали бы недостижимую утонченность. Но сейчас тот футбол, в котором предки были непревзойденными игроками, умер, и нужно думать о хлебе насущном.

Подлинный аристократ, обладающий истинной утонченностью, не чувствует себя задетым, он всего лишь неопределенно улыбается в ответ на бессознательно оскорбительные, пусть даже исполненные добрых намерений предложения нувориша. В этой улыбке, которой граф реагировал на новую власть, деньги, промелькнуло что-то загадочное.

Рассказав это Тадэсине, граф некоторое время молчал. Он размышлял, как можно изящно отомстить. Использовать что-нибудь вроде аромата благовоний, пропитывающего длинные рукава одежды. Пропитавший рукава аромат скрывает сам процесс: в нем не остается следов того, что в огне превращается в пепел; вот если бы возжечь стойкие благовония и перенести на рукава тонкий, благоуханный яд, чтобы он впитался в них навсегда...

И тут граф обратился к Тадэсине:

– У меня есть к тебе просьба. Когда Сатоко вырастет и в конце концов вопрос о браке решится так, как сказал Мацугаэ, я хочу, чтобы Сатоко еще до брака узнала бы мужчину – такого, который ей понравится и который сумеет держать язык за зубами. Не важно, какого он будет происхождения. Единственное условие, чтобы он понравился Сатоко. Я не отдам Сатоко невинной тому жениху, которого ей подыщет Мацугаэ. Этим я тайно смогу утереть ему нос. Но это нужно сделать так, чтобы никто не знал, ты со мной даже не советуешься, пусть это выглядит как твое упущение. Ты ведь мастерица в постельных делах и наверняка сможешь научить Сатоко нужным приемам: как заставить мужчину, спавшего с женщиной, думать, что она невинная девушка, и, наоборот, как заставить мужчину, спавшего с невинной девушкой, думать, что она не была девственницей.

– Ну конечно. Есть способы, при которых самый искушенный в развлечениях мужчина ничего не заметит. Я обучу им Сатоко. И все-таки зачем это?

– Чтобы у мужчины, похитившего у девушки перед свадьбой невинность, не было нахальной самоуверенности. Узнает, что она была девственницей, и вздумает еще взять на себя ответственность, а это не то, что надо. В общем, я все поручаю тебе.

Вместо того чтобы коротко ответить: «Хорошо», Тадэсина чопорно выговорила:

– Хорошо, я сделаю то, о чем вы просите.

И теперь Тадэсина намекала на то, о чем говорилось восемь лет назад.

Граф понял, что она хотела сказать, но, вообще-то, имея в виду непредвиденно изменившуюся обстановку, Тадэсина не должна была слепо следовать обещанию, данному восемь лет назад. Претендентом на руку Сатоко был принц крови; пусть и при посредничестве маркиза Мацугаэ, но этот брак был залогом возрождения дома Аякуры, и все совсем не так, как граф восемь лет назад в гневе излагал Тадэсине.

Может быть, Тадэсина, приведя все к катастрофе, оплатила этим маркизу, на что не осмелился малодушный граф. Или это была месть не маркизу, а именно ему, графу. Тот не знал, как поступить: а что, если Тадэсина передаст маркизу восьмилетней давности разговор в постели?

Граф не собирался больше ничего говорить. Что случилось, то случилось; после того как все дошло до ушей семейства Мацугаэ, он должен быть готов к тому, что ему наговорят

неприятностей, хотя надеялся, что маркиз, обладая огромной властью, как-то поможет, примет соответствующие меры. Все дошло до того предела, когда от него самого уже ничто не зависит.

Графу было ясно только одно: что бы Тадэсина ни говорила, в душе она себя виноватой не считает. Пытавшаяся отравиться пожилая женщина, выглядевшая в гриме как сверчок, попавший в коробку с пудрой, укутанная в красноватое стеганое кимоно, – эта фигурка, чем меньше она была, тем больше, казалось, вбирала в себя разлитое по всему миру уныние.

Граф вдруг заметил: комната эта того же размера, что и та пристройка в доме Китадзаки. В ушах возник шум дождя, и навалилась невесть откуда взявшаяся, ускорявшая гниение духота. Тадэсина снова подняла набеленное лицо, собираясь что-то сказать. Свет лампы упал на рот, на пересохшие губы, окруженные множеством продольных морщин, и краснота влажного рта слилась с лиловатым оттенком помады на губах.

Граф догадывался, о чем собирается говорить Тадэсина. Она сама сказала: то, что она сделала, имеет отношение к тому вечеру восемь лет назад, может быть, она хотела напомнить ему тот вечер. Ему, который после этого не выказывал к ней никакого интереса...

Вдруг графу, как ребенку, захотелось задать злой вопрос.

– Да, главное, что тебя спасли... Но ты действительно собиралась умереть?

Тадэсина приветливо улыбнулась, но глаза ее были полны то ли слез, то ли гнева.

– Скажет мне господин умереть, я и в самом деле умру. Прикажите, и я сделаю это еще раз. Правда, через восемь лет господин, наверное, забудет, что он приказывал.

Маркиз Мацугаэ, встретившись с графом Аякурой, был буквально ошарашен тем, что тот вроде бы и не взволнован, но вскоре пришел в хорошее расположение духа, когда граф охотно принял все предложения. «Да-да, все как вы говорите. Это просто счастье, что ваша супруга отправится вместе с Сатоко и что можно целиком положиться на деликатность доктора Мори, – большего и желать нельзя. И дальше мы намерены во всем следовать вашим советам» – таков был смысл сказанного графом.

Семейство Аякура выдвинуло только одно, достаточно скромное условие, и маркиз был вынужден с ним согласиться. Они просили, чтобы прямо перед отъездом Сатоко из Токио ей позволили бы на минутку встретиться с Киёаки. Конечно, речь идет не о том, чтобы оставить их наедине. Достаточно, если им дадут увидиться в присутствии родителей. Сатоко обещает, если пойдут навстречу ее просьбе, больше с Киёаки не встречаться. «Об этом просит Сатоко, но мы тоже хотели бы, чтобы ей это позволили», – нерешительно заявил граф Аякура.

То, что жена маркиза ехала вместе с Сатоко, помогало придать этой встрече естественность. Разумеется, сын придет проводить мать на вокзал, и не будет ничего странного, если они с Сатоко обменяются несколькими словами.

Когда с этим было решено, маркиз по совету жены тайно вызвал чрезвычайно занятого доктора Мори в Токио. До 14 ноября, когда Сатоко должна отправиться в Осаку, доктор будет гостем в доме Мацугаэ и может в случае звонка из дома графа, где присматривали за Сатоко, сразу же туда выехать. Дело в том, что каждую минуту была опасность выкидыша. Если вдруг это произойдет, доктор должен принять меры и сделать так, чтобы ничего не просочилось наружу. Кроме того, во время достаточно опасного, долгого путешествия в Осаку доктор тайно будет сопровождать их, находясь в другом вагоне. Маркиз потратил огромные деньги, посягнув на свободу этого светила медицины. Если же его план удастся, то путешествие Сатоко очень удачно обманет всех. Ведь никому в голову не придет подобная авантюра: беременная женщина путешествует на поезде.

Доктор был одет в прекрасно пошитый английский пиджак и выглядел джентльменом, но у него была коренастая фигура и выражение лица как у приказчика. Во время медицинского осмотра он расстилал на подушке толстую дорожную бумагу и после каждой пациентки, скомкав, выбрасывал ее и расстилал новую – это составляло часть его репутации. Доктор был чрезвычайно учтив и постоянно улыбался. Он обладал редким даром врача, умел хранить тайны, поэтому приобрел большое количество пациенток из высшего общества.

Доктор любил говорить о погоде. И хотя других тем у него не было, он пленял собеседника фразами типа: «Сегодня до глупости душно» или: «Дождевая теплынь». Еще он слогал стихи и, собрав лондонские впечатления в двадцать четверостиший, издал свой сборник «Стихи о Лондоне». На руке доктор носил кольцо с большим, в три карата, бриллиантом, перед осмотром каждый раз, морщась, с трудом стягивал его с пальца и бросал на стол рядом, но ни разу его не забыл. Усы над верхней губой у него всегда отливали глянцем, словно папоротник после дождя.

Супруги Аякура с Сатоко должны были перед отъездом нанести визит принцу. Экипаж увеличивал опасность выкидыша у Сатоко, поэтому маркиз позаботился об автомобиле; доктор Мори, одолжив у Ямады старый пиджак, переоделся управляющим и сопровождал семью, пристроившись на запасном сиденье. К счастью, молодой принц отправился на маневры, и его в тот момент не оказалось дома. Сатоко прямо в вестибюле раскланялась с хозяйкой дома и отбыла. Опасная поездка завершилась благополучно. От семейства принцев пришло запоздалое предложение прислать в день отъезда, 14 ноября, кого-нибудь из слуг, для проводов, но Аякура, поблагодарив, отказались. Таким образом, все шло гладко, по плану маркиза: семей-

ство Аякура, а также мать и сын Мацугаэ встретятся на вокзале в Симбаси. Доктор должен был, не привлекая внимания, устроиться в уголке вагона второго класса. Кто ни спросит, нанести визит настоятельнице – это великолепный предлог, поэтому маркиз заказал для отъезжающих салон-вагон с большими окнами.

Курьерский состав, ходивший между Симбаси и Симоносэки, отправлялся в половине десятого утра от Симбаси и через 11 часов 55 минут должен был прибыть в Осаку.

Здание вокзала в Симбаси, построенное в 1872 году по проекту американского архитектора Бридженса, было тусклым от серого в крапинку камня из Идзу, которым были облицованы стены; в ярком свете ноябрьского утра четко обрисовывался карниз. Жена маркиза уже сейчас была напряжена, предчувствуя обратный путь без спутников, поэтому по пути на вокзал и Ямада, заботливо обхвативший чемодан на откидном сиденье, и Киёаки в основном молчали. От входа все по высокой лестнице поднялись на платформу.

Поезд еще не подали. На широкий перрон косо падали лучи утреннего света, в них плясали крошечные пылинки. Вся в предотъездной тревоге, госпожа Мацугаэ несколько раз глубоко вздохнула.

– Их не видно. Не случилось ли чего?

Ямада, опустив блеснувшие стеклами очки, отозвался с почтением, но абсолютно бессмысленно:

– Да-а...

Всем все было ясно: просто госпожа не могла не сказать хоть что-нибудь.

Киёаки понимал материнскую тревогу, но не спешил прийти на помощь, неподвижно застыв в отдалении. В голове витали какие-то неосознанные мысли. Ему чудилось, будто он падает. Обессилевшее тело словно повисло в воздухе. На платформе было прохладно, он же выставил обтянутую школьной формой грудь, холод ожидания, казалось, пронизывает до костей.

Состав, поблескивая поручнями салон-вагона, торжественно подходил к платформе. В этот момент госпожа Мацугаэ издали увидела среди ожидающих поезда пассажиров стрелки усов доктора Мори и немного успокоилась. С доктором было договорено, что, если только не случится ничего непредвиденного, они будут делать вид, будто не знакомы друг с другом.

Ямада внес чемодан хозяйки в салон-вагон; пока мать давала Ямаде какие-то указания, Киёаки пристально смотрел вдаль. Показались госпожа Аякура и Сатоко – они пробирались сквозь толпу. Сатоко закуталась поверх кимоно в переливчатую шаль, но когда она появилась на открытой свету части перрона, ее безучастное лицо походило на застывшее молоко – таким оно было бледным.

Печаль и блаженство боролись в душе Киёаки. Он смотрел на медленно приближавшуюся в сопровождении матери Сатоко, и ему на секунду почудилось, что он встречает в своем доме невесту. Все казалось ему замедленным, радость тяжело давила на грудь, словно капля за каплей скопившаяся усталость.

Поднявшись в салон-вагон, госпожа Аякура, не отпуская несшего чемодан слугу, стала приносить извинения за опоздание. Мать Киёаки, конечно, была вежлива, но где-то на лбу у нее так и застыло напряженное недовольство.

Сатоко, прижимая переливчатую шаль к губам, все время старалась спрятаться за матерью. С Киёаки она обменялась обычным приветствием и сразу опустила на предложенный ей госпожой Мацугаэ стул ярко-красного цвета.

И Киёаки вдруг понял, почему Сатоко опоздала. Она хотела хоть немного сократить долгое время прощания, которое они будут вынуждены провести без слов в свете этого прозрачного и горького, как микстура, ноябрьского утра. Киёаки боялся, что взгляды, которые он, пока их матери разговаривали, бросал на потупившуюся Сатоко, выдают его страстное внимание. Ему хотелось смотреть на нее не отрываясь. Но он опасался, что изменчиво белое лицо

Сатоко вспыхнет краской в безжалостном свете дня. При нынешнем положении вещей действия и чувства должны быть очень деликатными, а Киёаки знал, что его пылкость принимает подчас слишком грубую форму. Это ощущение появилось у него недавно, и ему захотелось извиниться перед Сатоко за прошлые вспышки.

Он знал все уголки тела Сатоко, которое угадывалось под кимоно. Места, где кожа начинает краснеть от смущения, где тело изящно изгибается, где заметно просвечивает сквозь кожу легкое биение, похожее на трепет крыльев пойманного лебедя. Знал, как это тело выражает радость, печаль. Все эти подробности позволяли ему в сумраке вагона узнавать под кимоно тело Сатоко, но сейчас где-то у нее в животе, который она заботливо прикрывает рукавом, зреет нечто ему неведомое. У девятнадцатилетнего Киёаки не хватало воображения, чтобы представить себе ребенка. Для него это было чем-то нереальным, окутанным темной массой горячей крови и плоти.

Теперь Киёаки остается только бессильно наблюдать за тем, как то единственное, что попало от него в тело Сатоко и свернулось там под именем ребенка, будет безжалостно вырвано, и их тела навсегда останутся жить каждое само по себе. Ребенком скорее был сам Киёаки. Он был совершенно обессилен, он дрожал от беспомощности, досады, одиночества, как ребенок, которого в наказание оставили дома, не взяли на веселый пикник.

Сатоко, подняв глаза, посмотрела отсутствующим взглядом в окно, на платформу. И Киёаки пронзила мысль, что в этих глазах, отражавших сумятицу, творившуюся у нее в душе, уже не оставалось места для него.

Раздался пронзительный свисток. Сатоко встала. Киёаки показалось, что она собрала все свои силы, всю решительность. Мать поспешно схватила ее за локоть.

– Поезд уже отходит. Тебе надо выходить. – Сатоко произнесла это радостно, каким-то приподнятым тоном.

Киёаки был вынужден поддерживать какой-то бестолковый разговор с матерью, обычный между матерью и сыном, – пожелания отъезжающей, наставления остающемуся. Киёаки уже сомневался, получится ли у него гладко сыграть весь спектакль.

Наконец он закончил с матерью, коротко попрощался с госпожой Аякура и с каким-то легким чувством повернулся к Сатоко.

– Ну, всего тебе...

Легкая пружина будто толкала его положить руку на плечо Сатоко, что он и собирался сделать. Но рука вдруг словно онемела и осталась без движения, потому что в этот момент его глаза встретились с глазами Сатоко.

Эти прекрасные огромные глаза были влажны, но вовсе не от слез, которых прежде боялся Киёаки. Слезы были изгнаны прочь. Это были глаза загнанного человека, утопающего, который просит о помощи. Киёаки бессознательно отшатнулся. Эти глаза с необычно длинными, загнутыми ресницами...

– И ты, Киё, тоже будь здоров. Всего хорошего. – Тон, которым она произнесла эти слова, был безукоризненно вежлив.

Киёаки опрометью выскочил из вагона, казалось, его преследуют. Именно в этот момент начальник станции, в черной форме с пятью пуговицами и с кортиком на поясе, подал сигнал рукой, и опять послышался свисток кондуктора.

Стесняясь Ямады, который был рядом, Киёаки про себя твердил имя Сатоко. Поезд тихо вздрогнул и двинулся, похожий на нитку, раскручивающуюся с мотка. Постепенно удалялись поручни площадки вагона, у которых так и не появились ни Сатоко, ни две другие женщины. По платформе потянулись клубы паровозного дыма и копоти. Разом нависли сумерки, наполненные грубым, отвратительным запахом.

43

После приезда в Осаку утром следующего дня жена маркиза одна вышла из гостиницы, дошла до ближайшей почты и отправила телеграмму. Маркиз настойчиво втолковывал ей, чтобы она это сделала собственноручно.

Женщина впервые в жизни посетила почтовое отделение и совсем растерялась: она напоминала некую герцогиню, недавно ушедшую из жизни, ни разу не коснувшись денег, потому что считала их грязными. Госпожа Мацугаэ все-таки как-то ухитрилась отправить телеграмму кодом, о котором они условились с мужем: «Встреча прошла благополучно».

Теперь она по-настоящему осознала, что это значит – сбросить с плеч ношу. Сразу вернувшись в гостиницу, она собрала вещи и, провожаемая супругой Аякуры, села в поезд, стремясь поскорее вернуться в Токио. Чтобы проводить жену маркиза, госпожа Аякура на час покинула лежавшую в больнице Сатоко.

Сатоко положили в больницу доктора Мори под вымышленным именем. Доктор настаивал на нескольких днях абсолютного покоя. Мать была все время рядом, и, хотя Сатоко чувствовала себя хорошо, мать переживала, что та после операции не вымолвила ни единого слова.

В больнице внимательно следили за состоянием Сатоко, поэтому, когда главный врач разрешил ей покинуть больницу, она уже могла двигаться как обычно. Тошнота прекратилась, Сатоко и телом, и душой должна была бы испытывать облегчение, но она упорно молчала.

Вскоре, как и предполагалось, мать с дочерью должны были отправиться с прощальным визитом к настоятельнице в храм Гэссюдзи, провести там сутки и потом вернуться в Токио. В полдень 18 ноября они сошли на станции Обитокэ по линии Сакураи. Был погожий день золотой осени, и, хотя мать тревожило молчание дочери, на душе стало спокойнее.

Чтобы не беспокоить пожилую настоятельницу, ей не стали сообщать о времени прибытия, а на станции попросили служащего позвать рикшей. Рикши все были в разъезде. Пока их ждали, госпожа Аякура, которой все казалось в диковинку, оставив погруженную в свои мысли дочь в зале ожидания первого класса, обошла безлюдные окрестности станции. По пути ей бросилась в глаза табличка на расположенном рядом храме Обитокэ.

«Самое древнее в Японии место паломничества для молитв о благополучном разрешении от бремени. Место, где молились императоры Монтоку и Сэйва, императрица Сомэ. Бог Дзидзо, дарующий легкие роды, храм Обитокэ». Прочитав это, мать сразу подумала: хорошо, что эта надпись не попала на глаза Сатоко. Чтобы она не увидела этой надписи, нужно будет, когда придут рикши, на стоянке усадить ее в коляску поглубже. Иероглифы, из которых состояла надпись, вдруг показались госпоже Аякура каплями крови, выступившими на залитом светом чудесном ноябрьском небе.

Белые стены под черепичной крышей – здание станции Обитокэ, расположенное рядом с колодцем, – резко контрастировали со старой постройкой, обнесенной глинобитной стеной, где обитал божественный покровитель детей и путников Дзидзо. Белые стены постройки, белая ограда ярко отражали солнечный свет, но чудилось, будто мертвую тишину наполняют призраки.

Идти по подтаявшей, отливавшей серым дороге было трудно, но выстроившиеся вдоль железной дороги голые деревья становились чем дальше, тем выше и, казалось, манили к маленькому мостику через рельсы: у его основания виднелось что-то желтое и очень красивое – привлеченная этим женщина, приподняв подол, поднялась по склону.

Это был поставленный у основания мостика горшок с маленькими хризантемами, которые обычно растут на скалах. Их было несколько, таких горшков, расставленных как попало под зеленой, росшей у моста ивой. Деревянный мосток был небольшим, размером чуть больше

седла, на его перилах сушилось полосатое одеяло. Одеяло впитывало солнце и горделиво раздувалось.

Рядом с мостиком были частные домишки: сушились пеленки, на палках были растянуты окрашенные куски красной материи. Подвешенная для сушки к карнизам хурма еще хранила влагу и напоминала цветом заходящее солнце. Кругом не было ни души.

Женщина увидела, как по дороге медленно приближаются две коляски, и поспешила к станции, чтобы позвать Сатоко.

Стояла прекрасная погода, и коляски рикш двигались с откинутым верхом. Рикшам надо было бежать через городок с постоянными дворами, по дороге, какое-то время тянувшейся между полей, в сторону гор: там, среди гор, находился храм Гэссюдзи.

По обочинам дороги росли деревья, густо увешанные плодами хурмы, листва с них почти облетела. Поля заполняли подставки для сушки снопов. Мать, которую везли впереди, временами оглядывалась на коляску дочери. Она всматривалась в Сатоко, сидевшую со сложенной на коленях шалью: та, казалось, была поглощена окружающим пейзажем, и мать немного успокоилась.

На горной дороге коляски стали двигаться медленнее, пассажирки пешком шли бы здесь быстрее. Рикши были оба пожилыми, а дорога под ногами неровной. Но мать решила, что никакой срочности в их делах нет, а при такой езде можно вдоволь полюбоваться пейзажем.

Вот приблизились каменные столбы ворот храма Гэссюдзи, а вокруг ничего нет, кроме медленно поднимающейся вверх дороги, бледно-голубого неба, просвечивающего сквозь белые заросли колосющейся травы сусуки, и цепи невысоких гор на горизонте.

– Запомни, как отсюда выглядит храм. Экскурсии-то не для нас, хотя мы всегда, когда захотим, можем прийти сюда, – переговаривались рикши, остановив коляски и утирая пот. Мать поверх их голов окликнула дочь – Сатоко вместо ответа вяло улыбнулась и слегка кивнула.

Коляски двинулись, но подъем замедлял движение. Однако на территории храма они сразу попали под сень деревьев – там солнце уже не так припекало.

Когда коляски остановились, в ушах матери еще звенели стрекот и жужжание, наполнившие этот осенний день, но глаза уже были очарованы свежестью красок плодов хурмы, в обилии осыпавших деревья слева от дороги.

На ярко освещенных деревьях плоды, облепившие ветки, под солнцем казались покрытыми лаком. На некоторых деревьях ветки все были в красных мячиках, у ветра хватало силы только на то, чтобы раскачивать пожелтевшие остатки листьев, поэтому разбросанные на фоне неба плоды походили на украсившую небосвод инкрустацию.

– Кленов не видно. Почему это, а?.. – прокричала мать, обращаясь к задней коляске, но ей никто не ответил.

Красного оттенка даже в траве у обочины было мало, в глаза бросалась только зелень – полей на западе и зарослей бамбука на востоке. Зелень листьев, плотно торчащих из земли на полях с редкой, отбрасывала кружевную тень.

Вскоре потянулся коричневого цвета забор, ограждавший с западной стороны дорогу от болота, за забором, обвитым лианами с красными ягодами, видна была огромная трясина. Потом на дороге вдруг сразу потемнело – коляски въехали в тень старых криптомерий. Пробивавшиеся повсюду солнечные лучи проливались вниз на заросли бамбука, он единственный властвовал здесь, забивая другие растения.

Кожи вдруг коснулся холод: мать, уже не надеясь на ответ, жестом показала Сатоко, чтобы та накинула шаль. Когда она обернулась еще раз, то впервые обратила внимание на то, что развернутая шаль переливается радугой. Ей стало понятно молчаливое смирение Сатоко. За черными столбами ворот пейзаж напоминал парковый, мать издала восхищенный возглас, увидав наконец клены в багрянце листьев.

Красные листья, расцвечивающие пространство там, за черными воротами, нельзя было назвать очень яркими, но их темный, будто глубоко застывший в горах багрянец вызвал у матери ощущение какой-то неизгладимой вины. Сердце неожиданно кольнула тревога – она подумала о Сатоко, которую везли позади нее. Росшие вокруг молодые сосны и криптомерии не могли закрыть весь небосвод, и красные клены, похожие на окрашенные утренней зарей облака, стелились своими ветвями по небу, которое просвечивало сквозь деревья. Небо будто пряталось за карминного цвета кружевом с узором из тщательно вырезанных и соединенных кончиками темно-красных листочков.

У ворот, откуда вглубь к храму тянулась выложенная плитами дорожка, мать и Сатоко вышли из колясок.

44

Они виделись с настоятельницей ровно год назад, когда та приезжала в Токио. Сейчас она в сопровождении пожилой монахини появилась как раз в тот момент, когда встретившая приезжих другая монахиня говорила о том, какая радость для настоятельницы их нынешний визит.

Госпожа Аякура объяснила, чем вызван на этот раз приезд Сатоко, и настоятельница приняла это должным образом.

– Примите мои поздравления. Когда вы в следующий раз посетите наш храм, для вас будет приготовлена особая зала.

В храме особой залой считалась комната, где принимают членов семей, родственников императору.

Сатоко больше не могла хранить молчание, но отвечала на вопросы односложно, и было видно, что она старается скрыть грусть. Конечно, чрезвычайно деликатная по натуре настоятельница не показала, что заметила это, и, когда мать начала хвалить расставленные во внутреннем дворике чудесные хризантемы, воспользовалась этой темой:

– Их выращивают в деревне и каждый год, привозя сюда, читают нам целую лекцию, – и велела своей помощнице так же подробно объяснить, как называются эти растущие от одного корня темно-красные хризантемы и те – посаженные в один горшок, но выращенные отдельно – желтые.

Потом настоятельница провела их в свой кабинет и со словами: «В этом году клены краснеют поздно», – приказала раздвинуть стены, и открылся прелестный сад с чуть увядшим газоном и искусственными горками. На высоких кленах багрянцем окрасились только верхушки, дальше к нижним ветвям сменяли друг друга неярко-красный, желтый, бледно-зеленый цвета, а вершины были темно-красными, словно спекшаяся кровь; на камелиях начали раскрываться бутоны, а в другом уголке сада глянцево блестящие голые, причудливо изогнутые ветки индийской сирени.

Пока настоятельница и госпожа Аякура, вернувшись в комнату, где принимали гостей, вели неспешную беседу, короткий день угас.

Уже знакомые монахини старались вовсю: на ужин подали праздничное блюдо – красный рис, символ радостного события, но веселья никак не получалось.

– А во дворце сегодня «возжигание огня», – упомянула настоятельница, и одна из монахинь стала изображать действие во дворце, которое она видела, когда там служила: посреди залы ставят жаровню с вырывающимися из нее языками пламени, и женщины читают заклинания.

Эта церемония обычно проводится 18 ноября: перед императором в жаровне разжигают огонь, да так, чтобы пламя касалось потолка, и одетые в белое придворные дамы хором произносят:

– Горит, горит; дух огня ждет угощения. Дайте ему мандаринов и лепешек.

Потом обгоревшие мандарины и лепешки, которые бросали в огонь, подносят императору, и хотя, может быть, это было нехорошо – изображать подобную мистерию в лицах, но настоятельница не возражала, понимая, что монахиня озабочена тем, как бы оживить беседу.

Ночь в храме Гэссюдзи наступала рано: в пять часов уже закрыли ворота. После того как все попытки оживить застолье оказались безуспешными, монахини разошлись по своим комнатам, проведив мать и дочь Аякура в гостевые покои. Хозяйева жалели о том, что завтра вечером Сатоко с матерью должны будут ночным поездом отправиться обратно в Токио.

Мать собиралась, когда они останутся одни, попенять дочери на ее поведение – весь день та была как в воду опущенная, но, догадываясь о состоянии Сатоко после Осаки, воздержалась от замечаний и легла спать.

Раздвижные стены комнаты, куда поместили гостей, неподвижно белели в темноте. Казалось, на бумаге, из которой они были сделаны, инеем выступил холод ноябрьской ночи, узор кое-где напоминал тонко вырезанные хризантемы с шестнадцатью лепестками, где-то – белые облака. Мрак в комнате стучал орнамент из хризантем, обвитых колокольчиками, – он скрывал гвозди в колонне. Вечер был безветренный, сосны молчали, но снаружи угадывалась мощная неподвижность горного леса.

Мать в душе очень надеялась на то, что и для нее, и для дочери период тяжелых испытаний закончился, теперь постепенно все как-то образуется, и, хотя чувствовала, что лежащая рядом дочь только притворяется спящей, вскоре провалилась в сон.

Когда она проснулась, дочери рядом не было. По аккуратно сложенному на кровати ночному кимоно она поняла, что та выбралась из комнаты на рассвете. На миг сердце дрогнуло, но мать решила, что дочь, наверное, встала в туалет, и принялась ждать. Но грудь словно сковало холодом, и она пошла взглянуть, однако Сатоко в туалете не было. Похоже, в монастыре еще никто не встал, небо было окутано темной синевою.

В этот момент вдали в храме послышался шум, и мать бросилась туда, – вставшая спозаранку монахиня, увидав ее, поспешно опустила на колени.

– Вы не видели Сатоко? – спросила мать. Монахиня, дрожа, словно от страха, только трясла головой и ничего не отвечала.

Мать бесцельно металась по переходам храма и, столкнувшись с одной из вчерашних пожилых монахинь, кинулась к ней. Та в полной растерянности повела ее в главную залу.

В конце длинного перехода угадывалось мерцание свечей. Двигаться быстрее было невозможно. Госпожа Аякура вбежала в залу: горели две расписанные цветами свечи, перед алтарем сидела Сатоко. Матери показалось, что та даже не заметила ее появления. Сатоко обрезала волосы! Они были положены на алтарь, а Сатоко сосредоточенно молилась, перебирая четки.

Мать облегченно вздохнула, увидав дочь живой. И в следующий момент осознала иллюзорность этого ощущения.

– Ты обрезала волосы! – Мать произнесла это, словно пытаясь удержать дочь.

– Мама, у меня не было другого выхода. – Сатоко впервые посмотрела на мать: в ее зрачках дрожало крошечное пламя свечей, а белки глаз уже отражали блики рассвета.

Мать никогда не видела в глазах дочери такого пугающего блеска. И в каждом хрустальном шарике на четках, которые Сатоко держала в руках, жил тот же ослепительный блеск, и лучи, испускаемые прохладными бусинами, словно потеряв в высшей точке направление, сливались в одно сплошное сияние.

Вторая монахиня поспешно изложила обстоятельства дела первой и удалилась, считая свою роль выполненной. Та привела мать и дочь к спальне настоятельницы и, не открывая перегородки, спросила:

– Вы проснулись?

– Да.

– Прошу прощения.

Перегородка раздвинулась, настоятельница уже сидела рядом с постелью. Мать, запинаясь, проговорила:

– Сатоко только что, там, у вас в главном зале... обрезала волосы...

Настоятельница подняла глаза, остановила взгляд на изменившейся внешности Сатоко и сказала, ничем не выразив своего изумления:

– Да, действительно. Я что-то в этом роде и предполагала. Да, – в раздумье добавила она. – Наверное, на то есть какие-то причины, будет лучше, если Сатоко останется здесь одна и расскажет мне то, что сочтет нужным, а вам лучше удалиться.

И госпожа Аякура с монахиней удалились, оставив Сатоко у настоятельницы.

Все это время монахиня пробыла с матерью; госпожа Аякура не притронулась к завтраку, и, видя ее переживания, монахиня просто не знала, какую ей выбрать тему для беседы, чтобы не взволновать женщину еще больше. Настоятельница позвала госпожу Аякура не скоро. И здесь, в присутствии дочери, мать услышала неожиданное известие. «Сатоко, – сказала настоятельница, – твердо решила удалиться от мира, и я беру ее послушницей в храм Гэссюдзи».

О чем только не передумала мать, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Конечно, Сатоко приняла решение, но даже если отговорить ее от пострижения в монахини, потребуется несколько месяцев, а то и полгода, чтобы волосы опять отросли, – значит, нужно перенести помолвку, может, под предлогом возникшей во время поездки болезни, а потом увещеваниями графа и маркиза Мацугаэ, глядишь, удастся заставить ее изменить свое решение. Слушая настоятельницу, мать не просто не отказалась от своих планов, а, наоборот, еще более в них утвердилась.

Порядок обычно требует годичного пребывания в положении послушницы, а уж затем на храмовой церемонии совершают постриг, выбривая голову, поэтому в любом случае все упиралось в отрезанные волосы. Если Сатоко быстро изменит свое решение... В голове у госпожи Аякура родилась фантастическая идея. Если все пойдет как надо, то, может быть, найдя хороший парик, можно и не откладывать помолвку.

Мать окончательно решила, оставив пока Сатоко в монастыре, немедленно возвращаться в Токио и там принять меры, чтобы выйти из создавшегося положения. Поэтому она обратилась к настоятельнице со словами:

– Случившееся так для меня неожиданно, я просто не знаю, как это скажется на семье принца, поэтому хочу тотчас же отправиться домой и посоветоваться с мужем, а потом снова приеду. Прошу вас, позаботьтесь пока о Сатоко.

Сатоко в течение всего разговора не повела и бровью. А мать чувствовала, что уже боится, как бы дочь не заговорила.

45

Граф Аякура, услышав от возвратившейся домой жены о таком повороте событий, целую неделю медлил, ничего не предпринимая, чем страшно разозлил маркиза Мацугаэ.

В семье Мацугаэ были уверены, что Сатоко давно вернулась домой и семья жениха об этом знает. Это была несвойственная маркизу оплошность, но маркиз, которому жена сообщила, что его план удался как нельзя лучше, преисполнился оптимизма по поводу будущего.

А граф Аякура все витал в облаках. Ему представлялось вульгарным признать крушение, вот он в него и не верил. Он воспринимал все не как катастрофу, а просто как дурной сон. Ясно было, что идущий вверх пологий склон кончается обрывом, но для игрока в футбол падение – вещь привычная, в этом нет ничего сверхнеожиданного. Сердиться, переживать, равно как и негодовать, – все это заблуждения незакаленной души. А граф был достаточно закален. Он всего лишь откладывал решение. Заполучить капельку драгоценного времени куда важнее, чем обрести грубую реальность, которая кроется в любом решении. Каждый понимает, что, каким бы важным ни было дело, достоинства и недостатки принятого по его поводу решения станут очевидными только со временем.

Рядом с таким мужем и госпожа Аякура день за днем все менее остро чувствовала тревогу, обуявшую ее в храме Гэссюдзи. Тадэсины теперь в доме не было, и госпожа была счастлива, что не поступила опрометчиво, поделившись с ней новостью. Тадэсину для поправки здоровья после болезни граф отправил на горячие источники в Югавару.

Через неделю маркиз позвонил справиться, как дела, и граф уже не мог дольше скрывать то, что произошло.

Маркиз Мацугаэ, услышав, что Сатоко вообще еще не вернулась домой, мгновенно потерял дар речи. В душе у него сразу зашевелились дурные предчувствия.

Они с женой тотчас же отправились в дом Аякуры. Сначала граф давал какие-то весьма неопределенные ответы. И маркиз Мацугаэ, узнав наконец правду, в гневе просто грохнул кулаком по столу.

В комнате, которая единственная во всем доме была довольно неумело обставлена по-европейски, обе супружеские пары, впервые за период их долгого общения, обнажили свои подлинные лица. Правда, женщины не смотрели друг на друга, а только украдкой бросали взгляды на мужей. Контраст являли собой мужчины – граф сидел, потупив голову, его лежавшие на скатерти маленькие белые руки казались игрушечными, маркиз же был коренаст, краснолиц, на лбу у него вздулись вены, и все лицо застыло, как маска гнева. В глазах женщин граф не имел никаких шансов на победу.

Действительно, сначала раздавались только гневные крики маркиза, но, бушуя, маркиз и сам ощущал уязвимость своей когда-то сильной позиции. Это счастье, что у него был такой слабый и уступчивый противник. Нездоровый цвет лица с тонкими чертами, словно вырезанными на желтоватой слоновой кости, застывшее на нем выражение печали и растерянности. Тяжелые складчатые веки обычно потупленных глаз еще больше подчеркивали слабость характера – маркизу пришлось в голову, что подобный вид пристал скорее женщине.

В ленивой, непринужденной позе графа, сидевшего на стуле, была видна недоступная предкам маркиза, сложившаяся веками хрупкая утонченность, и это больше всего уязвляло маркиза. Все это напоминало вываленный в грязи трупик птицы с белым оперением. Птицы, обладающей чудесным голосом, но абсолютно несъедобной.

– Жуткая история. Какой позор! Как мне теперь показаться на глаза императору, как появиться в обществе?!

Маркиз кидал слова, разжигая свой гнев, но чувствовал, что пламя гнева опасно слабеет. Сердиться на абсолютно бездеятельного, пренебрегавшего всякой логикой графа было беспо-

лезно. Мало того, чем больше распалялся маркиз, тем больше понимал, что эту ярость следовало бы обратить на себя.

Ведь с самого начала граф ничего не знал о происходящем. Было совершенно ясно, что он не предпринимал никаких действий и только последовательно придерживался позиции, которая по его, маркиза, вине еще неизвестно какой катастрофой обернется.

Это маркиз просил графа, чтобы тот дал его сыну аристократическое воспитание. Сейчас причиной всех несчастий стал Киёаки, можно, конечно, кричать, что его сознание с детских лет было отравлено атмосферой дома Аякуры, но опять-таки первопричина сам маркиз. И не кто иной, как он сам, не предвидя последствий, отправил Сатоко в Осаку.

Таким образом, вся ярость маркиза должна быть направлена на самого себя.

В конце концов маркиз, перечислив все напасти, обессилел и умолк. Затянувшееся общее молчание выглядело некой церемонией. С заднего двора доносилось квохтанье кур. Сосны за окном с каждым дуновением ветра нервно вздрагивали сверкавшими иголками. Весь дом замер, словно следя за необычной атмосферой в гостиной.

Наконец супруга Аякуры произнесла:

– Это я что-то упустила – мне остается только молить о прощении. Я думаю, нужно как можно скорее заставить Сатоко переменить решение и продолжить готовиться к помолвке.

– А что делать с волосами? – сразу отозвался маркиз.

– Нужно, пока никто ничего не заметил, заказать хороший парик...

– Парик? Да, ведь тогда никто ничего не заметит! – первым радостно воскликнул маркиз.

– Действительно, будет незаметно! – моментально поддержала мужа госпожа Мацугаэ.

Тут, заразившись настроением маркиза, все разом заговорили о парике. В гостиной впервые зазвучали веселые голоса, смех, все четверо стали оживленно обсуждать этот великолепный план – с такой энергией голодный зверь бросается на кусок мяса.

Но этот замечательный план понравился не всем. Во всяком случае, граф Аякура совсем не верил, что он осуществим. Маркиз Мацугаэ тоже испытывал сомнения, но со своим величавым видом мог лучше притвориться, поэтому граф тоже быстро напустил на себя значительность.

– Молодой принц вряд ли станет трогать волосы Сатоко. Пусть даже ему что-то и покажется странным, – со смехом, нарочито понижая голос, высказался маркиз.

На какое-то время эта шутка объединила их как добрых приятелей. Теперь стало понятно, что самым необходимым в данной ситуации была именно такого рода шутка. Никому в голову не пришла мысль, что сейчас испытывает Сатоко, – делом государственного значения были только ее волосы.

Отец маркиза, который своей физически устрашающей силой и неистовой страстью способствовал приходу к власти императора Мэйдзи, узнай он, что добытая им честь дома Мацугаэ зависит сейчас от женского парика, был бы просто раздавлен. Такие тонкие, хитроумные проделки в семействе Мацугаэ были не в почете. Это скорее было принято в роду Аякура. Мацугаэ, только что возмущавшийся обманом, в котором растворились свойственные дому Аякуры утонченность и изысканность, волей-неволей оказался в таком положении, когда ему приходится взвалить ношу обмана на себя.

Этот воображаемый парик был всего лишь вещью, не имевшей отношения к желаниям Сатоко. Однако если бы можно было удачно вписать в эту ситуацию парик, то разбросанная мозаика полностью сложилась бы в четкую, без единой щели картинку. Маркиз был буквально одержим мыслью, что дело только в парике.

Все самозабвенно обсуждали этот невиданный парик. Для помолвки, наверное, потребуется парик с гладкими волосами, на каждый день – с европейской прической. Глаза людей всюду, поэтому Сатоко не следует снимать его даже во время купания. Каждый рисовал в своем воображении этот парик, который вскоре наденет Сатоко, – волосы более блестящие, чем ее

собственные, густые, цвета воронова крыла. Пусть и несправедливо полученное, но это было их полное право. Повисшая в пространстве форма прически из черных волос, их завораживающий блеск. Ночное видение, возникшее при ярком свете дня... Не то чтобы никто не задумывался, как трудно будет совместить это с лицом, которое будет под прической, с прекрасным, но очень печальным лицом, просто об этом старались не думать.

– Я хочу, чтобы в этот раз граф поехал сам убедить Сатоко изменить свое решение, вашу супругу я тоже прошу отправиться и жену еще раз посылаю вместе с вами. Мне тоже надо бы съездить, но... – Маркиз с большим достоинством прервал фразу. – Но если поеду и я, то что тут подумают?! Мне никак нельзя ехать. Нынешнее путешествие нужно окружить тайной. Отсутствие жены в обществе прикроем слухами о болезни. А я в Токио употреблю все силы и найду хорошего мастера, который тайно сделает парик. Не дай бог, если что-нибудь унюхают газетчики, так что в этом положитесь на меня.

46

Киёаки заметил, что мать опять собирается уезжать, но она не сказала ни куда, ни зачем, только приказала никому не говорить о ее отъезде и отбыла. Киёаки чувствовал, что произошло нечто непредвиденное с Сатоко, но рядом с ним постоянно находился Ямада, и ему ничего не удалось узнать.

Супруги Аякура и жена маркиза, прибыв в Гэссюдзи, столкнулись с неожиданностью. Сатоко уже приняла постриг.

Произошло же это следующим образом.

В то утро, выслушав от Сатоко всю историю, настоятельница мгновенно поняла, что у той действительно нет иного выхода, кроме как затвориться от мира. Настоятельница, принявшая монастырь, в котором когда-то духовной наставницей была принцесса крови, больше всего пеклась о благе его величества и такой идущий, казалось бы, наперекор его воле поступок рассматривала как единственный способ служения императору, поэтому объявила, что принимает Сатоко послушницей.

Настоятельница почувствовала себя обязанной вмешаться, узнав о планах обмануть императора. Она не могла быть снисходительной к вероломству, скрытому за показным величием.

Вот так хрупкая и очень деликатная пожилая женщина утвердилась в решении, которое не могли сломить ни власть, ни сила. Она приняла решение, идущее наперекор императорской воле, чтобы, вопреки замыслам врагов, молча служить в этом мире его священной особе.

Сатоко, видя перед глазами подобную решимость, снова поклялась покинуть мир. Она давно об этом думала, но не надеялась, что настоятельница безоговорочно пойдет навстречу ее желанию. Сатоко лицезрела Будду. Настоятельница же прозорливо распознала твердость ее намерения.

До пострига полагался год послушничества, но и настоятельница, и Сатоко сходились в мысли о том, что при нынешних обстоятельствах следует ускорить церемонию пострига. Однако настоятельница не собиралась делать это до приезда матери Сатоко. Где-то в глубине души она сомневалась: а вдруг Сатоко просто хочет заставить Киёаки пожалеть о том, что они расстались.

А Сатоко спешила. Каждый день, как ребенок, выпрашивающий сладкое, она приставала с просьбами о пострижении. Наконец настоятельница сдалась и только напонила:

– Ты ведь знаешь, что после пострижения уже не сможешь увидеться с Киёаки.

– Да.

– Значит, ты решила больше в этом мире с ним не встречаться, примешь постриг, а что будет, если ты потом об этом пожалеешь?

– Я не пожалею. В этом мире я его больше не увижу. Мы с ним простились навсегда. Я очень прошу вас... – Сатоко произнесла все это чистым звонким голосом.

– Ну хорошо. Завтра утром окончательно обрежем тебе волосы. – Один день настоятельница все-таки оставила в запасе.

Госпожа Аякура все не приезжала.

А Сатоко настойчиво готовила себя к жизни послушницы.

Религию Хоссо можно было назвать религией образовательного типа, где больше внимания уделялось официально исповедуемому в храме Кигандзи принципу учения, чем деяниям. Временами настоятельница в шутку говорила: «В Хоссо нет ничего привлекательного», и действительно, до тех пор пока не возникла секта Дзёдо, молящая будду Амида о возрождении в чистой земле, в Хоссо не было благодатных слез умиления.

И еще: в буддизме Махаяны нет заповедей в прямом смысле этого слова, внутривраховые правила имели скорее вид заповедей буддизма Хинаяны, но в женских монастырях заповедями считаются те сорок восемь, что даны как заповеди бодхисатвам в учении виджняптиматрата, а именно: «не убий, не воруй, не прелюбодействуй, не лги» и даже заповедь «блюди закон».

Более суровым, чем заповеди, было само ученичество: Сатоко за эти несколько дней заучила наизусть тридцать восхвалений из основного свода законов Хоссо и сутру Пражны. Утром она рано вставала и до занятий у настоятельницы убирала главный храм, а затем с настоятельницей учила сутры. С ней уже больше не обращались как с гостьей; монахиня – помощница настоятельницы – по указанию последней стала очень строгой, словно ее подменили.

Утром в день пострига Сатоко вымылась, надела черную одежду и вошла в главный храм с четками на сложенных руках. Настоятельница сначала выбрила ей небольшой участок волос на голове, а потом монахиня стала привычной рукой брить голову дальше; настоятельница в это время читала сутру Пражны, ей вторила другая монахиня.

Сатоко, закрыв глаза, тоже повторяла слова сутры, ей казалось, что тело ее – освобожденный от груза и снявшийся с якоря корабль – плывет в такт этому размеренному, звучному, читающему нараспев голосу.

Сатоко держала глаза закрытыми. Утром в храме холод стоял, как в леднике. Она плыла, а вокруг нее был прозрачный лед. Вдруг в саду резко прокричала птица, и по льду молниями побежали трещины, но потом эти трещины опять сошлись и стали незаметны.

Бритва уверенно ходила по голове. И ощущения были разные: то будто укусил острыми передними зубками грызун, то будто корова неторопливо пережевывает кожу коренными зубами.

Прядь за прядью падали сбритые волосы, и Сатоко все явственнее чувствовала на голове прозрачный холод, которого не знала с рождения. По мере того как сбривали ей черные волосы, наполненные горячей неизбывной печалью, что разделяла ее и космос, голове открывался свежий, кристально чистый, нетронутый мир. Все больше обнажалась кожа, открытая колючему мятному холоду.

Это ощущение холода... наверное, так же остро испытывает это чувство луна, соприкасаясь прямо с космосом. Пряди волос падали в реальности этого мира, а упав, становились бесконечно далекими.

Они служили чему-то вместилищем. Эти черные пряди, поглощавшие удушливый летний свет и теперь падающие, отрезанные, рядом с Сатоко. Но это было бесполезное вместилище. Ведь отделенные от тела блестящие волосы мгновенно превращались в безобразно мертвое подобие самих себя. Прежде они принадлежали ее телу. Чудесным образом выражали ее естество, а отброшенные в стороны напоминали отделенные от тела руку или ногу и еще больше обнажали мир Сатоко. Когда голова стала совсем голой, настоятельница сочувственно произнесла:

– Ну что ж, нужно думать, как жить дальше. Теперь ты это знаешь. Очистишь душу, будешь учиться и засияешь светом в нашей обители.

Такова была история поспешного пострижения Сатоко. Но и супруги Аякура, и жена маркиза Мацугаэ, хотя и были поражены изменившимся обликом Сатоко, не смирились. Ведь в запасе был еще парик.

47

Среди приехавшей в монастырь троицы один граф Аякура с неизменно доброжелательным видом вел с Сатоко и настоятельницей однообразные разговоры о жизни и ничем не выдавал, что хотел бы заставить Сатоко изменить ее решение.

Каждый день приходили телеграммы от маркиза, справлявшегося о достигнутых результатах. Мать уже со слезами просила Сатоко передумать, но и это оказалось совершенно бесполезным.

На третий день женщины оставили графа в монастыре одного и вернулись в Токио. Госпожа Аякура от сильных переживаний сразу по приезде слегла. Граф после этого провел в Гэсюдзи еще неделю, ровным счетом ничего не предпринимая. Ему просто было страшно возвращаться в Токио.

Граф не говорил ни слова о том, что хочет вернуть Сатоко, поэтому настоятельница перестала опасаться и дала отцу и дочери возможность побыть вдвоем. Однако первая ее помощница все-таки за ними приглядывала. Отец и дочь молча сидели на залитой зимним солнцем галерее. В просветах между сухими ветками проглядывало голубое небо с редкими облаками, на ветки садились птицы, их голоса почти не смолкали.

Отец и Сатоко долго молчали. Потом на лице графа мелькнула улыбка, казалось, он что-то вспомнил.

– Из-за тебя я не смогу теперь свободно появляться в обществе.

– Простите меня. – Голос Сатоко был спокойным, без всяких эмоций.

– Сюда прилетает много птиц, – через некоторое время снова заговорил граф.

– Да. Очень много.

– Утром я ходил на прогулку и видел, как птицы клюют хурму. Она уже созрела и просто падает. Сбирать некому.

– Да, некому.

– Скоро снег пойдет, – заговорил граф, но Сатоко не ответила. Отец с дочерью снова сидели молча, любуясь садом.

На следующее утро граф наконец уехал. Маркиз Мацугаэ, встретив его, вернувшегося ни с чем, больше уже не сердился.

Было 4 декабря, до церемонии помолвки оставалась всего неделя. Маркиз втайне пригласил в усадьбу главного начальника полиции. Он задумал вернуть Сатоко при помощи полиции.

Начальник полиции отправил тайное распоряжение в полицию Нары, но попытка проникнуть в монастырь, связанный с императорской семьей, могла привести к конфликту с управлением императорского двора, пальцем нельзя было тронуть монастырь, которому пусть небольшие, меньше тысячи иен в год, но шли деньги от священной особы. Поэтому глава полиции сам, неофициально, облачившись в гражданскую одежду, отправился в Осаку и посетил Гэсюдзи. Взглянув на переданную ей через помощницу визитную карточку, настоятельница и бровью не повела.

Побеседовав около часа за чаем с настоятельницей, глава полиции удалился, подавленный ее достоинством.

Маркиз Мацугаэ сделал все, что мог. Теперь он окончательно утвердился в том, что остался единственный выход – отказать принцу. Тот в последнее время часто присылал к Аякуре своего управляющего, и граф просто терялся, не зная, как с ним обходиться.

Маркиз Мацугаэ пригласил графа Аякуру к себе в усадьбу и предложил направить принцу официальное медицинское свидетельство о том, что Сатоко страдает сильнейшим нервным расстройством, и смягчить гнев принца-отца, убедив его, что все это останется тайной между тремя семействами – принца, Мацугаэ и Аякуры. А в свете многозначительно пустить

слухи о том, что семья принца по неясным причинам неожиданно отказалась от своего предложения и поэтому Сатоко, разочаровавшись в жизни, ушла от мира. Таким образом, поменяв причину со следствием, можно будет добиться того, что при неприглядной роли и тех и других все смогут сохранить лицо и авторитет, для тех и других случившееся – позор, но в обществе им будут симпатизировать.

Однако нельзя было перегнуть палку. Иначе все будут наперебой сочувствовать Аякуре, семье принца придется давать объяснения по поводу своего отказа, и они будут вынуждены опубликовать медицинское свидетельство о болезни Сатоко. Важно было не дать газетчикам докопаться до того, как связаны между собой решение семьи принца расторгнуть помолвку и пострижение Сатоко, поменять эти два события местами во времени. Газетчики все равно захотят проникнуть в суть дела. Тогда, как это ни трудно, намекнуть на некую причину, но не дать об этом написать.

Изложив все это графу, маркиз тут же позвонил в клинику умственных расстройств профессора Одзу и попросил того безотлагательно втайне приехать в усадьбу принца Мацугаэ для медицинского освидетельствования. В клинике профессора Одзу умели хранить тайны, связанные с подобными неожиданными просьбами из знатных домов. Приезд профессора затягивался, и, сидя напротив вынужденного задержаться гостя, маркиз не скрывал раздражения, но в данном случае послать за профессором машину было нельзя, и оставалось только ждать.

Приехавшего профессора провели в маленькую гостиную на втором этаже европейского дома. Жарко горел камин. Маркиз, отрекомендовавшись, представил графа и предложил профессору сигару.

– Где больной? – осведомился профессор Одзу.

Маркиз и граф переглянулись.

– В общем-то, не здесь, – ответил маркиз.

Профессор, когда его попросили написать свидетельство о состоянии больного, которого он в глаза не видел, изменился в лице. Больше самого факта его рассердило то, что в глазах маркиза промелькнула уверенность в том, что он все равно его напишет.

– По какому праву вы делаете мне это бессовестное предложение? Вы что, считаете меня шутком, пляшущим за деньги?

– Ни в коем случае. Мы не смеем даже предполагать такое. – Маркиз вынул изо рта сигару. Некоторое время блуждал глазами по комнате; перевел взгляд на лицо профессора, полные щеки которого в бликах пламени камина заметно дрожали, и, сильно понизив голос, произнес: – Это свидетельство надобно для того, чтобы успокоить августейшую особу.

Маркиз Мацугаэ, заполучив свидетельство, немедленно справился, может ли принц Тоин принять его, и в сумерках отправился в дом принца. Счастливый жених отсутствовал, он был на военных маневрах. Маркиз объявил, что хотел бы остаться с глазу на глаз с принцем, и его супруга, поднявшись с места, вышла.

Принц Тоин предложил маркизу вина «шатоикэм»: он был в прекрасном расположении духа, вспоминал, как чудесно они провели время в этом году в усадьбе маркиза, любуясь цветами сакуры. Они редко встречались один на один, поэтому и маркиз прежде всего вспомнил старую историю времен Олимпийских игр 1900 года в Париже, «дом с фонтаном, где бьет шампанское» и разные приключившиеся там анекдотичные случаи – казалось, в этом мире все спокойно.

Однако маркиз прекрасно понимал, что принц, несмотря на его величественный, импозантный вид, в душе обеспокоен и с тревогой ждет его, маркиза, слов. Сам принц не заговаривал о церемонии помолвки, до которой оставалось буквально несколько дней. Его великолепные, наполовину седые усы в свете лампы напоминали освещенную солнцем рощу, по губам временами скользила тень растерянной улыбки.

– Я приехал к вам сегодня так поздно, – начал маркиз, нарочито легкомысленным тоном подбираясь к теме с ощущением птички, которая летала себе на воле, а теперь влетает в клетку. – Я не знаю, как лучше выразиться, но я пришел с печальным известием. Дочь Аякуры повредила в рассудке.

– Что?! – Принц Тоин в изумлении широко раскрыл глаза.

– Аякура есть Аякура, они это скрыли и, даже не посоветовавшись со мной, решили сделать Сатоко монахиней – удалить от мира; до сегодняшнего дня у них не было мужества открыть вашему высочеству правду.

– Что же это такое! Дотянуть до самой помолвки! – Принц сильно сжал губы, усы, подчиняясь движению губ, как носки туфель, потянулись к огню.

– Вот заключение профессора Одзу. Тут стоит число – это было месяц назад, а Аякура даже мне ничего не сказал. Не знаю, как просить прощения, все произошло по моему недосмотру.

– Ну, с болезнью ничего не поделаешь, но почему мне об этом сразу не сказали? И поездка в Кансай тоже как-то с этим связана? Жена забеспокоилась: когда Сатоко приезжала прощаться, она неважно выглядела.

– Теперь-то мне сказали, что из-за умственного расстройства у нее с сентября были странности в поведении.

– Да-а, с этим ничего не поделаешь. Завтра утром сразу и направлюсь во дворец. Что скажет император? Может быть, придется показать ему свидетельство, я, пожалуй, возьму его.

Принц ни словом, как того требовало достоинство аристократа, не обмолвился о женихе – молодом принце Харунорио. Маркиз не был бы маркизом, если бы внимательнейшим образом не следил за сменой выражения лица собеседника. Вот вздыбилась темная волна, чуть успокоившись, осела, поднялась снова. Через несколько минут маркиз решил, что может больше не волноваться. Самое страшное позади.

Маркиз отбыл из дворца принца Тоина глубокой ночью, уже после того, как вместе с присоединившейся к ним супругой принца они детально обсудили, как лучше представить события.

На следующее утро, когда принц готовился к посещению двора, как на грех, с маневров возвратился сын – жених. Принц затворился с ним в одной из комнат и открыл ему обстоятельства дела, но на мужественном молодом лице ничто не дрогнуло, сын только сказал, что во всем полагается на отца, и не выразил ни печали, ни гнева.

Устав от продолжавшихся всю ночь маневров, сын проводил отца и закрылся у себя в спальне, но мать, предвидя, что он уснет не сразу, зашла его проведать.

– Это ведь маркиз Мацугаэ привез вчера вечером эту новость? – спросил сын у матери, подняв глаза, покрасневшие от бессонно проведенной ночи, но, как обычно, не отводя прямого взгляда.

– Да.

– Я сейчас почему-то вспомнил встречу во дворце, давно, когда я еще был младшим лейтенантом. Я тебе раньше как-то об этом рассказывал. Во дворце в коридоре я неожиданно встретил адмирала Ямагату. Я точно помню, что это было у тронного зала. Он, наверное, как раз возвращался с аудиенции. Как всегда, на нем было пальто с широким воротником поверх армейской формы, фуражка надвинута на самые глаза. Руки небрежно засунуты в карманы; он шел по длинному темному коридору – символ военной силы. Я сразу уступил ему дорогу и, вытянувшись, отдал честь. Адмирал сурово взглянул на меня из-под козырька фуражки – никакого намека на улыбку. Он наверняка знал, кто я. Но только недовольно отвернулся, не ответив на приветствие, надменно вздернул плечи и пошел дальше по коридору. Почему-то сейчас я вспомнил этот случай.

Газеты объявили о разрыве помолвки «по семейным обстоятельствам» и, следовательно, о том, что отменяются все мероприятия, на которые свет рассчитывал по случаю ее празднования.

48

После этого официального известия за Киёаки в доме стали следить еще строже, даже в школу он теперь отправлялся под присмотром управляющего Ямады. Школьные товарищи, не зная, в чем дело, только дивились при виде такого эскорта, обычного только для младшеклассников. Дома при Киёаки о случившемся не говорили. В семье все вели себя так, будто ничего не произошло.

Общество бурлило. Как это Киёаки, ребенок из такого дома и ничего не знает, в школе у него допытывались, что он думает по этому поводу:

– Все сочувствуют семье Аякура, но этот случай повредит репутации императорской семьи. Говорят, только потом узнали, что у этой девушки Сатоко с головой не в порядке. Почему же раньше не заметили?

Киёаки не знал, что отвечать, и Хонда бросал спасательный круг:

– Это естественно: болезнь не определишь, пока не появятся симптомы. Да перестаньте вы обсуждать эти слухи, совсем как девчонки.

Однако таким образом переключить одноклассников на чисто мужские темы в школе Гакусюин не удавалось. Хонда не обладал семейными связями, позволяющими делать какие-то выводы в подобных разговорах. Если ты не можешь, гордясь кровным родством с тем, кто совершил преступление или неблаговидный поступок: «А, это моя двоюродная сестра» или: «А, это внебрачный сын дяди», – с безучастным видом намекнуть на то, что знаешь больше ходивших в обществе слухов, то, значит, ты не владеешь информацией. В этой школе пятнадцати-шестнадцатилетние юнцы свободно бросали фразы типа:

– Да уж, министр, хранитель печати, над этим поломает голову, вечером звонил отцу посоветоваться.

Или:

– Говорят, у министра внутренних дел простуда. А на самом деле он вывихнул ногу, когда был во дворце и в спешке ступил мимо подножки коляски.

Однако на этот раз, как ни странно, обычная замкнутость Киёаки сослужила ему хорошую службу – никто не знал о его отношениях с Сатоко, и никто не мог себе представить, чтобы маркиз Мацугаэ имел какое-то отношение к этой истории. В школе был ученик из старой аристократической семьи, доводившийся Аякуре родственником. Он упорно твердил, что красавица и умница Сатоко не могла страдать умственным расстройством, но это воспринималось как защита своих родственников и встречалось холодными улыбками.

Все это, конечно, ранило сердце Киёаки. Но по сравнению с тем позором, которым в сознании общества была покрыта Сатоко, его страдания были всего лишь проявлением малодушия, хотя и он страдал, пусть и не получая щелчков. Каждый раз, когда товарищи заводили разговор об этом событии или о Сатоко, ему казалось, что он видит ее – кристально чистым облаком, молчаливо возвышающимся над толпой, вызывающим в памяти снег на далеких горах, что видны из окон класса на втором этаже.

Белизна, сверкавшая на далеких вершинах, была доступна только его взору, пронзала только его сердце. Сатоко – грешная, покрытая позором, объявленная помешанной – уже очистилась. А он?

Киёаки временами хотелось во всеуслышание покаяться. Но тогда осознанная жертва Сатоко окажется бесполезной. Как он ни пытался, ему трудно было определить, что это с ним: подлинное мужество, готовность, пусть это и не нужно, избавиться от угрызений совести или стоицизм заключенного, смирившегося с выпавшей ему судьбой. В душе его множились страдания, ему трудно было противостоять им, ничего не предпринимая, – другими словами, выполняя волю отца и семьи.

У прежнего Киёаки печаль и бездеятельность были главными принципами привычной, привлекательной для него жизни. Где, когда потерял он способность наслаждаться ими, не пресыщаясь, возвращать их в себе. Потерял так просто, словно забыл зонтик в чужом доме.

Теперь Киёаки приходилось сопротивляться надежде. Ему пока не требовалось сил, чтобы противостоять бездеятельности и тоске: он возвращал надежду.

«Слухи о ее помешательстве – явная ложь, тут и говорить нечего. Я в это никогда не поверю. Может быть, и уход от мира, и пострижение – всего лишь нелепый маскарад. Может быть, Сатоко разыграла спектакль только для того, чтобы выиграть время, избежать замужества с принцем, другими словами, для меня. Тогда, пока не утихнет шум в обществе, нам следует быть порознь и ждать, когда все окончательно успокоится. Разве не об этом говорит ее молчание, то, что она даже открытки не прислала?!»

Знай Киёаки характер Сатоко лучше, он сразу бы понял, что такого просто не может быть. Если раньше смелость Сатоко была лишь призраком, живущим в воображении малодушного Киёаки, то потом Сатоко превратилась в снег, тающий в его руках. Киёаки с самого начала и по сию пору участвовал в обмане и уверовал, что обман может продолжаться вечно. И в своих надеждах он уповал на обман. Так в его мечтах появлялось что-то низкое. Ведь представь он Сатоко достойно, и все надежды рухнут.

Его сердце из твердого кристалла вдруг пронзили запоздалые лучи доброты и сострадания. Ему захотелось излить эту доброту на других. Он огляделся вокруг. Среди учеников был один по прозвищу Пугало, мальчик из семьи маркиза, аристократа во многих поколениях. Ходили слухи, что у него проказа, но больного с проказой не приняли бы в школу. Ясно, что это была какая-то другая, незаразная болезнь. Волосы у него наполовину вылезли, лицо было землисто-серое, он сильно сутулился, и даже в классе ему позволяли сидеть в глубоко надвинутой на лоб фуражке, так что никто не видел его глаз. Он постоянно шмыгал носом, издавая какие-то хрюкающие звуки, ни с кем не заговаривал, а во время перерыва с книгой отправлялся куда-нибудь в уголок двора посидеть на траве.

Конечно, Киёаки тоже не общался с Пугалом, тем более что с самого начала учился на другом отделении. И еще: если Киёаки среди учеников был эталоном красоты, то другой, тоже сын маркиза, представлял полную противоположность Киёаки – его безобразную тень. Хотя высохшая под зимним солнцем трава в том месте газона, куда обычно садился Пугало, была теплой, все избегали этого места. Когда Киёаки приблизился и сел, то подросток сразу захлопнул книгу, напрягся и приподнялся, чтобы убежать. В тишине раздавалось только безостановочное пошмыгивание носом.

– Что это ты все читаешь?! – спросил красавец.

– Да... – Безобразный потомок маркиза спрятал книгу за спину, но Киёаки заметил мелькнувшее на обложке имя Леопарди. При этом быстром движении на фоне бледного золота увядшей травы сверкнуло яркое золото букв.

Пугало не втягивался в разговор, поэтому Киёаки переместился чуть подальше и, не обращая внимания на прилипшие к сукну формы соломинки, опершись на локоть, привольно вытянул ноги. Напротив, в явно неудобной позе, то открывая, то захлопывая книгу, сгорбился Пугало. Киёаки показалось, что он видит неудачный шарж на себя, и вместо чувства расположения его сердце заполнила неприязнь. Теплое зимнее солнце по-настоящему припекало. И поза уродца стала меняться, словно ее расковывало. Согнутые ноги постепенно вытянулись, и он тоже, совсем как Киёаки, оперся на локоть, только с другой стороны, так же наклонил голову, поднял плечи, и вдруг они составили пару сторожевых каменных псов. Губы Пугала под козырьком плотно надвинутой фуражки не улыбались, были плотно сжаты, но определенно это была попытка пошутить.

Наследники маркизов – прекрасный и безобразный – составили пару. Противясь возникшим под влиянием каприза расположению и жалости Киёаки, Пугало не выразил ни гнева,

ни благодарности, а вместо этого изобразил себя как отражение в зеркале, во всяком случае продемонстрировал равенство. Кроме черт лиц, все остальное на светлом пожухлом газоне, отшитых на форменных пиджаках до отворотов брюк, составляло замечательную симметрию.

Киёаки еще не сталкивался с таким решительным, хотя и дружелюбным отказом на предложение сблизиться. Не испытывал он прежде и такого теплого чувства, испытанного им, когда встретил отказ. Со стрельбища, расположенного неподалеку, доносились напоминающие порывы зимнего ветра звуки, с которыми тетива выбрасывала стрелу, и по контрасту с ними, словно глухие удары барабана, звуки стрел, попадающих в цель: Киёаки почудилось, будто душа его лишилась острого белого оперения.

49

В школе наступили зимние каникулы, прилежные ученики заранее начали готовиться к выпускным экзаменам, но Киёаки не хотелось даже прикасаться к книгам.

Весной следующего года, окончив школу, Хонда и еще около трети учеников из их класса будут летом сдавать экзамены в университеты, большинство же воспользуются привилегиями и поступят в университет без экзаменов – в Токийский, на те специальности, где явный недобор, или в Императорские университеты Киото или Тохоку. Киёаки, несмотря на желание отца, наверное, тоже выберет университет, куда можно поступить без экзаменов. Если он поступит в университет в Киото, то окажется близко к тому монастырю, где теперь Сатоко.

Пока же он откровенно предавался безделью. В декабре уже дважды шел сильный снег, но и в такие дни он не испытывал, как прежде, детской радости, а, отодвинув штору и равнодушно взглянув на зимний, покрытый снегом остров, снова ложился в постель. Вдруг ему что-то приходило в голову, и он во время прогулок по усадьбе с блеском в глазах мстил Ямаде: вечером под холодным северным ветром заставлял старика с больными ногами нести за ним, прячущим подбородок в воротник пальто, фонарик по крутым тропкам Кленовой горы. Ему нравилось под шум ночного леса, уханье совы двигаться неровной походкой по едва различимой под ногами дороге. Каждый следующий шаг он делал в мягкую, живую тьму и будто давил ее. А вершину Кленовой горы опоясывало зимнее небо в звездах.

Ближе к концу года кто-то прислал в дом маркиза газету с помещенной в ней статьей, которую написал Иинума. Маркиз был разъярен неблагодарностью бывшего воспитателя Киёаки.

Газета издавалась небольшим тиражом какой-то правой организацией; по словам маркиза, эта газета взяла на вооружение шантаж, грозя разоблачением всяких скандалов в высшем свете, но то, что Иинума написал статью без предупреждения, не уронив себя просьбой о деньгах, было открытым выражением неблагодарности.

Статья, конечно, была официозной и называлась «Короткая память маркиза Мацугаэ». Она обличала человека, который был в центре событий, связанных со сватовством принца, но делал это потому, что при вступлении в брак членов императорской семьи подробно оговариваются даже чрезвычайно редкие случаи порядка престолонаследия. Пусть это выяснилось потом, но маркиз рекомендовал девушку с умственным расстройством, и было получено высочайшее разрешение на брак; хотя прямо перед помолвкой все обнаружилось и помолвка не состоялась, то, что маркиз теперь, не испытывая угрызений совести, спокойно отошел в сторону, – не просто вероломство, это верх непочтения к собственному отцу, заложившему основы нового общества.

Несмотря на ярость отца, Киёаки, читая статью, постоянно сомневался, что это написано самим Иинумой и что тот, зная об отношениях между Киёаки и Сатоко, верит в помешательство Сатоко. У Киёаки сложилось впечатление, что, может быть, Иинума, адреса которого он не знал, пошел на расцененный как неблагодарность поступок, чтобы тайно дать знать Киёаки о своем местонахождении, написал это для того, чтобы статью мог прочитать Киёаки. По крайней мере, Киёаки воспринял статью как наказ: «Не будь таким, как отец».

Иинума вдруг стал ему дорог. Казалось, лучшим утешением для него было бы теперь снова ощутить ту неловкую привязанность, подшучивать над ней... Но если сейчас, когда отец в такой ярости, он встретится с Иинумой, это только еще больше осложнит ситуацию; воспоминания о прошлом не стоили того, чтобы, невзирая на все, стремиться к встрече.

Наверное, легче встретиться с Тадэсиной, но после ее неудачной попытки самоубийства Киёаки испытывал к старой женщине какое-то отвращение. Мало того что своей предсмертной запиской она выдала Киёаки отцу, она явно получала удовольствие, предавая людей, которых

сама же и свела. Тадэсина научила Киёаки тому, что есть люди, которые выращивают цветы только затем, чтобы потом обрывать их лепестки.

С другой стороны, отец почти перестал общаться с сыном. Мать тоже, вслед за мужем, думала только о том, как бы предоставить сына самому себе.

Маркиз бушевал, но на самом деле был в панике. У главного входа поставили по его просьбе еще одного полицейского, задние ворота теперь тоже охраняли два затребованных полицейских. Но никаких угроз не последовало: высказывания Иинумы не получили широкой огласки, – так заканчивался этот год.

Обычно из домов, которые сдавались внаем европейцам, приходили приглашения на рождественские вечера. Было бы несправедливо предпочесть какое-то из них, поэтому никуда не ходили, а посылали в оба дома подарки детям, но в этом году Киёаки захотелось как-то расслабиться в счастливом семейном кругу соседей, и он через мать попросил у отца разрешения пойти, но тот ответил отказом.

Отец не привел в качестве причины, что предпочесть одно приглашение другому было бы несправедливо, а сказал, что, отвечая на приглашение арендатора, Киёаки наносит урон достоинству члена титулованной семьи. Это снова был намек на то, что отец сомневается в способности Киёаки поступать достойно.

В конце года в доме маркиза каждый день по частям делали ту большую уборку, которую невозможно было сделать в большом поместье традиционно за один день – 31 декабря, и все были очень заняты.

Киёаки было решительно нечем заняться. Грудь сжимало пронзительное чувство: «Вот кончается этот год», и с каждым днем крепло ощущение того, что именно он был вершиной его жизни и никогда не повторится.

Киёаки решил оставить усадьбу с хлопчущими людьми и покататься на лодке по пруду. Ямада было заявил, что пойдет с ним, но Киёаки грубо отказался.

Когда, ломая сухой тростник и стебли лотоса, он выводил лодку, в воздух взлетела стайка чаек. Громко хлопая крыльями, птицы взмыли в ясное зимнее небо, на их плоских маленьких брюшках шелком блестели мягкие, сухие перышки. Птицы разрезали воздух над зарослями тростника, нарушая неподвижность пейзажа.

Отражавшиеся в пруду голубое небо и облака обдавали холодом. Киёаки обратил внимание на тяжелые круги, разбегавшиеся по потревоженной веслом водной глади. Того, о чем говорила темная, тяжелая вода, не было ни в хрустальном зимнем воздухе, ни в облаках – нигде.

Он положил весла и обернулся в сторону парадного зала главного дома. Копотившиеся там люди выглядели актерами на далекой сцене. Отчетливо слышен был шум скрытого горой незамерзшего водопада, на северном склоне горы через сухие ветки просвечивали пятна грязного снега.

Вскоре Киёаки, привязав лодку в маленьком заливишке на острове, поднялся на вершину, где сосны казались выцветшими. Два чугунных журавля задрали к небу клювы, чудилось, они острыми железными стрелами целятся в зимнее небо.

Киёаки сразу заметил пригреваемое солнцем местечко на траве и повалился там на спину. Так его никто не видит, он может остаться совершенно один. Пальцы рук, закинутых за голову, еще немели после гребли, и вдруг сердце кольнуло острое чувство утраты, которое он скрывал от всех. В душе отчетливо отозвалось: «Да... мои годы проходят! проходят! Вместе с мимолетными облаками». И, словно добавляя горечи, откуда-то из глубины души стали выплескиваться одна за другой безжалостные, в чем-то пышные фразы. Слова, которые прежний Киёаки запрещал себе произносить:

«Все ужасно. Я утратил умение восторгаться. Страшный реализм: кажется, поскреби ногтем, и все небо отзовется стеклом, предстанет пред тобой в мельчайших подробностях, страшная ясность правит миром. И вместе с тем это явное ощущение заброшенности. Такое же явное,

как жар супа, который невозможно взять в рот, не подув на него как следует, и этот суп всегда стоит передо мной. Вот бы закрыться от всех такой же толстой, как у белой суповой миски, привычной стенкой.

Кто заказал для меня этот суп?

Меня бросили. Любовный пыл остыл. Проклятие судьбе. Бесконечные блуждания души. Бесцельные желания... Жалкий экстаз. Жалкая самозащита. Жалкий самообман. Пламенем охватывающее тело раскаяние оттого, что утрачено время, утрачено многое. Пустые годы жизни. Жалкая праздность юности. Обида на жизнь за то, что она никчемна... Комната на одного... Ночи в одиночестве. Эта отчаянная пропасть между тобой и миром, людьми... Зов. Зов, который не слышен. Пышность снаружи... Показная знатность... И все это я!»

Он слушал, как разом подняли крик вороны, облепившие голые ветви деревьев на Кленовой горе, и захлопали крыльями у него над головой, перелетая к холму, где был храм.

50

Почти сразу после Нового года во дворце устраивали чтение стихов. С тех пор как Киёаки исполнилось пятнадцать лет, Аякура каждый год приглашал его, считая это дополнением к воспитанию утонченности, которое он давал Киёаки в детстве; Мацугаэ думали, что в этом году приглашение вряд ли последует, но из управления двора пришло разрешение присутствовать. Граф без тени смущения и в этом году выполнял обязанности распорядителя, стало ясно, что о приглашении Киёаки просил он. Маркиз Мацугаэ, когда сын показал ему разрешение, увидав среди имен организаторов имя Аякуры, недовольно сдвинул брови. Он уже убедился, как изменилась к худшему былая утонченность.

– Так было заведено, что ты каждый год туда ходил, так что лучше и сейчас пойти. Если на этот раз ты не появишься, найдутся такие, кто подумает, что между нами и Аякурой что-то не так; по существу, ведь это не имеет отношения к тому, что произошло между нами, – высказался маркиз.

Киёаки привык к этой ежегодной церемонии и даже получал от нее удовольствие. Граф нигде не был столь значителен и столь на месте, как там. Теперь видеть его просто мучительно, но Киёаки хотелось взглянуть на то, что осталось от стихов, когда-то поселившихся и в его душе. Он пойдет туда и будет вспоминать Сагоко.

Киёаки уже перестал ощущать себя «колючкой утонченности», впившейся в здоровый палец семейства Мацугаэ. И не потому, что осознал: ему тоже неизбежно предстояло стать одним из его здоровых пальцев. Дух утонченности, которую он прежде лелеял в себе, отлетел, легкой печали – души поэзии – не осталось и следа, вместо этого внутри гулял опустошающий ветер. Киёаки еще никогда не ощущал себя таким, как теперь, далеким от утонченности, даже некрасивым.

Но именно сейчас он и становился по-настоящему красивым. Вот такой – без чувств, без эмоций, равнодушный к страданиям, не чувствующий явной боли. Он казался себе чуть ли не прокаженным, что делало его еще неотразимей.

Киёаки утратил привычку смотреться в зеркало, а потому не замечал, что проступившие у него на лице изнурение и меланхолия придают ему черты портрета «Юноша, поглощенный страстью».

Однажды, когда он ужинал дома один, на столе появился хрустальный резной стаканчик, наполненный темно-красной жидкостью. Ему было неохота расспрашивать, и, решив, что это красное вино, он проглотил какую-то густую жидкость. На языке остался странный привкус.

– Что это?

– Свежая кровь черепахи, – ответила служанка. – Мне нельзя было говорить, пока вы не спросите. Повар выловил из пруда и приготовил черепаху, он сказал: «Это придаст молодому господину силы».

Пока Киёаки ждал, когда же эта неприятная, вязкая масса опустится в желудок, он вспомнил, как его в детстве пугали слуги, и опять перед глазами встал отвратительный призрак, высунувший из темного пруда голову и заглядывающий в его комнату. Призрак зарывался в тину, скопившуюся на дне, иногда всплывал на поверхность, раздвигая полупрозрачную воду, коварные водоросли и рассекающие время сны, много лет он пристально следил, как Киёаки растет, а сейчас вдруг это заклятие исчезло, черепаху убили, и он, не ведая того, выпил ее свежую кровь. Неожиданно что-то оборвалось. Страх где-то в желудке постепенно перерастал в непонятную, необъяснимую живую силу.

Поэтический вечер во дворце проходил в таком порядке: сначала читали стихи придворных кавалеров, потом дам. Только у первого автора прочли полностью тему, дату, затем ранг

и фамилию, у следующих авторов тему и дату уже не читали, а, назвав ранг и фамилию, переходили к тексту.

Граф Аякура выполнял почетную роль чтеца-декламатора. Император с императрицей, наследный принц заняли свои места, и раздался высокий, кристально звонкий голос Аякуры. Голос лился свободно, в нем не чувствовалось скрываемой вины, звучала лишь светлая печаль, монотонность чтения напоминала движения священника, шаг за шагом поднимающегося по залитым зимним солнцем каменным ступеням. Этот голос не принадлежал ни мужчине, ни женщине.

Когда голос Аякуры, единственный, наполнял абсолютную тишину дворцовой залы, он отделялся от слов, звучал сам по себе, не имел ничего общего с человеком. Светлая, не ведающая стыда печальная утонченность вырывалась из горла Аякуры и стелилась по зале, как легкая дымка, подернувшая рисунки в старом свитке. Стихи придворных все были прочитаны по одному разу, но стихотворение наследного принца граф повторил дважды, сопроводив словами: «Вот озаренное светом творение, которое мне дозволено прочесть». Стихи, написанные императрицей, он повторил три раза, разделяя строки, сначала он прочитал начальную строфу, а со второй все вместе прочитали хором. Когда читали стихотворение императрицы, придворные и другие участники вечера, даже наследный принц, внимали стоя.

В нынешнем году на поэтическом вечере исполненное благородства стихотворение императрицы было особенно изящно. Киёаки, слушавший его стоя, осторожно бросил взгляд на листки специальной бумаги, которые держал в своих маленьких, белых, совсем женских руках Аякура, – бумага была цвета распустившихся лепестков красной сливы. Киёаки был поражен тем, что, несмотря на все пережитые потрясения, в голосе Аякуры не слышно ни малейшей дрожи, не чувствуется скорби отца по удалившейся от мира дочери. Он был по-прежнему красивым, чистым и каким-то беспомощным. И через тысячу лет граф будет петь сладкоголосой птицей.

Поэтический вечер вступил наконец в завершающую фазу. Должно было читаться стихотворение самого императора.

Декламатор почтительно приблизился к священной особе, взял стихи со столика и пять раз пропел строфы.

Голос графа звучал особенно звонко, он завершил чтение словами: «...Великие строки, которые мне было дозволено прочесть».

Киёаки все это время со страхом взирал на лицо императора: на него нахлынули воспоминания о том, как ныне покойный император когда-то гладил его по голове, но более слабый на вид нынешний, слушая, как читают его стихотворение, хранил на своем лице выражение ледяного спокойствия, без малейшего намека на причастность к творению, и Киёаки содрогнулся, словно ощутив, хотя этого не могло быть, скрытый гнев императора, направленный на него, Киёаки.

«Ты обманул императора. Ты должен умереть». Внезапная мысль пронзила Киёаки, равнодушного ко всему среди аромата благовоний.

51

Наступил февраль: потерявший ко всему интерес Киёаки держался в стороне от одноклассников, озабоченных приближающимися выпускными экзаменами. Хонда готов был помочь ему с занятиями, но особенно не докучал, чувствуя, что тот откажется. Хонда хорошо знал, что Киёаки больше всего не терпит назойливости в дружбе.

В это время отец неожиданно предложил Киёаки продолжить учебу в одном из колледжей Оксфордского университета. Он был основан в XIII веке, имел давние традиции, по словам отца, туда можно просто попасть по протекции ректора, а для этого достаточно только сдать выпускные экзамены в школе Гакусюин. Маркиз задумался о том, как помочь Киёаки, заметив, что сын, который вскоре получит пятый ранг при дворе, день ото дня бледнеет и теряет силы. Это предложение заинтересовало Киёаки, но совсем не так, как рассчитывал отец. Киёаки просто решил сделать вид, что доволен.

Когда-то он, как и все, очень хотел попасть в Европу, но теперь сердце его было привязано к одной, самой чудесной точке в Японии, и он, глядя на карту, чувствовал, что не только привольно раскинувшиеся за морем чужие страны, но и сама Япония, похожая на маленькую красную креветку, кажется ему грубой и вульгарной. Его Япония не имеет этих четких контуров, затянута дымкой легкой печали, и она намного синее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.